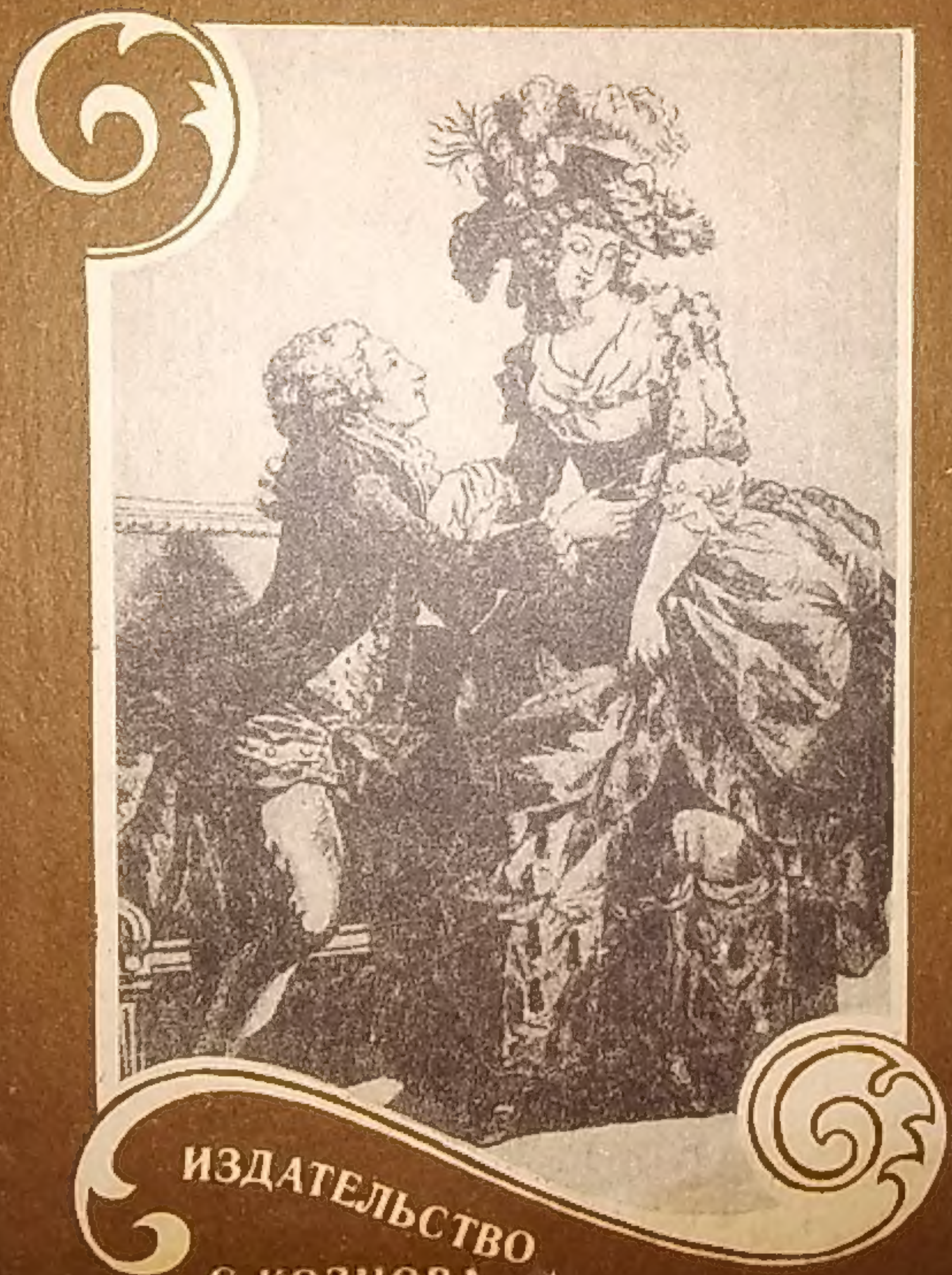


ДЖАКОМО КАЗАНОВА

✱ МЕМУАРЫ ✱



ИЗДАТЕЛЬСТВО
С. КОЗНОВА

Джакомо Казанова

МЕМОУАРЫ

Перевод с французского

Переработанное издание 1887 года

Издание подготовил С. В. КОЗНОВ

САРАТОВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО С. КОЗНОВА
1991

ББК 84.4Ит
К14

Оформление обложки
В. К. Бутенко

Переработка текста, вступительная статья, примечания
С. В. Кознова

Оригинал-макет издания подготовил С. В. Кознов с помощью настольной
издательской системы НПО "Альтернатива"

Казанова Д. Д.
К14 Мемуары. /Перераб. текста, вступ. ст. и прим. С. В. Коз-
нова.— Саратов: Издательство С. Кознова, 1991.— 208с.

ISBN 5—87122—001—0

Мемуарный роман "История моей жизни" знаменитого итальянского писателя XVIII в., авантюриста и сердцееда Джакомо Казановы является уникальным произведением мировой литературы. Мемуары Казановы Стефан Цвейг называл "самым дерзким и самым сочным авантюристическим романом всех времен".

В 1887 году "История..." в сокращенном виде вышла в России под названием "Мемуары" в серии "Европейские писатели и мыслители" под редакцией В. Чуйко. Переработанный вариант этого издания и предлагается читателю.

ББК 84.4Ит

Казанова. Мемуары. Перевод на русский язык. Издание книгопродавца В. И. Губинского. Санкт-Петербург, 1887.

ISBN 5—87122—001—0

© Переработка текста, вступительная статья, примечания. Сергей Кознов, 1991.

Джованни Джакомо Казанова

(1725—1798)

При звуке этого имени у большинства советских читателей сразу возникнут ассоциации с именами Дон Жуана и Ловеласа. Действительно, Казанова был неутомимым сердцеедом, но всемирную славу он заработал все-таки на литературном поприще, оставив после себя удивительный мемуарный роман "История моей жизни".

Родился будущий писатель-авантюрист 2 апреля 1725 года в Венеции, столице находившейся тогда уже на издыхании аристократической Венецианской республики.

Его мать, Дзанетта Фарузи, дочь сапожника, была актрисой. Для нее, женщины замечательной красоты, написал одну из своих комедий Карло Гольдони, знаменитый автор "Слуги двух господ" и "Хитрой вдовы", упомянувший ее в своих мемуарах. Дзанетта была достаточно известной певицей, выступавшей во всех оперных театрах Европы, в том числе и при дворе русской императрицы Анны Иоанновны. Свою карьеру она закончила в звании пожизненной певицы Дрезденского королевского придворного театра.

Несмотря на то, что Казанова был законорожденным, его биографы высказывают различные версии относительно его настоящего отца. Так, по одной из них, отцом Джакомо был владелец театра Сан-Самуэле дворянин Микеле Примани. Но и в отношении его отца де-юре существуют разногласия: по одним данным, Гаэтано Джузеппе Казанова происходил из древнего и знатного рода, а его предок Джакомо Казанова еще в XV веке был секретарем португальского короля Альфонса V Африканского. Страстно влюбившись в красавицу Дзанетту, Гаэтано тайно женился на ней и стал актером, за что был проклят в своей семье и лишен наследства. По другим данным, Гаэтано дворянином никогда не был.

Как бы то ни было, все родственники Джакомо посвящают себя весьма почтенным занятиям и становятся адвокатами, нотариусами и священниками, а имена двух его младших братьев можно найти во многих энциклопедиях по истории искусства. Особенно был знаменит Франческо Казанова, родившийся в Лондоне в 1727 году. У Франческо рано обнаружились способности к живописи. В Италии он учился у Гварди и Симонини, а завершил свое образование в 1751 году в Париже под руковод-

ством французского баталиста Парроселя. Большое влияние на творчество Ф. Казановы оказали А. Р. Менгс, Ж. Куртуа и Воуверман.

В Париже Франческо Казанова завоевал огромную популярность: в 1761 году он был избран членом французской королевской академии и стал придворным живописцем. Дидро называл его "великим художником". Вскоре Франческо получил заказ от русской императрицы Екатерины II написать картины о победах русских над турками, для чего он переселился в Вену. Картины Франческо можно встретить в галереях Парижа и Лондона, а в Лихтенштейнской галерее Вены находится конный портрет императора Петра Великого. В запасниках ГМИИ им. Пушкина и Эрмитажа хранится несколько картин Франческо Казановы, но увидеть их рядовому посетителю музея практически невозможно.

Джованни Баттиста Казанова, родившийся в 1729 году в Венеции, стал директором Дрезденской академии античной скульптуры, профессором.

Когда Джакомо было всего год, его родители уехали на гастроли в Лондон, оставив мальчика на попечение бабки, которая обнаружила у ребенка незаурядные способности и изумительную память.

В пятнадцать лет Джакомо поступает в венецианскую духовную семинарию, и вскоре как заправский теолог произносит в церкви Сан-Сакраменто конфирмационную речь. После этой речи на юного красавца обратили внимание, особенно женская половина паствы, он был буквально завален любовными записками. По прошествии непродолжительного времени Джакомо исключают из семинарии за аморальное поведение. Ему даже грозило тюремное заключение, но вмешательство кардинала Аквавивы, который благосклонно относился к матери Джакомо, спасает его. Казанова становится секретарем кардинала и едет с ним в Рим и Неаполь.

В восемнадцатилетнем возрасте Джакомо получает в Падуе диплом доктора права, вот только правомерность этого получения вызывает у некоторых его биографов определенные сомнения.

Вскоре Казанова едет с посольством республики в Константинополь, служит военным на острове Корфу, а по возвращении в Венецию оказывается на мели, без денег и связей.

В 1745 году, чтобы заработать на жизнь, Джакомо поступает скрипачом в театр "Сан-Самуэле". В апреле 1746 года Казанова присутствовал в качестве наемного музыканта на свадьбе молодого аристократа во дворце Соранцо. На третий день празднеств, на рассвете, он спускался по лестнице, и вдруг заметил, что шедший впереди сенатор в красной тоге вынул платок из кармана и уронил при этом письмо. Джакомо поднял его и передал сенатору, когда тот садился в свою гондолу. В благодарность старик предложил подвезти Джакомо домой. В гондоле сенатор внезапно плохо себя почувствовал. Казанова поддерживает его, отвозит домой, укладывает в постель, приводит доктора. Джакомо заботливо ухаживает за стариком, с которым так странно свел его случай. Склонный к магии сенатор Бригадин видит в этом

молодом человеке своего спасителя, посланца таинственных сил. Его старые друзья, венецианские патриции Дандоло и Барбаро, разделяют это мнение. Казанова становится их баловнем, и вскоре Бригадин усыновляет его, предоставляет в его распоряжение несколько комнат, свой стол, слугу, гондолу и десять золотых в месяц, разрешив ему развлекаться вволю.

И Джакомо начал развлекаться. Любовные приключения следуют одно за другим, их становится слишком много даже для Венеции, и Казанова вынужден проехаться по Италии. Ему чуть больше двадцати, он неотразим, его кошелек туго набит. Во время путешествия по Италии Казанова встречает красавицу Анриетту, которую он будет помнить всю жизнь...

По прошествии нескольких лет Джакомо отправляется в Париж, в высший свет Европы. Там он "учится жить", приобретает верных друзей в семье знаменитой актрисы Сильвии Балетти. Известный драматург Кребийон помогает ему в совершенстве овладеть французским языком, на котором он впоследствии напишет свои знаменитые мемуары.

Казанова побывал в Версале, присутствовал на обеде у Марии Лещинской, жены Людовика XV, занимался каббалой с принцессами крови, дрался на дуэли. На обратном пути домой он встретился в Дрездене с матерью, познакомился в Вене со знаменитым либреттистом Пьетро Метастазио...

Возвратившись в Венецию, Казанова с головой окунается в светские развлечения. Этот период его жизни, вплоть до самого ареста, переполнен самыми яркими любовными приключениями. Но в 1755 году тайный агент государственной инквизиции Мануцци написал на Казанову донос. Этот донос сохранился. В нем, в частности было: "Половина Венеции знает, что его содержит Бригадин, который считает, что через него явится ангел света... Удивительно, что такой знатный человек, как Бригадин, позволил обмануть себя такому мошеннику". По этому доносу Казанову арестовали и посадили в тюрьму "Пьомби", из которой он сбежал весьма оригинальным способом по прошествии пятнадцати месяцев.

После побега Казанова покидает пределы республики и оказывается в Берлине. Там он основательно изучает карточные игры и становится одним из опытейших шулеров своего времени, что подтверждается многочисленными полицейскими актами. С тех пор карты становятся немаловажным источником его доходов.

В 1757 году Казанова перебирается в Париж, где становится организатором королевской лотереи и владельцем мастерской по производству шелконабивных тканей, которая работала по разработанной им технологии. Попутно с этим с помощью каббалы и магии, где Казанова слыл знатоком, он выманивает у маркизы д'Юрфэ драгоценные камни, которые якобы нужны ему для составления из них фигур созвездий: надувать дураков было одним из самых любимых занятий Казановы, о чем он не устает повторять в своих мемуарах.

В 1759 году Казанова посетил Голландию. Он богат, всюду его ожидает великолепный прием, со всех сторон сыплются самые заманчивые предложения, но Казанова не был бы Казановой, если бы принял их: ему нужны новые впечатления, женщины, а деньги ему необходимы только для того, чтобы с легкостью с ними расставаться.

В 1760 году Казанова приезжает в Швейцарию, где посещает известного естествоиспытателя Альбрехта фон Галлера.

По пути в Италию Казанова заглядывает в имение Фернэ, к Вольтеру, с кем на протяжении нескольких дней спорит на равных. Личными беседами этот спор не закончился: Казанова впоследствии продолжал полемизировать с Вольтером печатно.

Последним звеном в цепи победоносных вояжей Казановы по Европе было путешествие в Италию в 1761 году. Но Фортуна перестает быть благосклонной к нему уже в Англии, где он испытал неслыханное унижение. Влюбившись в юную француженку Шарпильон, Казанова потерял из-за нее голову, а та, обобрав его до нитки, изменила ему с молоденьким парикмахером. Из-за этой маленькой женщины Казанова чуть не покончил с собой, и только случай спас его.

В 1764 году Казанова приехал в Берлин и добился аудиенции у прусского короля Фридриха II, но ничего более приличного, чем место воспитателя кадетского корпуса, Фридрих ему не предложил.

Тогда Казанова отправляется в Россию. Свои надежды относительно этой поездки он ранее высказывал своему парижскому другу принцу де Линю: "Быть может, меня оставят при дворе Екатерины, и я стану или ее библиотекарем, или секретарем, или поверенным в делах, или воспитателем одного из великих князей. Отчего бы и нет?".

Казанова действительно встречался с Екатериной II, выступив перед ней в роли реформатора календаря. Но его надеждам не суждено было сбыться: несмотря на его встречи с фаворитом Екатерины Григорием Орловым, канцлером Никитой Паниным и Екатериной Дашковой, Казанова в России был едва замечен. Вот почему с такой неприязнью он рассказывает о России и о русских.

Сохранился его доклад, написанный, видимо, в Петербурге, где Казанова рассуждал о путях развития земледелия и разведении шелковичных червей. Среди его бумаг был обнаружен паспорт, выданный ему в Петербурге 1 сентября 1765 года и подписанный вице-канцлером князем Александром Голицыным. Уцелела и ода на итальянском языке, написанная Казановой в честь Екатерины.

Казанова побывал в Царском Селе, Петергофе, Кронштадте, но наибольшее впечатление на него произвели Петербург и Москва; дух соперничества и взаимной неприязни, который царил в отношениях этих двух российских столиц, Казанова описывает с удивительной точностью.

Из России Казанова перебирается в Польшу, где пытается получить место секретаря у короля Станислава Августа, но

дуэль с камергером его величества графом Браницким перечеркивает все его планы, и вскоре его принуждают покинуть Варшаву.

Не раскрывает Казанове своих объятий и столь любимый им Париж, который он тоже вынужден оставить...

Мемуары Казановы хронологически простираются лишь до 1774 года, и о последних двадцати четырех годах его жизни он почти ничего не пишет: что интересного может рассказать Казанова о своей старости? Известно, что Казанова добился разрешения вернуться в Венецию, где стал самым заурядным тайным агентом инквизиции, вроде своего сокамерника в венецианской тюрьме "Пьомби" Сорадачи, о котором он отзывался с таким презрением. Сохранились доносы Казановы, которые он подписывал псевдонимом Анджело Пратолини. Но несмотря на лояльность Казановы по отношению к инквизиторам, пожить на родине ему довелось недолго, и в 1782 году неблагодарная отчизна в очередной раз вынудила его покинуть ее пределы, на этот раз уже навсегда.

Казанова пристраивается секретарем у венецианского посланника в Вене, из меркантильных соображений пытается жениться, но неудачно. В 1785 году Казанова знакомится у венецианского посланника в Париже с племянником принца де Линя графом Вальдштейном. Граф увлекался каббалой и магией, и потому предложил Казанове как знатоку тайных наук место библиотекаря в своем родовом замке в Дуксе, в Богемии (ныне город Духцов на севере Чехии). Казанове не до выбора, он на мели, и потому сразу соглашается.

В этом замке Казанова проведет последние тринадцать лет своей жизни, здесь и напишет "Историю моей жизни", которая принесет ему уже после его смерти мировую славу...

В 1820 году, через двадцать два года после смерти Казановы, известный немецкий издатель Брокгауз получил от некоего господина Генцеля письмо с предложением опубликовать "Историю моей жизни", написанную синьором Казановой. Издатель на всякий случай выписал рукопись, специалисты ее просмотрели и пришли в восторг. Рукопись сразу же приобрели, перевели на немецкий и выпустили в свет. После выхода в свет четвертого тома успех "Истории..." был просто скандальным, и вскоре ее перевели на почти все европейские языки.

Через сто с небольшим лет после смерти Казановы в Париже было создано общество казановистов, члены которого стали до тошно изучать творческое наследие Казановы и всю его жизнь день за днем. А изучать действительно было что.

Джакомо Казанова обладал незаурядными способностями, феноменальной памятью, знал несколько языков и имел необычайно широкий круг интересов. Его утопический роман "Икосамерон" можно отнести к научной фантастике. В нем описываются приключения двух англичан, брата и сестры Эдварда и Элизабет, в подземной стране, где уже есть автомобили и самолеты, телеграф и телевидение. Описывая развитую цивилизацию, Казанова тем самым предвосхитил самого Ж. Верна.

Казанова издавал театральный бюллетень "Вестник Талии", сочинил кантату для трех голосов "Счастье Триеста". Побывав в Польше, начал издавать "Историю восстаний в Польше" (вышло три тома из предполагавшихся семи). Среди его работ можно найти "Словарь сыров" и математический трактат "Об удвоении куба", перевод октавами "Илиады" Гомера и "Проект устройства мыловаренного завода". За успехи на литературном поприще Казанова был даже принят в члены римской литературной академии.

А в чьем только обществе он не был! Тут короли и князья, папы и кардиналы, выдающиеся ученые и писатели, и со всеми он чувствовал себя на равных благодаря своей обширной эрудиции и огромной самоуверенности. Многие из великих людей того времени гордились дружбой с Казановой. Так, в Бертрамке — пражском музее Моцарта — на видном месте висит портрет Казановы. Моцарт познакомился с ним в Праге в 1787 году, куда приехал для подготовки премьеры своей великой оперы "Дон Жуан". Казанова даже принял участие в работе над либретто этой оперы, написав собственный вариант текста секстета из второго акта (когда Лепорелло ловят в плаще его повелителя). Правда, этот отрывок не был использован Моцартом.

Безусловно, "История моей жизни" является уникальным произведением мировой литературы. Жизнь XVIII века изображена в ней настолько ярко и выразительно, что это позволило одному немецкому ученому сказать, что если бы исчезли все книги и документы того времени и осталась только книга Казановы, то этого было бы достаточно для понимания неизбежности Великой французской революции.

Мемуары Казановы Стефан Цвейг называл "самым дерзким и самым сочным авантюристическим романом всех времен". Одно время бытовало лестное для Казановы подозрение, будто подлинным автором "Истории..." был Стендаль.

В 1887 году "История..." в сильно усеченном виде вышла в России под названием "Мемуары", в серии "Европейские писатели и мыслители" под редакцией В. Чуйко. Переработанный вариант этого издания и предлагается читателю.

Сергей Кознов

В тюрьме “Пьомби”

*Интриги с целью погубить меня.— Эрбергия.— Обыск.—
Мой разговор с Бригадином.— Я арестован.*

Некий Мануцци, шпион, совершенно мне неизвестный, нашел средство познакомиться со мной, предлагая мне купить у него в кредит алмазы. Это было причиной того, что я пригласил его к себе. Рассматривая книги, разбросанные в моей комнате, он обратил внимание на рукописи о магии. Желая подшутить над ним, я указал ему на те из них, которые сообщали, как познакомиться с духами. Читатели, конечно, не подумают, что я хоть сколько-нибудь верил всей этой чепухе, но книги эти у меня были, и я забавлялся ими, как забавляются бесконечными глупостями, выходящими из голов пустых философов.

Спустя несколько дней этот господин опять явился ко мне и сообщил, что один любитель, имя которого он не может мне назвать, готов заплатить тысячу цехинов* за мои пять книг, но прежде он желал бы удостовериться в их подлинности. Я позволил ему унести книги.

На следующий день Мануцци возвратил их мне, заявив, что любитель счел книги подделками. А через несколько дней я узнал, что этот господин показывал их секретарю инквизиции, и тот решил, что я маг и волшебник.

Все соединилось тогда против меня. Госпожа Меммо, мать Бернарда Меммо, вбив себе в голову, что я совращаю ее сына, делая из него атеиста, обратилась за советом к кавалеру Антонио Мочениго, его дяде. Этот кавалер был настроен против меня, считая, что я опутал его племянника колдовством. Дело было серьезное и могло кончиться аутодафе, ибо касалось святой инквизиции, напоминавшей мне дикого зверя, встреча с которым весьма нежелательна. Тем не менее меня трудно было засадить в тюрьму святых отцов, поэтому решили возбудить дело в государственной инквизиции, бравшейся за предварительное расследование.

Антонио Кондульмер, друг аббата Киари и, следовательно, мой враг, был тогда государственным инквизитором**. Используя свое положение, он обвинил меня в нарушении общественного спокойствия. Один секретарь посольства, с которым я был знаком прежде, утверждал, что подкупленный доносчик с двумя свидетелями, бывшими также, вероятно, на жаловании у инквизиции,

* Цехин — золотая монета весом около 3,5 г. На венецианских цехинах изображался св. Марк, покровитель Венеции.

** В Венецианской республике (VI—XVIII вв.) в ведении трех государственных инквизиторов находились дела о преступлениях против государства.

обвиняли меня в том, что я верю лишь в одного дьявола. Эти "честные" люди уверяли под присягой, что проигрывая по-крупному, — минута, когда все набожные люди раздражаются проклятиями, — я никогда на чертыхался. Кроме того, меня обвинили в том, что я франкмасон, ем ежедневно скоромное, посещаю иностранных посланников, вожу непонятную дружбу с тремя патрициями и узнаю от них важные государственные тайны, которые раскрываю за большие деньги, проигрываемые мною в карты.

Все эти безосновательные обвинения служили предлогом страшному трибуналу считать меня врагом отечества и заговорщиком. С некоторых пор лица, к которым я питал доверие, стали советовать мне отправиться путешествовать за границу, так как трибунал обратил на меня свое милостивое внимание. Этого было достаточно, ибо в Венеции могут жить спокойно только те люди, о существовании которых неизвестно трибуналу.

Но я пренебрег этими советами, поскольку по натуре своей весьма беспечен. Я говорил себе: "Совесть моя чиста, и поэтому мне нечего бояться". Конечно, убеждая себя подобным образом, я был глуп, ибо рассуждал как человек свободный. Не могу отрицать и того, что не имел времени думать о возможной беде, находясь в беде действительной, удручавшей меня постоянно. Я проигрывал ежедневно, везде задолжал, заложил все свои золотые вещи, даже ящики с портретами, которые, впрочем, я имел благоразумие вынуть и отдать на хранение госпоже Манцони. У нее же хранились и наиболее важные бумаги, так же как и моя любовная переписка.

Я заметил, что меня избегают. Один старый сенатор сказал мне однажды, что молодая графиня Бонафедо сошла с ума вследствие снадобий, которые я заставлял ее пить с целью внушить ей любовь к себе. Находясь в больнице, она в припадках постоянно произносила мое имя и проклинала меня.

В июле 1755 года трибунал приказал схватить меня живым или мертвым — такова обычная формула всех декретов об арестах, исходящих от этого грозного триумvirата.

За три или четыре дня до праздника св. Иакова моя покровительница М. М. подарила мне несколько аршин серебряных кружев на обшивку кафтана из тафты, который я должен был надеть накануне своих именин*. Я отправился к ней в своем новом платье и предупредил, что зайду к ней завтра занять денег, потому как был без гроша и не знал, где достать денег. У ней было еще пятьсот цехинов, припрятанных после продажи своих алмазов.

Уверенный в том, что завтра у меня будут деньги, я целую ночь играл и проиграл пятьсот цехинов под честное слово. На рассвете, чувствуя потребность освежиться, я отправился в Эрбергию, место на набережной Большого Канала, пересекающего город. Тут находится рынок, где продают овощи, фрукты и цветы.

* Джакомо — итальянский вариант библейского имени Иаков.

Люди из приличного общества, гуляющие в Эрбергии рано утром, имеют обыкновение говорить, что эту прогулку они совершают ради удовольствия наблюдать за проходящими барками с плодами и цветами с ближайших островов, но всем тем не менее известно, что молодые мужчины и женщины отправляются туда подышать свежим воздухом и успокоить нервы после ночи, проведенной в наслаждениях, излишествах или игре в карты.

Этот обычай показывает, до какой степени характер народа может изменяться. Прежние венецианцы, столь же скрытные в своих любовных похождениях, как и в политике, вынуждены отступить перед нынешними, предпочитающими ни в чем не скрываться. Мужчины, отправляющиеся туда с дамами, имеют целью возбудить ревность в своих ближних, афишируя свои победы. Гуляющие в одиночку надеются на какую-нибудь находку или встречу. Женщины бывают там с целью показать себя. Впрочем, о кокетстве не может быть и речи вследствие изношенности нарядов. Они точно нарочно одеваются самым скверным образом, желая показать гуляющим мужчинам, что не прочь завести знакомство. Что же касается мужчин, гуляющих с ними под руку, то их свободные манеры и фамильярность говорят о том, что им надоело любезничать. Одним словом, на этой утренней прогулке вошло в моду ходить с опущенным носом и заспанным видом. Это описание, совершенно справедливое, не свидетельствует о чистоте нравов моих дорогих соотечественников, но почему мне не быть справедливым в мои годы? К тому же Венеция не на краю света, этот город хорошо известен иностранцам, привлекаемым в Италию любопытством, и каждый может проверить, правду ли я говорю.

Погоулявши с полчаса, я пошел домой. У входа, полагая, что все спят, я достал из кармана ключ, чтобы отворить дверь. Но, к моему удивлению, эта предосторожность оказалась излишней — дверь я нашел открытой, и даже больше того, замок был сломан. Я поднялся по лестнице и нашел всех на ногах, а мою хозяйку в расстроенных чувствах.

— Мессер-гранде в сопровождении целой толпы сбиров*, — сказала она мне, — вошел в дом насильно. Он все перевернул верх дном, говоря, что ищет чемодан, наполненный солью, — предмет преступной контрабанды.

Он знал, что чемодан привезен накануне, — и это было правдой — но чемодан принадлежал графу С. и содержал только белье и платье. Мессер-гранде освидетельствовал его и унес, ничего не сказав. Он освидетельствовал также и мою комнату.

Хозяйка заявила мне, что непременно требует удовлетворения, и, считая, что она права, я обещал ей в тот же день поговорить об этом с Бригадином.

Чрезвычайно устав, я лег спать, но мне не спалось. Эту бессонницу я приписывал раздражению и дурному расположению

* Мессер-гранде, сбир — соответственно старший и младший чины в венецианской полиции.

духа вследствие проигрыша. Спустя несколько часов я встал и отправился к Бригадину, которому и рассказал обо всем происшедшем в моей комнате. Я описал ему в ярких красках причины, на основании которых моя честная хозяйка требовала удовлетворения, соответствующего оскорблению, тем более что закон обеспечивает спокойствие всякой семье, поведение которой безупречно.

Моя речь глубоко опечалила трех друзей, и мудрый старик со спокойным и задумчивым видом сообщил мне, что ответит после обеда.

Де ла Гэ обедал вместе с нами, но в течение этого печального обеда не произнес ни одного слова. Его молчание должно бы было показаться мне многозначительным, если бы я не находился под влиянием злого гения, мешавшего мне прибегнуть к моему обычному благоразумию. Что же касается печали моих трех друзей, то я объяснил ее их хорошим отношением ко мне.

Моя дружба с этими тремя людьми всегда была предметом пересудов всего города, и решив, что это не могло быть естественным, все пришли к заключению, что тут припуталось колдовство. Все трое были добродетельны и набожны чрезмерно, я же вовсе не был набожен, и во всей Венеции не было более отъявленного распутника, чем я. Добродетель, говорят, может относиться снисходительно к пороку, но в союз с ним она не может войти.

После обеда Бригадин повел нас в свой кабинет. Тут он мне сказал, что вместо того чтобы мстить мессеру-гранде, я должен подумать о том, как бы самому улизнуть.

— Чемодан, милейший друг, наполненный солью или золотом,— один лишь предлог: нет никакого сомнения, что искали тебя. Уж если ты на первый раз спасся, то беги: завтра, может быть, будет поздно. Я в течение восьми месяцев был государственным инквизитором и знаю, как совершаются аресты. Не взламывают дверь из-за какого-нибудь ящика с солью. Не исключено, что отправляясь к тебе, когда было известно, что тебя нет дома, тебе хотели дать время бежать. Поверь мне, сын мой, и отправляйся в Фузино, а оттуда беги во Флоренцию, где ты останешься до тех пор, пока я не напишу тебе, что ты без риска можешь вернуться. Если у тебя нет денег, я дам тебе сотню цехинов. Подумай хорошо: благоразумие требует твоего отъезда.

Слепец, я отвечаю ему, что мне нечего бояться трибунала, поскольку я не считаю себя в чем-либо виновным, и, следовательно, хотя его совет и очень благоразумен, я не могу им воспользоваться.

— Грозный трибунал,— предупреждал Бригадин,— может признать тебя виновным в преступлениях действительных или предполагаемых, не делая между ними никакого различия. Спроси своего оракула, должен ли ты последовать моему совету?

Я, разумеется, не сделал этого, потому как считал это смешным, но желая как-нибудь объяснить свой отказ, я ответил, что уже обращался к своему оракулу, будучи в сомнении. Наконец, как последнее объяснение, я прибавил, что, уезжая, я признаю

себя сам виновным, поскольку честный человек, не зная за собой никакой вины, не мог страшиться последствий.

— Если молчание,— сказал я,— есть душа этого трибунала, то после моего побега вам нельзя будет узнать, хорошо или дурно я поступил, убежав. То же благоразумие, которое, по вашему мнению, заставляет меня бежать, помешает мне возвратиться. Должен ли я поэтому проститься на вечные времена с моей родиной и со всем, что мне дорого?

Тогда, в виде последней меры, он предложил мне провести следующие день и ночь в его дворце. Я до сих пор стыжусь того, что отказал достойному старцу в этом удовольствии, ибо дворец патриция — святилище для сбирок, не смеющих переступить его порог без особого приказа трибунала, — приказа, который никогда не дается. Сделав это, я бы избежал великого несчастья и избавил Бригадина от самых больших огорчений.

Я был тронут, когда старик заплакал.

— Ради Бога,— воскликнул я,— избавьте меня от ваших раздирающих душу слез!

Опомнившись, он сделал несколько замечаний, потом с доброй улыбкой обнял меня.

— Может быть, мой друг, мне не суждено увидаться больше с вами, но *fata viam inveniunt**.

Я горячо обнял его и ушел. К несчастью, пророчество Бригадина исполнилось: я не увидел его больше — он умер спустя одиннадцать лет.

Страх у меня не было, но я испытывал массу огорчений по поводу своих долгов. Мне не хватило духу отправиться к М. М. за ее последними пятьюстами цехинами, которые я должен был немедленно отдать тому, кто выиграл их у меня прошлой ночью. Я предпочел отправиться к нему и попросил подождать уплаты долга еще неделю, поступив таким образом весьма осмотрительно. После этого я возвратился к себе, успокоил всячески хозяйку и, поцеловав ее дочь, отправился спать. Так закончился для меня один из последних дней июля 1755 года.

На рассвете следующего дня в моей комнате опять появился мессер-гранде. Проснуться, увидеть его, услышать, как он спрашивает, не я ли Джакомо Казанова,— на все это мне хватило одной секунды. На мой ответ “Да, я Казанова!” он приказал мне встать, одеться, передать ему все бумаги и следовать за ним.

— Кто приказал вам арестовать меня?

— Трибунал.

В “Пьомби”.— Землетрясение.

Как велико влияние некоторых слов на душу, и кто может определить источник этого влияния? Еще накануне я гордился своими храбростью и чистотой совести, но слово “трибунал”

* Рок знает, куда ведет нас. *Лат.*

повергло меня в ужас и оставило во мне одну лишь способность повиноваться беспрекословно.

Мое бюро было открыто, все бумаги лежали на столе.

— Берите, — сказал я посланнику грозного трибунала, указывая ему рукой на бумаги, покрывавшие стол.

Он наполнил ими целый мешок, который отдал сбиру, и сказал, что я должен вручить ему рукописи в переплете, находившиеся у меня.

Я указал ему на место, где они находились, но это требование мессера-гранде открыло мне глаза. Я понял, что был предан недостойным Мануцци, проникшим ко мне, как я уже говорил, под предлогом покупки этих книг, среди которых были "Учение о планетных часах" и необходимые наставления о том, как переговариваться с демонами всех сортов. Те, кто знали, что у меня находятся эти книги, считали меня великим волшебником, и это мне льстило.

Мессер-гранде захватил также и книги, находившиеся на моем ночном столике, среди которых была книга Аретино*. По тому, что мессер-гранде спросил се, я понял, что и о ней донес Мануцци. Этот шпион имел вид честного человека — необходимое качество для его ремесла. Сын Мануцци сделал карьеру в Польше, женившись на одной даме по имени Опеска, которую он, как уверяют, загнал в гроб. Доказательств этого я никогда не имел, и простираю свое христианское милосердие даже до того, что не верю этому, хотя он был весьма способен на такое дело.

Пока мессер-гранде прибирал к рукам мои бумаги, книги и письма, я одевался в свое праздничное платье, брился, причесывался, делая это машинально, не говоря ни слова. Мессер-гранде, не теряя меня из виду ни на одну секунду, не имел ничего против того, чтобы я оделся как на свадьбу.

Выходя, я был очень удивлен, увидев человек тридцать солдат в моей прихожей. "Мне оказали честь, — подумал я, — полагая, что они необходимы для моего ареста".

Странно, но в Лондоне, где все храбры, для ареста вполне достаточно одного человека, между тем как в моей дорогой отчизне, где все трусы, используются целых тридцать. Может быть, это объясняется тем, что трус атакующий боится гораздо больше, чем трус защищающийся, — ведь спасая свою жизнь или свободу, можно ненадолго превратиться в храбреца. Несомненно также одно: в Венеции часто можно видеть одного человека, отбивающегося от двадцати сбиров, и в конце концов ускользающего от их рук. Я помню, как помог одному из моих друзей в Париже обратить в бегство сорок напавших на него мерзавцев.

Мессер-гранде посадил меня в гондолу и сел вместе с четырьмя сбирами рядом со мной. Когда мы приехали к нему, он предложил мне кофе, от которого я отказался, после чего он меня запер в комнате. Там я проспал целых четыре часа.

* Аретино, Пьетро (1492—1556) — итальянский писатель, драматург и публицист, гуманист эпохи Возрождения, получивший за язвительные памфлеты против папского двора и монархов Европы прозвище "бич государей".

Затем начальник сбиров вернулся и объявил мне, что имеет приказ отвести меня в "Пьомби". Не говоря ни слова, я последовал за ним. Мы взяли гондолу и после тысячи поворотов по маленьким каналам вошли в Большой Канал и вышли на набережную тюрем. Преодолев несколько лестниц, мы прошли через канал Рио ди Палаццо по мосту, соединяющему тюрьмы с Дворцом дожей*. За мостом мы прошли через галерею и попали в комнату, где мессер-гранде представил меня какой-то личности в одежде патриция, который, осмотрев меня с ног до головы, сказал: "Отправьте его в камеру". Этот господин, благоразумный Доменико Кавалли, был секретарем инквизиции, и свою фразу произнес на тосканском диалекте, как бы стесняясь говорить по-итальянски.

Тогда мессер-гранде передал меня тюремщику "Пьомби", который находился тут же, держа в руках огромную связку ключей. Он повел меня в сопровождении двух солдат наверх. Там мы опять прошли через галерею, затем через другую, запертую на ключ, наконец через третью, в конце которой он отпер дверь, ведущую на отвратительный чердак длиной в шесть и шириной в две сажени**, плохо освещенный окном, находящимся у самого потолка. Я думал, что здесь меня и засадят, но ошибся: взяв огромный ключ, тюремщик отворил массивную дверь, окованную железом, и приказал мне войти в ту самую минуту, когда мое внимание было обращено на какую-то железную машину. Эта машина имела форму подковы, в дюйм толщиной и в диаметре до пяти дюймов***. Я размышлял, в каких целях могут применять эту машину, как вдруг тюремщик сказал мне улыбаясь:

— Я вижу, вам хочется понять, что это такое, и могу удовлетворить ваше любопытство. Когда Их Милости**** приказывают задушить кого-нибудь, то осужденного сажают на табурет спиной к этому ошейнику так, чтобы ошейник охватил половину шеи. Ошейник сообщается с воротом, и один человек вращает колесо до тех пор, пока осужденный не отдаст душу Господу Богу, поскольку духовник, слава Богу, не оставляет его до тех пор, пока он не умрет.

— Это очень остроумно: я думаю, что вы имеете честь вращать ворот?

Он не ответил и, заставив меня войти, — что я вынужден был сделать, сильно нагибаясь, — запер дверь. Затем через решетчатое отверстие он спросил, что я хочу попить.

— Я еще не подумал об этом, — отвечал я.

И он ушел, заперев тщательно все двери.

Подавленный, я облокотился на подоконник. Окно имело по

* Дож — глава Венецианской республики, пожизненно избиравшийся патрициатом из своей среды.

** Сажень — 2,134 м, или три аршина.

*** Дюйм — около 2,5 см. 12 дюймов составляют фут, 30,5 см.

**** Имеются в виду государственные инквизиторы.

крайней мере два фута как в одном, так и в другом направлении, с крепкой железной решеткой. Это окно давало бы довольно много света, если бы наружный деревянный навес не мешал этому. Обойдя мое печальное жилище, сгибаясь в три погибели, — каземат был очень низок — я нашел почти ощупью, что он состоит из трех четвертей квадрата в две сажени; четвертая четверть образовала нечто вроде алькова, где можно было поместить кровать, но я не нашел ни кровати, ни стола, ни стула, ни какой бы то ни было другой мебели, за исключением сосуда, об употреблении которого читатель, конечно, догадывается, и доски, приделанной к стене, шириной в один фут и отстоящей от пола на четыре фута. На эту доску я положил свой плащ, новое красивое платье и шляпу, украшенную испанскими кружевами и белым пером.

Жара была ужасная, и я невольно направился к решетке — единственному месту, где я мог облокотиться. Я не видел двора, зато увидел множество крыс страшной величины, прохаживающихся там. Эти животные, один вид которых внушает мне отвращение, подходили к решетке без всякого страха, и я поспешил опустить внутреннюю занавеску. Впав в глубокую задумчивость, по-прежнему облачиваясь на подоконник, я провел целых восемь часов в безмолвии и без движения.

При звуке часов, пробивших 21 час*, я начал просыпаться и почувствовал некоторое беспокойство, не видя никого, кто бы мог принести мне пищу и необходимые вещи. Казалось бы, что меня могли снабдить по крайней мере стулом, хлебом и водой. У меня не было аппетита, но разве это обстоятельство могло быть известно тюремщикам? И никогда еще в жизни я не ощущал во рту такой сухости и горечи. Тем не менее я был уверен, что к концу дня кто-нибудь да явится, но услышав, как часы собора пробили шесть вечера, я пришел в бешенство: стучал, ругался, кричал, производя максимальный шум, какой только мог произвести в своем положении. После целого часа беснования, не видя никого, не заметив ни малейшего признака, что кто-либо меня услышал, охваченный тьмой, я закрыл решетку из боязни проникновения крыс в мой каземат и бросился на пол.

Беспомощное положение, в котором меня оставили, казалось мне неестественным, и я пришел к мысли, что изверги-инквизиторы обрекли меня на смерть. Обозрение того, за что я мог заслужить такое наказание, не могло быть продолжительным, ибо, вспоминая самые ничтожные подробности своих поступков, я не обнаружил никаких преступлений. Я был распутником, игроком, смелым красноречивцем и думал только о наслаждении жизнью, но во всем этом не видел еще государственного преступления. Тем не менее осознав, что со мной обращаются как

* В Венеции и Италии XVIII века начало отсчета часов приходилось на 18 часов общепринятого времяисчисления. Таким образом, 21 час — это три часа пополудни. Далее время будет указываться в общепринятом времяисчислении.

с преступником, я с бешенством и отчаянием стал ругать ужасный деспотизм в таких выражениях, каких здесь не могу повторить. Однако сильное возбуждение, голод, дававший себя чувствовать, жажда, причинявшая мне мучения, и твердость пола, на котором я лежал, не помешали природе заявить своих прав, и я заснул.

Мой крепкий организм нуждался во сне, а у молодого, здорового человека эта потребность заставляла молчать все другие, и в этом-то именно смысле сон можно назвать благодетелем человечества.

Часы, пробившие полночь, разбудили меня. Какое ужасное пробуждение, когда приходится сожалеть об иллюзиях бессознательного состояния! Мне казалось, что я провел три часа, не ощущая никаких страданий. Лежа на левом боку, я протянул правую руку, чтобы взять платок, но каково же было мое удивление, когда моя рука наткнулась на другую руку, холодную как лед! Ужас наэлектризовал меня с ног до головы, волосы встали дыбом.

Никогда еще в жизни моя душа не ощущала такого ужаса, и я не подозревал, что был способен испытывать подобные чувства. В течение трех или четырех минут я находился в каком-то оцепенении, не только без движения, но и без всякой мысли. Придя несколько в себя, я подумал, что эта холодная рука — лишь плод моего воображения, и в этой надежде повторил попытку достать платок, но опять натолкнулся на холодную руку. В ужасе я вскрикнул, отталкивая ее от себя.

Вскоре, успокоившись и считая себя способным рассуждать, я решил, что во время моего сна возле меня положили труп: я был уверен, что до того момента, как я заснул, его здесь не было. "Вероятно,— говорил я себе,— это тело какого-нибудь несчастного, которого задушили, а теперь хотят дать мне понять, что и меня ожидает подобная участь".

Эта мысль привела меня в бешенство, я рассвирепел и в этом состоянии в третий раз протянул руку с целью увериться в бесчеловечности подобного поступка. Но, желая встать, я оперся на свою левую руку и тут только заметил, что держу ее в правой руке. Одеревенев под тяжестью тела, она лишилась тепла и чувствительности!

Это приключение, несмотря на весь свой комизм, несколько не развеселило меня: напротив, оно привело меня к самым горьким размышлениям. Я понял, что нахожусь в таком месте, где обманчивое кажется истинным, а истина должна казаться лживой; где ум должен терять половину своих возможностей и становиться жертвой химерических надежд или же ужасного отчаяния. Я решил обезопасить себя от этого и в первый раз в жизни, будучи уже тридцати лет от роду, обратил свой взор к философии, чьи зачатки были в моей душе, но в употреблении которой я до сих пор не нуждался.

Я думаю, что большинство людей умирают, не имея понятия о том, что же такое умение мыслить. И это происходит вовсе не по недостатку ума, а лишь потому, что толчок, необходимый

для мысли, никогда не возникал как следствие чрезвычайных обстоятельств.

После испытанных мною волнений не могло быть и речи о продолжении сна. Да и зачем мне вставать, когда я не мог стоять? Поэтому я благоразумно оставался в сидячем положении до двух часов ночи, пока не забрезжил рассвет следующего дня. Солнце должно было взойти в три часа, и я с нетерпением ждал наступающий день, ибо предчувствие, казавшееся непреложным, говорило мне, что в этот день я буду освобожден.

Я жаждал мщения и уже видел себя во главе восставшего народа, готового уничтожить преследовавшую меня власть. Я немилосердно умерщвлял всех аристократов: они должны быть уничтожены. Виновники моих несчастий были мне известны. Одним словом, я строил воздушные замки, будучи в бредовом состоянии. Таков человек, оказавшийся в плену сильной страсти: он и не подозревает, что им движет не разум, а величайший враг разума — гнев.

Прождал я меньше, чем предполагал, — это была первая причина моего успокоения. В половине третьего глубокое безмолвие этих мест было потревожено шумом открывающихся дверей.

— Надумали ли вы наконец, чего хотите поесть? — крикнул мой тюремщик сиплым голосом сквозь решетку.

Я ответил, что хочу рисовый суп, вареной говядины, жаркое, хлеба, вина и воды. Тюремщик, заметил я, был удивлен тем, что не услышал с моей стороны никаких жалоб. Спустя четверть часа он возвратился и спросил, почему я не прошу кровать и другую мебель.

— Если, — прибавил он, — вы льстите себя надеждой, что вас посадили сюда лишь на одну ночь, то вы сильно ошибаетесь.

— Ну так принесите мне все, в чем я нуждаюсь.

— Куда же мне пойти? Вот карандаш и бумага, напишите все.

Я написал адрес, куда ему следовало отправиться за одеждой, мебелью, книгами, бумагой и перьями. При чтении списка тюремщик сказал:

— Вычеркните-ка книги, бумагу, перья, зеркало и бритву, так как все это запрещено; а потом дайте денег, чтобы купить вам обед.

У меня было три цехина, я отдал ему один, и он отправился. Тюремщик целый час провозился в коридорах, занятый, как я впоследствии узнал, прислуживанием семи другим пленникам, заключенным здесь.

К полудню он появился в сопровождении пяти солдат, открыл каземат, внес вещи и мой обед. Кровать они поставили в альков, обед на стол, где уже лежала костяная ложка, купленная на мои деньги: вилки, ножи и все подобные предметы были строго запрещены.

— Скажите, — сказал он мне, — какой вы хотите завтра обед, ибо я могу входить сюда всего один раз в день, при восходе

солнца. А господин секретарь велел передать, что он пришлет вам приличные книги, поскольку те, что вы просили, запрещены.

— Поблагодарите его за то, что он посадил меня в отдельный каземат.

— Я исполню ваше желание, но вы напрасно хотите посмеяться над ним.

— Я вовсе не смеюсь, поскольку лучше быть одному, чем вместе с разбойниками, которые должны быть здесь.

— Какими разбойниками?! Здесь находятся только порядочные люди, которых, однако же, нужно отделить от общества вследствие причин, известных лишь одной инквизиции. Вас посадили одного, дабы наказать сильнее. И вы хотите, чтобы я поблагодарил его за это от вашего имени?

— Я этого не знал.

Тюремщик был прав, в чем я вскоре убедился. Я понял, что человек, находящийся в одиночестве, не способен ничем заняться. Обитая в темной камере, где он видит раз в день только того, кто приносит ему пищу, где даже не может распрямиться во весь рост, он представляет собой самое несчастное существо. Я желал бы быть в аду, — если бы только мог верить в ад — лишь бы не быть одному. Это чувство так сильно, что я в конце концов желал иметь товарищем хоть убийцу, хоть заразного больного, хоть медведя. Одиночество в заключении ужасно, но чтобы убедиться в этом, нужно испытать его, а подобного испытания я не желаю даже злейшим своим врагам. Если писатель в моем положении будет иметь чернила и бумагу, его несчастье уменьшится на девять десятых, но палачи, преследовавшие меня, вовсе и не думали об облегчении моей участи.

После ухода тюремщика я поставил стул около окна, к свету, и сел обедать, но мог проглотить только несколько ложек супа. Не евши более сорока восьми часов, я был болен, что несудивительно. Отобедав, я просидел весь день в своем кресле, раздумывая о книгах, что мне были обещаны. Я не спал целую ночь из-за возни крыс и шума, производимого часами собора св. Марка, которые, казалось, находились в моем каземате. Это двойное несчастье не было, однако, так ужасно, как другое, о котором мои читатели едва ли имеют какое-нибудь представление: я говорю о миллионах блох, кусавших с ожесточением мое тело. Эти насекомые сосали мою кровь с невыразимой жадностью, а их постоянные уколы вызывали в моем теле конвульсии, спазматические сокращения, отравляли всю мою кровь.

На заре Лаврентий (так звали тюремщика) пришел заправить постель, прибрать комнату, а один из сбиров принес мне воды умыться. Тюремщик принес мне также две большие книги, которые однако же я не раскрыл, боясь не сдержать возможное негодование по поводу их содержания, о чем шпион, конечно, поспешил бы сообщить своим господам. Он ушел, оставив еду и два разрезанных лимона.

Оставшись один, я поспешил съесть свой суп, пока он еще был горячим, затем подошел к окну и с радостью обнаружил,

что тут можно читать. Я прочитал титул: "Мистический град сестры Марии, называемый Аграда". Я не имел никакого понятия об этой книге. Вторая книга была написана иезуитом по имени Каравита. Этот ханжа написал целый трактат "О поклонении сердцу Господа нашего Иисуса Христа". Его книга с первых же страниц возмутила меня, так как этот иезуит, как и все ему подобные, под предлогом благочестия проповедовал самые возмутительные вещи, не подозревая, что богохульствует.

Мистический град заинтересовал меня немного. Я читал все, что может возникнуть в болезненном воображении набожной, меланхоличной, имющей невсехственных духовников испанской монахини. Все эти химерические и фантастические видения назывались откровением.

Потребность быть занятым чем-нибудь заставила меня провести целую неделю за изучением этого плода свихнувшейся фантазии. Я, конечно, ничего не говорил об этом произведении моему тюремщику, но мысли в голове моей начали, видимо, путаться. Как только мною овладевал сон, я ясно видел язву, которую сестра Мария навлекла на мой бедный ум, заболевший вследствие упадка духа, недостатка воздуха и движения, скверной жизни и полной неизвестности, ожидавшей меня. Мои нелепые грезы заставляли меня хохотать, как только я приходил в сознание. Если бы у меня были бумага и чернила, я бы эти грезы описал и, вероятно, написал бы в своей камере книгу еще более нелепую, чем та, которую мне выбрал так остроумно синьор Кавалли.

Это навело меня на мысль о том, что ошибаются те, кто приписывает уму человека известную положительную силу: она относительна, и человек, изучающий себя внимательно, найдет лишь слабость в себе самом. Человек редко становится сумасшедшим, но это тем не менее случается, ибо наш разум подобен пороку, воспламеняющемуся в соприкосновении с искрой. Книга этой испанки имеет все свойства испортить человека, но этот яд действует только при полном обособлении, когда человек лишен каких бы то ни было других занятий.

В ноябре 1767 года, во время путешествия из Памплон^{*} в Мадрид, мой извозчик Андреа Капелло остановился на обед в каком-то городе Старой Кастилии. Этот город был так печален и стар, что мне захотелось узнать его название. И как же я смеялся, когда мне сказали, что это Аграда! Здесь, значит, эта блаженная помешанная произвела на свет свою книгу, о существовании которой я бы никогда не узнал без Кавалли!

Старый патер, в чьих глазах я сразу вырос, как только стал расспрашивать его об авторе этой книги, показал мне место, где она была написана, и уверял меня, что все члены семьи Марии были великими святыми. Он мне сказал, — и это было правдой —

* Памплона — город в Испании, в западных Пиренеях, центр исторической области Наварра.

что Испания хлопотала в Риме об ее канонизации вместе с канонизацией Палафокса.

Но вернемся к моей жизни в заточении. По прошествии девяти или десяти дней я оказался без денег. Лаврентий спросил их у меня.

— У меня нет денег, — ответил я.

— Куда же мне отправиться за ними?

— Никуда.

На этого невежественного, жадного болтуна мое молчание действовало особенно неприятно.

На другой день Лаврентий мне объявил, что трибунал назначает мне пятьдесят су в день, а он должен быть моим кассиром и давать мне ежемесячные отчеты. Остаток денег он будет тратить согласно моим указаниям.

— Приноси мне два раза в неделю "Лейденскую газету".

— Это запрещено.

Денег, назначенных мне, было более чем достаточно на пропитание. Страшная жара и истощение вследствие недостатка пищи ослабили меня; лучи солнца почти весь день падали на мою камеру, и потому я был как в бане. Пот, исходящий из моего тела, сделал влажным пол с обеих сторон кресла, в котором я вынужден был сидеть голым.

В тот же день со мной случилась лихорадка, и я остался в постели. Лаврентию я ничего не сказал, но заметив на другой день, что я не дотронулся до еды, он спросил меня, здоров ли я.

— Совершенно здоров.

— Но это невозможно: вы ничего не кушаете. Сейчас трибунал доставит вам доктора и лекарства, и вы убедитесь в щедрости Их Милостей.

Он ушел и спустя три часа вернулся со свечкой в руке и в сопровождении важного господина: это был доктор. Меня мучила лихорадка безостановочно в течение трех дней. Доктор подошел ко мне и стал меня расспрашивать. Я отвечал, что не имею привычки разговаривать в присутствии свидетелей со своим доктором или духовником. Тогда он приказал Лаврентию выйти, но тюремщик отказался, и доктор ушел, сказав, что я нахожусь в большой опасности. Только этого я и желал, поскольку жизнь, которую я вел, не была особенным счастьем. К тому же я испытывал некоторое удовольствие, размышляя о том, что моя смерть заставит моих врагов подумать о бесчеловечности мер, принимаемых против меня.

Спустя несколько часов я снова услышал шум отворявшихся дверей, затем вошел доктор, держа в руке свечку. Лаврентий в комнату не вошел. Я был так слаб, что сама слабость доставляла мне удовольствие: действительно больного человека благодетельная природа лишает скуки. Я был рад, что мой подлый тюремщик не показывался мне на глаза, ибо с тех пор как он объяснил мне значение железного ошейника, я не мог его выносить.

За несколько минут я объяснил доктору, чем страдаю.

— Если вы хотите выздороветь, — сказал он мне, — постарайтесь быть веселее.

— Напишите мне рецепт от печали и отнесите его к аптекарю, сумсющему приготовить лекарство. Господин Кавалли плохой доктор, он дал мне лишь “Сердце Иисуса” и “Мистический град”.

— Очень вероятно, что эти два снадобья вызвали лихорадку. Я не оставляю вас.

Он ушел, приготовив мне питье, которое велел пить несколько раз в день. Ночь я провел в бреду.

На другой день доктор возвратился вместе с Лаврентием и фельдшером, пустившим мне кровь. Доктор также принес лекарство, которое я должен был принимать по вечерам вместе с чашкой бульона.

— Я получил дозволение, — прибавил он, — перевести вас на чердак, где не так жарко и воздух чище.

— Я отказываюсь от этой милости, потому как не выношу крыс, которых там множество.

— Жаль. Я сказал господину Кавалли, что он чуть не убил вас своими книгами, и он поручил мне забрать их у вас, а взамен дать Боэция*.

— Очень вам благодарен. Он лучше Сенеки** и доставит мне удовольствие.

— Я вам оставляю ячменную воду и необходимый инструмент. Постарайтесь поправиться.

Доктор посетил меня раза четыре, и я пошел на поправку: мой темперамент сделал остальное, аппетит вернулся ко мне. В начале сентября я чувствовал себя вполне прилично и страдал только от чрезвычайной жары и мух, из-за которых не мог постоянно читать Боэция.

Однажды Лаврентий сказал, что мне позволено выходить из каземата и умываться во время уборки в моей камере. Я пользовался этой милостью, гуляя в течение десяти минут, причем ходил так быстро, что крысы не осмеливались высовываться из своих дыр.

В этот же день Лаврентий дал мне отчет об употреблении денег: у него оставалось лишних тридцать ливров, которые я однако же не мог положить в свой карман. Пришлось их оставить ему, сказав, чтобы на эти деньги он заказал молебны. Я был уверен, что он совершенно иначе распорядится деньгами. Лаврентий поблагодарил меня с такой радостью, по которой я понял, что священником будет он сам. Каждый месяц я давал ему точно такие же указания в отношении остававшихся денег, но никогда не видел расписок от патера.

Я жил с постоянной надеждой, что следующий день будет днем моего освобождения, но обманываемый всякий раз в своих ожиданиях, я решил, что меня освободят, на этот раз уже

* Боэций, Аниций Манлий Северин (ок. 480—524 н. э.) — римский философ и государственный деятель.

** Сенека, Луций Анней (ок. 4 до н. э.—65 н. э.) — римский философ, писатель и государственный деятель, виднейший представитель стоицизма.

несомненно, первого октября, в день начала царства новых инквизиторов*. По этому расчету мое заключение должно продлиться столько же, сколько пробудут у власти нынешние инквизиторы. Вот почему я до сих пор не видел секретаря, который в противном случае непременно пришел бы допросить меня, уличить в преступлениях и наконец объявить мне приговор. Все это казалось мне неопровержимым, поскольку было естественным, но такая логика была нелепа в "Пьомби", где ничего не делается естественным образом.

Мне казалось, что инквизиторы должны признать мою невиновность и свою неправоту, что они держат меня в тюрьме лишь для виду, во избежании упрека в незаконном заточении. Исходя из этого я сделал вывод, что они освободят меня вместе с оставлением своих должностей. Я был так спокоен на этот счет, что был способен простить их и забыть оскорбление, нанесенное мне. "Каким образом,— говорил я себе,— эти господа могут оставить меня здесь своим преемникам, не будучи в состоянии указать, за что они меня держат?"

Я считал невозможным вынести приговор и не объявить мне его. Но не на доводы разума мне следовало опираться, рассуждая о трибунале, отличающемся от других своим произволом. Довольно простого подозрения инквизиторов, и вина доказана. Зачем при таком порядке вещей объявлять приговор виновному? Его согласие не требуется, а несчастному, по их мнению, лучше оставить надежду, поскольку и в случае объявления ему приговора он просидит в тюрьме не меньше. Мудрец не даст никому отчета о своих действиях, а дело венецианских трибуналов заключается только в суде и приговоре. Обвиняемый представляет собой лишь объект, которому не дозволено вмешиваться в дело.

Отчасти мне были известны привычки колосса, под пятою которого я находился, но в мире есть вещи, которые нельзя понять без личного опыта. Если среди читателей найдутся такие, кому эти правила покажутся несправедливыми, я их прощаю, поскольку знаю, что правила именно таковы. Но прибавлю, что находясь в основе целого учреждения, они необходимы, ибо без них не могло бы существовать и само учреждение.

В ночь на первое октября я не спал и с нетерпением ждал появления дня. Царство негодяев, отнявших у меня свободу, кончалось. Но день явился, Лаврентий пришел по своему обыкновению и не объявил мне ничего нового. В течение пяти или шести дней я был словно в прострации и вообразил, что вследствие совершенно неизвестных причин меня решили держать в заключении целую жизнь. Эта мысль заставила меня улыбнуться, так как я был уверен в том, что освобожусь сразу, как только решусь на это, пусть и с опасностью для жизни. Я знал, что убегу или буду убит, *deliberata morte feracior***.

* В Венецианской республике все государственные должности были выборными на срок от шести месяцев до двух лет.

** Сделавшись более грозным вследствие решения умереть. Лат.

В начале ноября я серьезно начал обдумывать способ своего освобождения, и эта идея полностью завладела моим разумом. Я стал изыскивать средства для осуществления своего проекта и находил сотни различных средств, но последнее мне всегда казалось наилучшим.

Во время этих занятий случилось странное событие, заставившее меня обратить внимание на печальное состояние своего духа.

Я стоял, смотря в окно. Вдруг вижу, как бревно, на которое я смотрел, начало колсбаться. В тот же миг я ощутил дрожание пола и догадался, что это землетрясение. Лаврентий и сбирь, вышедшие в эту минуту из моей камеры, тоже ощутили дрожание пола. Мое состояние духа было таково, что это событие обрадовало меня, но радость эту я постарался скрыть. Спустя четыре или пять секунд дрожание возобновилось, и я не мог не воскликнуть: "Еще, еще раз, великий Боже, но сильнее!". Сбирь в ужасе от этих слов, показавшихся им нечестивыми, убежали.

После их ухода я долго думал, на что же я рассчитывал в этой ситуации, и пришел к выводу, что надеялся на разрушение Дворца дождей и, как на следствие этого, свое освобождение: это огромное здание, разваливаясь, должно было выбросить меня в полном здравии на площадь св. Марка, где в любом случае я был бы раздавлен громадной массой обломков. Я был в таком состоянии, что желал свободу во что бы то ни стало, а жизнь считал ничем. Это явно свидетельствовало о том, что мысли мои начали путаться.

Должен заметить, что толчки эти были отголосками того страшного землетрясения, которое примерно в то же время превратило в руины Лиссабон.

Различные обстоятельства.— Товарищи.— Я подготавливаю побег.— Перемена каземата.

Для того чтобы читатель получил более полное представление о "Пьомби", мне необходимо коснуться некоторых подробностей.

"Пьомби" — тюрьма, в которой содержатся государственные преступники. Размещается она в чердаках Дворца дождей, а ее название заимствовано от широких полос свинца (piombo), покрывающих крышу Дворца. Проникнуть туда можно или через вход дворца, или через здание тюрем, или же через Ponte dei Sospegi — мост Вздохов.

В казематы можно пройти только через зал, где собираются государственные инквизиторы. Секретарь имеет ключ от этих казематов и доверяет его тюремщику лишь на время, необходимое для обслуживания заключенных. Это делается на рассвете, поскольку позднее солдаты, проходя туда и обратно, могут быть видимы всеми, кто имеет дело с Советом Десяти*. Этот Совет ежедневно собирается в зале, называемом Буссола, и солдаты

* Совет Десяти — полицейское управление с обширными полномочиями.

вынуждены проходить через него всякий раз, как отправляются в "Пьюмби".

Камеры тюрьмы расположены по двум фасадам дворца: три на запад, к числу которых принадлежала и моя, и четыре на восток. Кровельный желоб западной стороны выходит во двор дворца, восточный — перпендикулярно каналу Рио ди Палаццо. С восточной стороны камеры очень светлые и довольно высоки, чего нет в темнице, в которой находился я. Пол моего каземата был как раз над плафонами зала инквизиторов, где они обычно собираются по ночам, после ежедневных заседаний Совета Десяти, к числу членов которого принадлежат и три инквизитора.

Зная превосходно расположение комнат и привычки инквизиторов, я решил, что единственный способ осуществления побега заключается в том, чтобы пробить пол моей камеры, для чего необходимо иметь нужные инструменты; но здесь, в тюрьме, где всякие сношения с внешним миром строго запрещены, где не позволяются ни посещения, ни переписка с кем бы то ни было, заполучить инструменты было весьма затруднительно. Для подкупа солдат потребовалось бы много денег, а у меня их не было. Даже если бы я убил тюремщика и двух солдат, оставался еще третий, находящийся постоянно на часах у дверей галереи, которую он запирает на ключ и открывает только тогда, когда его товарищ хотел выйти и произносил пароль. Вот почему единственной мыслью, занимавшей меня, была мысль о побеге, а так как у Боэция я не находил на этот счет никаких советов, то перестал его читать. Тем не менее я был убежден, что путь к спасению я найду лишь в глубоких раздумьях, и потому все мои мысли были поглощены поиском способа убежать.

Я всегда считал, что человек, твердо решившийся достичь чего-либо и поглощенный только достижением цели, добьется своего, несмотря на все затруднения. Он сделается великим визирем, папой, совершит государственный переворот, если примется за дело заблаговременно и будет обладать необходимым умом и настойчивостью. Человек же состарившийся, гонимый судьбой, ничего не достигает. Но без помощи судьбы нельзя рассчитывать на что-либо серьезное. Для достижения цели необходимо рассчитывать на счастливые обстоятельства и пренебрегать препятствиями, а это такой политический расчет, который не многим удастся...

Где-то в середине ноября Лаврентий сообщил мне, что мессер-гранде схватил очередного преступника, и новый секретарь по имени Бузинелло приказал Лаврентию поместить бедолагу в самую скверную камеру — следовательно, он поместит его вместе со мною. Лаврентий сообщил секретарю о том, что я считаю особенной милостью одиночное заключение, но секретарь отвечал, что я, несомненно, стал благоразумнее по прошествии четырехмесячного заключения.

Эти новости не огорчали меня, и я находил даже некоторое удовольствие в подобной перемене. А что касается Бузинелло, то я считал его хорошим человеком; с ним я познакомился

в Париже, откуда он отправлялся в Лондон в качестве резидента республики.

После полудня я услышал шум отворявшихся замков, и Лаврентий в сопровождении двух солдат привел молодого человека, всего в слезах, и, сняв с него кандалы, запер его со мной и удалился, не сказав ни слова. Я лежал на кровати, и несчастный мог меня видеть. Его удивление забавляло меня. Имея счастье быть несколько ниже меня, он мог стоять не сгибаясь, рассматривая мое кресло, которое, вероятно, считал предназначенным для собственного употребления. Увидав на полке Бозция, он берет его, открывает и бросает с досадой, вероятно потому, что латынь для него недоступна. Затем он продолжает осмотр камеры, отправляется налево, удивляется, найдя разные вещи, потом направляется в альков. Протянув руку, трогает меня и почтительно просит прощения. Я приглашаю его присесть, и наше знакомство состоялось.

— Кто вы? — спрашиваю у него.

— Маджиорино из Веченцы. Отец мой, кучер в доме Поджиана, держал меня в школе до одиннадцати лет, и там я выучился читать и писать, а затем он отдал меня парикмахеру, где я за пять лет хорошо выучился ремеслу. Выйдя оттуда, поступил лакеем к графу Х. Я служил у него уже два года, когда его единственная дочь вышла из монастыря. Мне поручили убирать ее волосы, и мало-помалу я влюбился в нее и внушил ей любовь к себе. Мы поклялись никогда не расставаться, постоянно оказывали друг другу знаки внимания, и дело дошло до того, что молодая графиня уже не могла скрывать наших отношений.

Старая служанка, ханжа, первая открыла нашу связь и сказала моей любовнице, что обязана рассказать обо всем ее отцу. Однако моя молодая подруга сумела уговорить ее, заявив, что в течение недели она сама откроет все отцу через своего духовника. Она обо всем предупредила меня, и вместо того чтобы отправиться на исповедь, вместе со мной начала готовиться к побегу.

Подруга захватила порядочную сумму денег, несколько алмазов своей покойной матери, и ночью мы должны были бежать в Милан. Но вчера после обеда граф позвал меня и, вручая мне письмо, сказал, что я должен немедленно отправиться в Венецию и передать его лицу, которому оно адресовано. Он говорил со мной с такой добротой и так спокойно, что мне и в голову не пришло что-нибудь заподозрить.

Я отправился за своим плащом и мимоходом попрощался с подругой, сказав ей, что скоро вернусь. Более проникательная, чем я, а, может быть, предчувствуя беду, надвигающуюся на нас, она сильно огорчилась. Приехав сюда, в Венецию, я поспешил передать роковое письмо. Мне приказали ждать ответа. Получив ответ, я отправился в трактир чего-нибудь перекусить с намерением сразу же после этого отправиться в обратный путь. Но в тот момент, когда я выходил из трактира, меня арестовали и взяли под стражу, а затем отправили сюда.

Надеюсь,
своей женой?
— Вы ошибаетесь.
— Но при
— Природа
делать глупос
— Значит,
— Да, так
Бедный мо
слезы. Это был
и влюбленный
осудил отца за
красивого и впе
в стадо, не до
Слезы и жа
к его молодой
и принесет ем
свою провизию
есть. В то же
потребности гр
дочери и всей
Вечером я
провел ночь, т
хотелось спать
На другой д
ему трибунало
чуждо этой уж
обед достаточе
человека, он м
себя это дело
ему повезло с
мы можем гуля
как для здоров
который я смо
В галерее
в беспорядке
я перед кучей
несколько тет
которых меня
то, что в свое
Я увидел
молодых деву
людей, приста
иершасных ис
ностями, об оп
дела, события
назад, язык и
Между нах
каминную лог
насос. Это

Надеюсь, сударь, я имею право считать молодую графиню своей женой?

— Вы ошибаетесь.

— Но природа...

— Природа, если слушаешь только ее, заставляет человека делать глупости, до тех пор пока его не посадят в "Пьомби".

— Значит, я в "Пьомби"?

— Да, так же, как и я.

Бедный молодой человек снова принялся проливать горькие слезы. Это был очень хорошенький мальчик, искренний, честный и влюбленный до безумия. Я внутренне простил графиню и осудил отца за то, что он подверг свою дочь обольщению молодого, красивого и впечатлительного человека. Пастух, помещающий волка в стадо, не должен жаловаться на опустошение стада.

Слезы и жалобы Маджиорино относились не к нему, а лишь к его молодой подруге. Он полагал, что тюремщик возвратится и принесет ему кровать, но я разуверил его и предложил ему свою провизию. Мальчик был слишком опечален и не мог ничего есть. В то же время он не осознавал ни своего проступка, ни потребности графа наказать его публично и тем оберечь честь дочери и всей семьи.

Вечером я дал ему свой соломенный тюфяк, на котором он и провел ночь, так как хотя он, по-видимому, был опрятен, мне не хотелось спать с ним вместе, боясь результатов грез влюбленного.

На другой день Маджиорино принесли плохой обед, жертвуемый ему трибуналом из жалости, ибо слово "справедливость", кажется, чуждо этой ужасной организации. Я сказал тюремщику, что мой обед достаточен для двоих, а деньги, ассигнованные на молодого человека, он может употребить на молельни. Лаврентий взял на себя это дело весьма охотно и, поздравив Маджиорино с тем, что ему повезло с соседом по камере, сказал, что в течение получаса мы можем гулять по галерее. Я нашел эту прогулку очень полезной как для здоровья, так и для разработки плана побега, реализовать который я смог лишь одиннадцать месяцев спустя.

В галерее я нашел множество старой мебели, разбросанной в беспорядке по левую и правую сторону двух больших ящиков и перед кучей бумаг, сшитых в тетради. Ради забавы я взял несколько тетрадей и увидел, что это уголовные дела, чтение которых меня очень заинтересовало, ибо мне довелось читать то, что в свое время держалось в большом секрете.

Я увидел тут странные ответы на вопросы об обольщении молодых девушек, о слишком далеко зашедших ухаживаниях людей, приставленных к консерваториям девиц, о деяниях, совершаемых исповедниками, об учителях с преступными наклонностями, об опекунах, обольщавших опекаемых девиц. Тут были дела, события которых происходили два или три столетия тому назад, язык и нравы которых очень интересовали меня.

Между находившейся здесь мебелью я нашел грелку, котел, каминную лопатку, старые шандалы, горшки и даже ручной насос. Это навело меня на мысль, что найденные мною вещи

принадлежали какому-то высокопоставленному пленнику. Но больше всего меня заинтересовал громадный запор длиной полтора фута. И все же я ни до чего не дотронулся, поскольку время действий еще не наступило.

Однажды утром, в конце ноября, моего товарища увели, и Лаврентий сказал мне, что Маджиорино перевели в тюрьму, называемую "Четыре". Эта тюрьма находится в здании обыкновенных тюрем и принадлежит государственной инквизиции. Заключенные там имеют право вызывать тюремщика в любой момент, когда им вздумается. Камеры тюрьмы очень темные, но они освещаются с помощью ламп. Пожара не боятся, ибо там все мраморное. Впоследствии я узнал, что бедный Маджиорино провел в этой тюрьме пять лет и затем был отправлен оттуда в Чериго еще на десять лет. Не знаю, вышел ли он из этого заточения или нет. Его общество меня очень развлекало, в чем я сразу убедился, как только его увели, поскольку я опять впал в угнетенное состояние.

Меня, однако, не лишили привилегии прогулок по галерее. Я стал внимательнее присматриваться ко всему, что там было. В одном из ящиков была прекрасная бумага, картон, перья, тесемки; другой был заделан. Кусок мрамора — черного, полированного, толщиной в дюйм, длиной в шесть и шириной в три дюйма — обратил на себя мое внимание. Я взял его, не зная еще, что с ним стану делать, и спрятал в своей камере, засунув его между рубашками.

Спустя неделю после увода Маджиорино Лаврентий объявил мне, что, по всей вероятности, у меня опять будет товарищ. Тюремщик, в сущности своей не более чем болтун, стал беситься из-за того, что я не задаю ему никаких вопросов. По долгу службы ему бы не следовало быть болтуном, но где же взять совершенных существ? Конечно, они встречаются, но крайне редко, и не в низших классах следует их искать.

Итак, Лаврентий, будучи не в состоянии проявить свою скромность, воображал, что я не спрашиваю его лишь только потому, что считаю его человеком несведущим. Желая доказать, что я ошибаюсь, он начал болтать без всякой просьбы с моей стороны.

— Я думаю, что у вас будут частые визиты, так как в других пяти камерах содержатся заключенные, которых не отправят в "Четыре".

Я не отвечал ему, и, помолчав немного, он продолжал.

— В "Четыре" сажают кого попало, всякий сброд, приговор кому был уже вынесен. Те же, кто, подобно вам, отдан на мое попечение в "Пьюмби", люди особенные, о чьих преступлениях не должны знать любопытные. Если бы вы узнали, кто ваши товарищи по несчастью, вы были бы весьма удивлены, ибо справедливо говорят, что вы человек умный: но вы извините меня... Знаете, недостаточно быть умным, чтобы попасть сюда... Вы меня понимаете. Пятьдесят су в день не безделица. Простому гражданину дается три ливра, дворянину — четыре, восемь — иностранному графу. Мне ли этого не знать? Ведь все проходит через мои руки.

Тут он начал восхвалять себя, но как-то все отрицательно.

— Я не вор, не изменник, не лгун, не скуп, не зол, не груб, подобно всем другим тюремщикам, а когда и выпью лишку, то становлюсь еще лучше. Если бы мой отец позаботился о моем воспитании, то теперь я бы умел читать и писать и, может быть, был бы мессером-гранде, но не моя вина, что я получил плохое воспитание. Господин Диедо уважает меня; моя жена, которой только двадцать четыре года и которая готовит вам кушанья, отправляется к нему когда захочет, и он пускает ее без всякого даже тогда, когда находится в постели, — милость, которую он не оказывает ни одному сенатору.

Обещаю вам, что у вас перебывают все новые заключенные, но будут они у вас недолго, ибо как только секретарь узнает от них все, что ему нужно, он отправит их по назначению — или в “Четыре”, или в какой-нибудь форт, или на Восток. Если же это иностранец, то его отправят за границу. Умеренность трибунала, сударь, беспримерна, и нет другого такого трибунала, который поступал бы так милостиво. Находят жестоким, что он не позволяет переписку и присм знакомых, но это глупости, ибо писать и видеться со знакомыми — лишь понапрасну тратить время. Вы мне скажете, что вам и без того делать нечего, но мы-то этого не можем сказать.

Приблизительно такова была первая беседа, которой угостил меня этот палач, и я должен сознаться, что он меня заинтересовал. Я понял, что если бы этот человек не был так глуп, он был бы гораздо злее, и я решил воспользоваться его глупостью.

На другой день ко мне привели нового заключенного, с которым обращались в первый день так же, как с Маджиорино. Это заставило меня подумать о приобретении еще одной костяной ложки, так как новичку ничего не дали, и я был вынужден уступить ему свою.

Мой новый товарищ поклонился мне с большим почтением, поскольку моя борода, успевшая вырасти уже почти на четыре дюйма, была еще внушительнее, чем мой рост. Лаврентий часто давал мне ножницы стричь ногти, но ему было запрещено под угрозой самого жестокого наказания прикасаться к моей бороде. Причину этого я не знаю, но к бороде привык, как привыкают ко всему.

Итак, передо мной стоял человек лет пятидесяти, приблизительно моего роста, несколько сгорбленный, худощавый, с большим ртом и отвратительными зубами. У него были маленькие серенькие глазки и большие рыжие брови, что придавало ему вид совы. Он был в черном парике, издававшем пренеприятный запах масла, и в платье из грубого серого сукна. Этот господин принял мой обед, но держался вдалеке и в течение всего дня не произнес ни слова; я последовал его примеру, будучи убежден, что вскоре он бросит свою тактику. Это действительно случилось на следующий день.

Рано утром ему принесли его кровать и мешок с бельем. Тюремщик спросил его, — как в свое время и меня — чего он хочет на обед, а также денег на его приобретение.

— У меня нет денег.

— Как?! Такой богач, как вы, не имеет денег?!

— У меня нет ни гроша.

— Хорошо, в таком случае я принссу вам казенного хлеба и воды. Таков порядок.

Лаврентий вышел и через минуту вернулся с хлебом и водой, передал все это заключенному и, заперев дверь, ушел.

Оставшись наедине с этим призраком, я услышал, как он вздохнул. Жалость овладела мной, и я прервал молчание.

— Не вздыхайте, милостивый государь, пообедайте со мной; но мне кажется, вы поступили очень опростетчиво, являясь сюда без денег.

— У меня есть деньги, но об этом не должны знать эти мерзавцы.

— Но ведь это обрекает вас на хлеб и воду... Знаете ли вы причину своего ареста?

— Да, знаю, и в двух словах объясню вам, в чем дело. Меня зовут Скальдо-Нобили. Отец мой был простым крестьянином, но выучил меня читать и писать и оставил мне после смерти маленький домик с клочком земли. Я родился во Фриуле, недалеко от Удине*. Ручей Корно сильно портил мою землю, и поэтому я решил продать ее и поселиться в Венеции, что и сделал лет десять тому назад. Я получил за землю восемь тысяч ливров. Зная, что в нашей счастливой республике все пользуются свободой, я решил, что могу достичь определенного достатка, употребив в дело свой капитал, и начал давать займы под залог. Уверенный в своей экономности, здравом смысле и знании жизни, я решил отдать предпочтение именно этому делу.

Я снял маленький домик в квартале Королевского канала, меблировал его и, живя один, спокойно в течение двух лет нажил десять тысяч ливров, хотя и издерживал на себя по две тысячи ливров в год. Я был убежден, что со временем наживу таким образом порядочное состояние, но однажды, дав займы какому-то еврею два цехина под залог нескольких книг, я отыскал среди них трактат Шаррона** "О мудрости". Именно тогда-то я понял, как важно много читать, ибо эта книга, милостивый государь, которую вы, может быть, и не читали, стоит всех книг, поскольку в ней заключается все, что нужно знать человеку. Она очищает от всех предрассудков, приобретенных в детстве. С Шарроном прощай ад и все ужасы будущей жизни — ты открываешь глаза, узнаешь дорогу к счастью, становишься мудрецом. Приобретите это сокровище и смейтесь над всеми дураками, которые будут говорить вам, что это сокровище запрещено.

Из этих слов я понял, с кем имею дело. Что же касается

* Фриуль — историческая область на северо-востоке Италии, входящая в состав Венецианской республики; Удине — один из фриульских городов.

** Шаррон, Пьер (1541—1603) — французский философ-скептик. Его сочинения в защиту христианства, но против догматизма и схоластики подвергались нападкам со стороны ортодоксов-клерикалов. Известно его утверждение "Религия возникла после нравственности".

Шаррона, то я читал эту книгу, но не знал, что она переведена на итальянский. Шаррон, большой поклонник Монтеня*, думал, что пошел дальше своего учителя, но работал напрасно. Он классифицировал многие идеи и сюжеты Монтеня, в беспорядке разбросанные у этого великого философа, но, будучи священником и богословом, Шаррон заслужил наказание. К тому же его не так много читали, несмотря на запрещение, которое должно было сделать модным его книгу. Глупый итальянец, переведший ее, не знал даже, что слово "мудрость" по-итальянски будет "sapienza". Шаррон имел дерзость озаглавить свою книгу подобно книге Соломона**, что не свидетельствует о его скромности.

Мой товарищ продолжал следующим образом:

— Освобожденный Шарроном от всяческих сомнений и лживых впечатлений, от которых так трудно отделаться, я повел свое дело таким образом, чтобы заработать в течение шести лет десять тысяч цехинов. И здесь нечему удивляться, ибо в этом богатом городе азартные игры, разврат и леность заставляют всех постоянно нуждаться в деньгах: мудрые пользуются тем, чем разбрасываются помешанные.

Года три тому назад некий граф Сериман явился ко мне и попросил взять у него пятьсот цехинов, пустить их в оборот и давать ему половину прибыли, которую я получу на эти деньги. Он потребовал у меня лишь простую расписку, в которой я обязывался возратить ему эту сумму по его требованию. К концу года я передал ему семьдесят пять цехинов, что составило пятнадцать процентов на всю сумму; он расписался в получении денег, но высказал неудовольствие. Граф был не прав, ибо, не нуждаясь в деньгах, я так и не воспользовался его цехинами. На второй год я сделал то же самое из простой любезности, но мы поговорили крупно, и он потребовал возврата своих пятисот цехинов. "Охотно,— отвечал я,— но я исключу из этой суммы сто пятьдесят цехинов, которые вы уже получили". Это привело графа в бешенство, и он потребовал у меня уплаты всей суммы законным путем.

Ловкий адвокат взялся меня защищать и сумел отсрочить решение дела на два года. Месяца три тому назад разговор зашел о любовной сделке, но я отказался. Однако боясь какого-нибудь насилия, я обратился к аббату Джустиниани, управляющему маркиза Монталегро, испанского посланника, и за небольшие деньги он сдал мне внаем маленький дом, где я мог быть защищен от всяческих неожиданностей. Я не отказывался возратить деньги графу Сериману, но считал справедливым исключить из них сто пятьдесят цехинов, которые издержал.

* Монтень, Мишель де (1533—1592) — французский философ и писатель, сторонник скептицизма. Его основное сочинение "Опыты" (1580) было включено Ватиканом в 1676 году в список запрещенных книг.

** Соломон — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 до н.э., в период его расцвета. Ему приписывается авторство библейских книг "Песнь Песней", "Экклесиаст", "Притчи" и др.

Неделю тому назад адвокат графа и мой сошлись у меня; я показал им в кошельке двести пятьдесят цехинов и сказал им, что готов отдать их, но ни гроша больше. Адвокаты не стали возражать, но ушли очень недовольные. Я не обратил на это внимание. Дня три тому назад аббат Джустиниани велел передать мне, что он позволил государственным инквизиторам отправить ко мне солдат для обыска. Я считал, что обыск мне не грозит, поскольку я был под покровительством иностранного посланника, и вместо того чтобы принять необходимые предосторожности и припрятать деньги в надежное место, я храбро ждал прихода солдат. На рассвете ко мне явился мессер-гранде и потребовал от меня триста пятьдесят цехинов, а на мой ответ, что у меня нет ни гроша, арестовал меня, и вот я здесь.

Я негодовал не только на то, что нахожусь в одной камере с таким негодяем, но также и на то, что он считал меня равным себе. Ведь если бы он был другого мнения обо мне, то, конечно, не одарил бы меня своим длинным рассказом в надежде на то, что я его похвалю. Из разговоров, которые он вел со мной в течение трех дней, постоянно твердя о Шарроне, я понял, насколько справедлива итальянская пословица: "Guardati da colui che non ha letto che un libro solo"*. Чтение сочинения этого развращенного священника сделало его атеистом, и этим он хвастал при всяком удобном случае.

После полудня Лаврентий пришел отвести его к секретарю. Скальдо-Нобили наспех оделся и вместо своих башмаков надел мои. Спустя полчаса он возвратился, рыдая вынул из своих башмаков два кошелька с тремястами пятьюдесятью цехинами и в сопровождении тюремщика отнес их секретарю. Вскоре он снова возвратился, взял свой плащ и ушел. Я подумал, и не без основания, что с целью заставить его заплатить долг секретарь пригрозил ему пыткой. Если бы она употреблялась только для достижения подобных результатов, то я, ненавидящий пытку и ее создателя, первый провозгласил бы ее полезность...

В первый день 1756 года я получил подарок. Лаврентий принес мне халат, подбитый лисьим мехом, шелковое одеяло на вате и мешок медвежьей шерсти для согревания ног. Все это я принял с большим удовольствием, поскольку холод был очень сильный и переносить его было так же трудно, как и жару в августе. Секретарь через тюремщика известил меня о том, что я могу располагать шестью цехинами в месяц, покупать какие угодно книги и получать газету. Всем этим я был обязан Бригадину. Я попросил у Лаврентия карандаш и написал на клочке бумаги: "Благодарен трибуналу за щедрость и господину Бригадину за его добродетели".

Нужно быть в моем положении, чтобы понять, как взволновало меня все это. В первые минуты я простил своих притеснителей и был готов оставить проект побега — до такой степени человек бывает уступчив в несчастье. Лаврентий сказал мне, что Бригадин

* Остерегайся того, кто читал лишь одну книгу. Итал.

явился к трем инквизиторам коленопреклоненный и со слезами на глазах, умолял их, если я нахожусь еще в числе живых, доставить мне подарки как знак его любви. Тронутые инквизиторы не могли ему отказать.

Я сразу же написал названия книг, которые мне хотелось иметь.

Однажды утром, во время прогулки по галерее, мои глаза остановились на засове, о котором я уже говорил. Вдруг мне пришло в голову, что этот засов может быть прекрасным оборонительным и наступательным оружием. Я схватил его и, спрятав под халатом, унес в свою камеру. Оставшись один, я взял принесенный ранее кусок черного мрамора и убедился, что из него получится прекрасный точильный камень, так как потеряв мрамором засов, я получил хорошо полированную поверхность.

Заинтересовавшись этой работой, в результате которой я надеялся получить вещь, совершенно запрещенную в "Пьюмби", подстрекаемый желанием сделать предмет без какого бы то ни было инструмента, возбужденный предстоящими трудностями, — мне пришлось бы тереть засов почти в темноте, держа мрамор в левой руке и без единой капли масла, — я решил, тем не менее, попробовать достигнуть цели. Вместо масла я употреблял свою собственную слюну и затратил целую неделю на то, чтобы обработать восемь пирамидальных сторон, вершина которых получилась прекрасно заостренной. Таким образом засов превратился в восьмигранный стилет, пропорциональный настолько, насколько можно было ожидать от такого плохого мастера, как я.

Трудно представить себе, сколько труда и терпения мне понадобилось, чтобы завершить эту неприятную работу без инструментов: это было для меня нечто вроде пытки, не известной никаким тиранам. Моя правая рука так одеревенела, что мне трудно было двигать ею. Ладонь покрылась широкой язвой, образовавшейся вследствие множества пузырей, которые появились от трудной и продолжительной работы; боюсь, мне не описать всех вынесенных страданий.

Гордясь своим произведением, хотя и не зная еще, как мне придется его употребить, я решил спрятать стилет так, чтобы его нельзя было отыскать даже при самом тщательном обыске. Все обдумав, я остановился на своем кресле и так спрятал там свой кинжал, что устранил всякое подозрение. Таким образом Провидение помогало мне приступить к побегу, который можно назвать удивительным, если не чудесным.

Признаюсь, я горжусь своим побегом, но моя гордость объясняется не его успехом, поскольку случай играл в нем большую роль, а тем, что я счел это дело возможным и имел смелость приступить к нему, несмотря на все неприятные последствия, которые, в случае неуспеха, чрезвычайно ухудшили бы мое положение и, может быть, сделали невозможным мое освобождение вообще.

После непродолжительных размышлений о том, как воспользоваться своим инструментом, я решил, что самым простым делом будет пробить дыру в полу под кроватью.

Я был уверен в том, что непосредственно под моей камерой находилась комната, где я видел Кавалли. Я знал, что эта комната открывалась каждое утро, и не сомневался в том, что как только отверстие будет пробито, я без труда смогу спуститься туда с помощью простынь, которые я превращу в веревку и привяжу к кровати. В этой комнате я решил спрятаться под большим столом и утром, как только дверь будет открыта, выйти; и прежде чем меня спохватят, я буду уже далеко. Мне пришло в голову, что там может стоять часовой, но в этой ситуации я рассчитывал на свой кинжал.

Пол в моей камере мог быть двойным, даже тройным, что меня очень беспокоило, ибо как помешать обслуживающим камеру подметать пол в течение двух месяцев, необходимых для выполнения задуманного? Запрещая уборку, я только вызвал бы подозрения, тем более что желая освободиться от блох, я требовал, чтобы полы подметали ежедневно.

Нужно было что-то придумать. Я начал с того, что воспротивился подметанию, не объясняя причин. Спустя неделю Лаврентий спросил меня, почему я не хочу, чтобы подметали пол. Я сослался на пыль, якобы вызывающую у меня кашель.

— Я прикажу поливать пол, — сказал он.

— От этого будет еще хуже, так как вследствие сырости у меня разболится грудь.

Таким образом я выгадал целую неделю, но затем тюремщик приказал подмести пол, вынести кровать в галерею и под предлогом уборки зажечь свечку. Я догадался, что Лаврентий что-то подозревает, но сумел остаться спокойным и не только не отказался от своего проекта, но даже стал думать о том, как его улучшить.

На другое утро, сделав порез на пальце, я запачкал кровью свой платок и стал ждать в постели Лаврентия. Как только он пришел, я сказал ему, что у меня был страшный кашель и, вероятно, лопнула какая-то вена, так как кровь шла горлом, и поэтому мне нужен доктор.

Доктор пришел, прописал мне кровопускание и выписал рецепт. Я ему сказал, что моя болезнь началась из-за Лаврентия, настоявшего на подметании комнаты. Доктор сделал ему выговор и рассказал, как по той же причине умер один молодой человек, ибо нет ничего опаснее, чем вдыхать пыль. Лаврентий клялся всеми святыми, что приказал мести пол лишь из благих побуждений, и обещал, что больше этого не будет. Я смеялся про себя, поскольку доктор вел себя лучше, чем я мог ожидать. Присутствовавшие при разговоре солдаты были весьма рады этому и обещали хорошо подметать камеры лишь тех, кто с ними обращался дурно.

Когда доктор ушел, Лаврентий попросил у меня прощения и начал уверять, что все другие заключенные находятся в полном здравии, хотя у них подметали ежедневно.

— Но это дело важное, — прибавил он, — и я их предупрежу, ибо отношусь к ним как к собственным детям.

Кровопускание пошло мне на пользу, потому что возвратило

мне со
у меня
но врем
велик,
Мое
необход
Нужна
делу. П
условия
Дли
я был
в пасму
окно, б
посторо
всегда
Име
счастли
Как я
приобре
Чтоб
меты: с
могла б
предлог
луккско
получи
Лаврент
знал, ч
может
прилож
что мой
и тут ж
у него
мне вме
не мог
Когд
моих ру
Лаврент
тюремщ
секрета
сладкоп
серным
— Я
мне это
и я сам
несколь
Спи
Как
беде! Не
Я до
венное,
2*

мне сон и прекратило припадки, начинавшие меня беспокоить. У меня улучшился аппетит, с каждым днем я становился сильнее, но время приступить к работе еще не пришло: холод был слишком велик, и мои руки не могли долго держать инструмент.

Мое предприятие требовало особой осторожности, и потому необходимо было избегать всего, что могло быть легко замечено. Нужна была большая храбрость, чтобы приступить к такому делу. Положение человека, вынужденного действовать в подобных условиях, весьма незавидно, поскольку он рискует всем.

Длинные зимние ночи приводили меня в отчаяние, так как я был вынужден проводить в темноте по девятнадцать часов, а в пасмурные дни, нередкие в Венеции, свет, проходивший через окно, был явно недостаточен для чтения. Не интересуясь ничем посторонним, я постоянно возвращался к мысли о побеге, а ум, всегда занятый одним и тем же, может легко свихнуться.

Имей я хоть самую простую кухонную лампу, я был бы счастлив, но как достать ее? О великое преимущество мысли! Как я был рад, когда мне показалось, что я нашел средство приобрести это сокровище!

Чтобы соорудить лампу, мне нужны были различные предметы: сосуд, фитиль, масло, кремьень, трут, спички. Сосудом могла быть чашка, в которой мне готовили яйца с маслом. Под предлогом, что простое масло мне вредно, я приказал покупать луккское масло для салата. Из моего стеганого одеяла могли получиться фитили. Сделав вид, что у меня болят зубы, я сказал Лаврентию, что мне нужно немного пемзы, но так как он не знал, что мне на самом деле нужно, я прибавил, что пемзу может заменить кремьень, если его положить на день в уксус: приложенный затем к зубу, он снимет боль. Лаврентий отвечал, что мой уксус очень хорош, и я могу сам размочить в нем кремьень, и тут же бросил мне несколько кусков кремня, которые нашлись у него в портмоне. Большая стальная пряжка могла послужить мне вместо железки. Оставалось добыть серу и трут, но я ничего не мог придумать, пока наконец случай не выручил меня.

Когда-то у меня было нечто вроде кори, после которой на моих руках остались красные пятна, беспокоившие меня. Я велел Лаврентию спросить у доктора лекарство, и на другой день тюремщик принес мне записку, прочитанную предварительно секретарем. В записке значилось: "День диеты, четыре унции сладкого миндаля, и пятна исчезнут; или же натирать кожу серным цветом, но это лекарство довольно опасно".

— Я не боюсь опасности, — сказал я Лаврентию. — Купите мне это вещество, а лучше принесите серы — у меня есть масло, и я сам приготовлю лекарство. Есть у вас спички? Дайте мне несколько.

Спички нашлись в его кармане, и он мне их дал.

Как мало нужно, чтобы обрадовать человека, находящегося в беде! Но в моем положении спички были настоящим сокровищем.

Я долго ломал голову над тем, как добыть трут — единственное, чего у меня не было. Я не знал, под каким предлогом

сто спросить, но вспомнил, что в свое время просил своего портного вставить трут под мышки кафтана, чтобы пот не испортил материю. Это платье, совсем новое, находилось передо мной. Сердце мое учащенно билось — ведь портной мог и не исполнить просьбу, и надежда сменялась отчаянием. Мне стоило сделать лишь шаг, чтобы отбросить все сомнения, но шаг этот был решающим, и я не смел его сделать.

Наконец я приближаюсь, и, чувствуя себя недостойным этой милости, падаю на колени и молю Бога, чтобы портной не забыл моей просьбы. После этой горячей молитвы я беру платье, распарываю материю и нахожу трут! Моя радость превратилась почти в экстаз. Было естественно поблагодарить Бога, потому что я имел смелость начать поиски только вследствие доверия к нему, и я отблагодарил его самым горячим образом.

Несколько позднее, размышляя об этом, я радовался, что последовал импульсу своего сердца, но посмеялся над своей глупостью, когда умолял Бога дать мне возможность отыскать трут. Этого я бы не сделал до заключения в "Пьюмби", не сделал бы и теперь, но отсутствие свободы искажает умственные способности.

Имея все нужное, я вскоре соорудил себе лампу. Представьте себе мою радость от сознания того, что я, так сказать, создал свет среди тьмы и обошел приказы своих презренных притеснителей! Мрака теперь не было для меня, но не было также и салата, ибо, хотя я очень его любил, необходимость сохранить масло для лампы заставила меня пожертвовать им. Приняться за трудное дело разрушения пола я решил в первый понедельник поста, поскольку в праздничном беспорядке карнавала я боялся внезапного посещения, и моя предосторожность оказалась благоразумной.

В воскресенье, на масленицу, Лаврентий явился ко мне в сопровождении какого-то толстяка, которого я узнал. Это был жид Габриель Шалон, известный своей ловкостью снабжать молодых людей деньгами, заставляя их делать скверные дела.

Мы узнали друг друга и поздоровались. Его общество не могло быть приятно, но об этом меня не спрашивали. Шалон сказал Лаврентию, чтобы тот отправился к нему на квартиру и принес ему обед, кровать и все необходимое, но тюремщик ответил, что об этом будет время поговорить и завтра.

Этот еврей был легкомысленным болтуном, невежой и дураком, но только не в своем деле. Он начал с того, что поздравил меня с тем, что я удостоился чести быть в его обществе. Вместо ответа я предложил ему половину своего обеда. Он отказался, говоря, что ест только чистую пищу и дождется более приличного ужина у себя дома.

— Когда?

— Сегодня вечером. Вы слышали, что когда я потребовал свою кровать, тюремщик отвечал мне, что лучше подождать до завтра. Это, очевидно, означает, что я не нуждаюсь в кровати. Разве возможно, чтобы оставили без пищи такого человека, как я?

— Да ведь со мной сделали же это.

— Положим, но между нами есть некоторая разница. И, на-

конец, и
теперь с
— Мо
вашего п
— В
мудрецов
есть стра
— Ка
— Не
и как го
— Ра
— Ра
Этот
хотел ра
передава
мне над
меня не
говорить
Я не
Приближ
красное
тюфяком
На др
в общест
потому ч
ретарь н
выяснить
незаконн
Шалон
ренту, ко
отца про
— Пр
этой про
внимани
то покуп
Видя,
наконец
Он сдерж
лампе и,
Этот
читать. О
то отчая
только с
повторят
с иронией
слишком
за компл
но я заст
инквизито
провести

конец, инквизиторы явно попали впросак, арестовав меня: они теперь сконфужены и ищут предлог освободить меня.

— Может быть, они вам назначат пенсию, ведь с человеком вашего положения нужно обходиться осторожно.

— Вы правы: на бирже нет маклера более полезного, и пять мудрецов много бы выиграли, последовав моим советам. Мой арест есть странное явление, которое мимоходом осчастливило вас.

— Каким образом?

— Не пройдет и месяца, как я освобожу вас. Я знаю, с кем и как говорить об этом.

— Рассчитываю на вашу любезность.

— Рассчитывайте.

Этот глупый плут считал себя очень важным господином. Он хотел рассказать мне, что говорилось обо мне в городе, но передавал лишь глупые мнения невеж его же рода. Вскоре он мне надоел, и я взял книгу. Дуралей имел дерзость просить меня не читать, так как он очень любит поговорить, но продолжал говорить лишь о себе.

Я не смел зажечь лампу в присутствии этого животного. Приближалась ночь, и он решился принять от меня хлеб и красное вино, а потом был вынужден удовольствоваться моим тюфяком, служившим всем новым пришельцам.

На другой день Шалон получил кровать и пищу. Я находился в обществе этого несчастного в течение целых двух месяцев, потому что прежде чем приговорить Шалона к "Четырем", секретарь несколько раз вынужден был допрашивать его, чтобы выяснить различные плутни и заставить его отказаться от многих незаконных контрактов.

Шалон сам сознался мне в том, что купил у Доменико Микели ренту, которая не могла принадлежать покупателю раньше смерти отца продавца.

— Правда, — прибавил он, — Микели согласился потерять на этой продаже пятьдесят процентов, но необходимо принять во внимание и то, что если бы продавец умер раньше своего отца, то покупатель потерял бы все.

Видя, что этот проклятый товарищ не оставляет меня, я решился наконец зажечь свою лампу, взяв с него слово сохранить тайну. Он сдержал его, пока был со мной, поскольку Лаврентий знал о лампе и, к счастью, не придавал этому никакого значения.

Этот грубиян Шалон решительно мне надоел, ибо мешал мне читать. Он был невежественным суеверным хвастуном, то робким, то отчаянным. Шалон хотел, чтобы я приходил в отчаяние, как только страх заставлял его плакать, не переставая при этом повторять, что заключение решительно губит его репутацию. Я с иронией, которую он не понял, уверял его, что его репутация слишком хорошо известна и не боится ничего: он это принимал за комплимент. Шалон не хотел согласиться с тем, что был скуп, но я заставил его сознаться в этом, и он сказал, что если бы инквизиторы давали ему пять цехинов в день, то он бы согласился провести в "Пьюмби" всю жизнь.

Он был талмудистом, как и все евреи, и старался убедить меня в том, что был очень сведущ в своей религии и сильно привязан к ней, но я вызвал у него довольную улыбку, сказав, что он отрекся бы от Моисея, если бы папа сделал его кардиналом. Сын раввина, он действительно был сведущ в обрядах, но, как и все люди, полагал, что сущность религии заключается в дисциплине.

Чрезвычайно толстый, этот еврей половину своей жизни проводил в постели и так, как часто спал днем, часто жаловался, что не может спать ночью, тем более видя, как хорошо сплю я.

Однажды он разбудил меня.

— Что вам нужно? — спросил я, проснувшись.

— Дорогой друг, я не могу уснуть, будьте так добры, побеседуйте со мной.

— И вы называете меня вашим другом?! Я понимаю, что ваша бессонница настоящая пытка, но если еще раз вам вздумается отнять у меня единственное счастье, которое у меня осталось, я вас задушю, — произнес я с бешенством.

— Извините меня и будьте уверены, что больше это не повторится.

Весьма вероятно, что я не задушил бы его, но несомненно, что охота задушить его у меня была. Пленник, имеющий счастье хорошо спать, не чувствует себя рабом во время сна. Поэтому заключенный имеет право смотреть на того, кто его будит, как на тюремщика, лишаящего его свободы, так как пробуждение возвращает ему сознание своего несчастья. Прибавим к этому, что обычно заключенный видит себя во сне свободным, подобно тому как несчастному, умирающему от голода, снится самый роскошный обед.

Я был очень рад тому, что не приступал к своему предприятию до появления Шалона, тем более что он требовал уборки камеры. В первый раз, когда он это потребовал, служащие заставили меня улыбнуться, сказав ему, что это убьет меня. Он все-таки настаивал, и я был вынужден сделать вид, что болен, да и благоразумие требовало не упорствовать.

В среду на святой Лаврентий предупредил нас, что секретарь явится к нам после полудня, чтобы нанести нам визит по поводу Пасхи и водворить покой в душу тех, кто пожелает причаститься, а также узнать, не имеем ли мы чего против тюремщика.

— Итак, господа, — прибавил Лаврентий, — жалуйтесь на меня, если имеете что-либо против меня. Оденьтесь получше — таково правило.

Я велел Лаврентию привести мне духовника на следующий день.

Я парадно оделся, и еврей последовал моему примеру, предварительно простившись со мной, до такой степени он был убежден, что секретарь освободит его, как только поговорит с ним.

— Мои предчувствия, — прибавил он, — никогда не обманывают меня.

— Поздравляю вас.

Секретарь действительно явился, и как только камера открылась, еврей бросился на колени перед ним. В течение нескольких минут я слышал только рыдания и вздохи, поскольку секретарь не обмолвился ни словом. Затем он вышел в галерею, и Лаврентий попросил меня следовать за секретарем. С восьмимесячной бо-родой, в летнем платье на таком холоде, я, должно быть, имел очень смешной вид. Я дрожал от холода, что мне очень не нравилось, так как мне пришло в голову, что секретарь подумает, будто я дрожу от страха.

Вынужденный сильно наклониться, чтобы выйти из своей дыры, — что можно было счесть за поклон — я выпрямился и спокойно посмотрел на него, не обнаруживая нелепой гордости: я ждал, пока он заговорит. Секретарь тоже молчал, так что мы оба имели вид статуй. Спустя минуты две секретарь, видя, что я ничего не говорю, слегка поклонился и вышел. Я вошел к себе и, быстро раздевшись, лег в постель, чтобы согреться. Еврей удивлялся, что я ничего не сказал секретарю, а между тем мое молчание было гораздо выразительнее всех его рыданий. Заключение моего сорта должны открывать рот перед своими судьями только для того, чтобы отвечать на вопросы.

В четверг на святой иезуит пришел исповедать меня, а на следующий день священник церкви св. Марка явился причастить меня. Моя исповедь показалась слишком лаконичной сыну святого Игнатия*. Он счел необходимым сделать мне кое-какие увещания, прежде чем отпустить грехи.

— Молитесь ли вы богу? — спросил он.

— С утра до вечера и с вечера до утра, ибо в моем положении все, что происходит во мне, — мои волнения, беспокойство — все, даже заблуждения моего разума, все это — молитва в словах высшей мудрости, знающей мое сердце.

Иезуит улыбнулся и отвечал мне речью более метафизической, чем нравственной, которая не согласовывалась с моими словами. Я бы опроверг его по всем пунктам, если бы он не удивил меня предсказанием.

— Если, — сказал он, — от нас вы получили веру, то веруйте, как мы веруем, молитесь, как мы молимся, и знайте, что вы выйдете отсюда в день святого, имя которого носите.

После этих слов он отпустил мне грехи и ушел. Впечатление, которое этот человек произвел на меня, невероятно: что бы я ни делал, я не мог забыть его.

Иезуит был духовником Корнера, старого сенатора, бывшего в ту пору государственным инквизитором. Этот государственный деятель был известным писателем, великим политиком, человеком весьма набожным, написавшим на латыни много мистических книг. Репутация его была безупречна.

Извещенный о том, что я выйду из тюрьмы в день своего

* Имеется в виду Игнатий Лойола (1491—1556), основатель ордена иезуитов, избранный в 1541 году пожизненно "генералом" ордена, который Лойола преобразовал в орудие контрреформации. В 1622 году был канонизирован.

патрона, и убежденный, что иезуит знал это наверняка, я был в восхищении от сознания того, что у меня есть патрон. "Но кто же этот патрон?" — спрашивал я себя. Им не мог быть св. Иаков Компостелла, имя которого я носил, ибо именно в день, посвященный его памяти, мессер-гранде забрал меня.

Я взял альманах и, отыскав самого близкого святого, наткнулся на св. Георгия, о котором и не думал. Затем я перешел к св. Марку, день которого был двадцать пятого числа текущего месяца и которого я мог считать своим патроном, будучи венецианцем. Я стал обращать к нему свои мольбы, но напрасно, ибо его день прошел, а я все находился в тюрьме. Тогда я обратил внимание на день св. Иакова — брата Спасителя, день которого раньше дня св. Филиппа, но опять ошибся, и тогда переключился на св. Антония, совершающего, как уверяют в Падуе, до тридцати чудес в день, но для меня он чуда так и не сотворил.

Таким образом я переходил от одного святого к другому и незаметно привык надеяться на покровительство всех святых так же, как верят во все, во что желают, но не придавал этому ни малейшего значения и кончил тем, что действительную надежду возложил на свой святой кинжал и на силу своих рук. И тем не менее предсказание иезуита исполнилось, потому что я вышел из тюрьмы в день Всех Святых, и, несомненно, если у меня и был какой-либо святой, то он находился в числе тех, которых празднуют в этот день, ибо тогда празднуют их всех.

Спустя две недели после Пасхи меня освободили от моего неудобного еврея. Его присудили к заключению на два месяца в тюрьме "Четыре"; когда он оттуда вышел, то поселился в Триесте и там кончил свои дни...

Оставшись один, я энергично принялся за дело. Приходилось спешить в виду того, что мог явиться новый неудобный товарищ, который, подобно еврею, мог быть помешан на опрятности.

Я начал с того, что выдвинул кровать, сел, зажегши лампу, на пол, приготовил салфетку для сбора мусора и взял в руки свой инструмент. Дело заключалось в том, чтобы уничтожить доску, вводя в нее кончик инструмента. Сначала куски, добываемые мной таким образом, были не больше зерна пшеницы, но вскоре они стали значительно увеличиваться.

Доска была из лиственницы, шириной в шестнадцать дюймов. Я принялся за нее в том месте, где она соприкасалась с другой доской, и так как там не было гвоздей, то моя работа продвигалась довольно быстро.

После шести часов труда я завязал салфетку и отложил ее в сторону, чтобы высыпать мусор на следующее утро в кучу бумаг в галерее. Этот мусор по своему объему был в четыре или пять раз больше сделанной мною дыры. Я поставил кровать на прежнее место, и на другой день, высыпав мусор из салфетки, убедился, что он не будет замечен.

Справившись с первой доской, оказавшейся толщиной в два дюйма, я был остановлен второй, похожей на первую. Боясь

новых
с тремя
потому
в Венеци
вают по
домов бе
teggazzo

Я пр
крытие
сильно
Ганниба
через Ал
размягчи

Я вы
следующ
того, что
увидел,
не того,
цемент,
достью у
на повер
нескольк

Под м
впрочем,
дощатый
слой, исп
дюймов г
Я сотн
ждающие,
говорят. А
ощущал в
пользу мо
непосредст
к нему.

Двадц
днует чуд
форме кр
по предани
работал пр
с ужасом у
галерее! Ка
с мусором
и ложусь н
дверь в мо

Ганни
полководца и
Тит Л
"Римской исто

новых посещений, я удвоил усилия и за три недели справился с тремя досками, составлявшими пол. Но тут я пришел в ужас, потому что увидел слой маленьких кусков мрамора, известного в Венеции под названием *tergazzo maggotin*. Им обычно покрывают пол комнат всех венецианских домов, за исключением домов бедняков, и даже очень богатые венецианцы предпочитают *tergazzo* всем самым красивым паркетам.

Я пришел в уныние, убедившись в том, что мраморное покрытие не поддается моему инструменту. Это обстоятельство сильно меня огорчило и обескуражило. Тогда я вспомнил, что Ганнибал*, по рассказу Тита Ливия**, прорубил себе проход через Альпы, разбивая скалы ударами топоров, предварительно размягчив породу скал с помощью уксуса.

Я вылил в углубление целую бутылку сильного уксуса, и на следующий день вследствие ли влияния уксуса, или вследствие того, что после отдыха принялся за дело с большей энергией, увидел, что преодолел и это препятствие, так как дело касалось не того, чтобы разбить мрамор, а лишь превратить в порошок цемент, соединяющий куски мрамора. Вскоре, впрочем, я с радостью увидел, что самая большая трудность находилась лишь на поверхности, и за четыре дня вся мозаика была уничтожена, несколько не затупив кинжал.

Под мраморным покрытием я опять обнаружил доски, как, впрочем, и ожидал. Я решил, что это должен быть последний дощатый слой, то есть первый, считая снизу. Я принялся за этот слой, испытывая большие неудобства, ибо моя дыра имела десять дюймов глубины и управлять инструментом было трудно.

Я сотню раз обращался к милосердию Бога. Умники, утверждающие, что молитва ни на что не годится, не знают, что говорят. А я знаю по опыту, что после молитвы всякий раз ощущал в себе прилив силы, а этого достаточно, чтобы доказать пользу молитвы от того ли, что увеличение энергии исходит непосредственно от Бога, или же от доверия, которое питаешь к нему.

Двадцать пятого июня, когда Венецианская республика празднует чудесное появление святого Марка в эмблематической форме крылатого льва в церкви дожей, — появление, имевшее, по преданию, место в одиннадцатом веке — около трех часов пополудни, в ту минуту, когда, раздевшись и весь в поту, я работал при зажженной лампе и был уже близок к цели, я вдруг с ужасом услышал звон ключей и шум открывающихся дверей в галерею! Какая ужасная минута! Я тушу лампу, бросаю салфетку с мусором в дыру, оставив там кинжал, ставлю на место кровать и ложусь на нее ни жив ни мертв в ту минуту, когда открылась дверь в мою камеру. Двумя минутами раньше, и Лаврентий

* Ганнибал, Барка (247 или 246 до н. э.—183 до н. э.) — карфагенский полководец и государственный деятель.

** Тит Ливий (59 до н. э.—17 н. э.) — древнеримский историк, автор "Римской истории от основания города".

застал бы меня на месте преступления. Он чуть не наступил на меня, но я предостерег его.

— Господи! Жалко вас — здесь жарко как в печке. Встаньте и поблагодарите Бога, посылающего вам прекрасное общество. Войдите, войдите, ваша милость, — прибавил он, обращаясь к несчастному, следовавшему за ним.

И этот грубиян, несмотря на беспорядок моего платья, вводит господина, который, видя меня в таком положении, старается не смотреть на меня, пока я искал свою рубашку.

Новый пришелец подумал, что его привели в ад, и воскликнул: — Где я? Куда меня привели? Какая жара! Какая вонь! С кем я?

Лаврентий вывел его и попросил меня надеть рубашку и выйти в галерею. Он прибавил, обращаясь к новому заключенному, что получил приказание отправиться за его кроватью и всеми необходимыми вещами, а потому оставляет нас в галерее до его возвращения — за это время камера проветрится от скверного запаха, исходящего от масла. Я был чрезвычайно удивлен, услышав эти слова. Дело в том, что я забыл впопыхах снять копоть. Лаврентий ничего не спросил у меня по этому поводу, и я решил, что он все знает через еврея.

Напялив на себя рубашку и халат, я вышел и увидел моего нового товарища, записывающего карандашом то, что тюремщик должен был принести ему. Взглянув на меня, он воскликнул:

— Э, да это Казанова!

Я узнал его: это был аббат граф Фенароло, из Брешиа*, человек лет пятидесяти, любезный, богатый, весьма уважаемый в обществе. Он обнял меня, и когда я сказал ему, что скорее ожидал бы увидеть здесь всю Венецию, чем его, он не смог сдержать своих слез. Это взволновало и меня.

Как только мы остались одни, я сказал графу, что когда принесут его кровать, я предложу ему альков, но прошу не принимать моего предложения. Я попросил его также не требовать подметания пола, обещая объяснить все впоследствии. Обещав мне держать все это в тайне, он сказал, что счастлив оказаться со мной в одной камере. Граф поведал мне, что никто не знал, за что я посажен, и потому каждый желал угадать это. Одни утверждали, что я был главой новой секты, другие говорили, будто госпожа Меммо уверяла инквизиторов, что я совращаю ее сыновей в атеизм, третьи — что Кондольмер, государственный инквизитор, посадил меня в "Пьомби" как возмутителя общественного спокойствия, так как я освистывал комедию аббата Киари и вознамерился отправиться в Падую с целью убить его.

Все эти обвинения не были совсем безосновательны, вследствие чего казались правдоподобными, но в действительности были совершенно ложными. Я не настолько интересовался религиозными вопросами, чтобы основывать новую секту. Сыновья госпожи Меммо, люди умные, были гораздо способнее сами соблаз-

* Город в Ломбардии, на севере Италии.

ступил на
Встаньте
общество.
ращаясь к
ья, вводит
старается
оскликнул:
кая вонь!
убашку и
заключен-
ровать и
с в галерее
стрится от
резвычайно
впопыхах
по этому
видел моего
тюремщик
оскликнул:
з Брешиа*,
уважаемый
что скорее
он не смог
что когда
о прощу не
не требовать
зии. Обещав
ив оказаться
кто не знал,
ть это. Одни
ие говорили,
сворачивая ее
ударственный
гителя аббата
едию убить его.
ью, вследствие
ности были
ся религиоз-
сыновья гос-
сами соблаз-

нять, чем быть соблазняемыми; а что касается Кондульмера, то ему было бы слишком трудно засаживать всех, кто освистывал пьесы аббата Киари. Что же касается этого аббата, экс-иезуита, то я его простил, потому что известный отец Ориго, тоже бывший иезуит, научил меня отомстить Киари тем, что говорить всюду о нем одно хорошее, что подзадоривало шутников подсмеиваться над ним: таким образом я был отомщен без всякого труда со своей стороны.

К вечеру принесли хорошую кровать, белье, духи, прекрасный ужин и отличные вина. Аббат заплатил обычную дань, то есть ничего не ел; я поужинал с большим аппетитом за двоих.

Как только Лаврентий пожелал нам спокойной ночи и удалился, я вытащил свою лампу, которую, однако, нашел пустой, потому что масло вылилось. Я долго смеялся по этому поводу, так как увидел, что огонь мог зажечь салфетку и таким образом произвести пожар. Я сообщил это своему товарищу, который посмеялся вместе со мной; потом, зажегши лампу, мы провели ночь, приятно болтая. Вот история его ареста.

“Вчера часа в три после полудня я, госпожа Алессандри и граф Мартиненго сели в гондолу. Мы приехали в Падую на оперу, чтобы после театра возвратиться сюда, в Венецию. Во втором акте мой злой гений заставил меня отправиться на минуту в зал карточной игры, где я имел несчастье увидеть графа Роземберга, венского посланника, с приподнятой маской, а в десяти шагах от него госпожу Руццини, муж которой должен на днях отправиться в Вену в качестве посланника республики. Я поклонился им и уже собирался уйти, как вдруг посланник сказал мне громким голосом:

— Вы очень счастливы, что можете приветствовать такую любезную даму. В эту минуту из-за лица, которое я представляю здесь, самая прелестная в мире страна становится для меня тюрьмой. Скажите ей, что законы, мешающие мне говорить с ней здесь, бессильны в Вене, где я увижу ее в будущем году, и тогда я объявлю ей войну.

Госпожа Руццини, догадавшись, что говорят о ней, спросила меня, что говорит граф, и я передал его слова.

— Скажите ему, — отвечала она, — что я принимаю объявление войны, и мы увидим, кто лучше поведет ее.

Я не думал, что совершаю преступление, передавая графу этот ответ, который, в сущности, был простым комплиментом. После оперы, слегка закусив, мы отправились в обратный путь и приехали в Венецию в полночь. Я собирался лечь спать, как вдруг мне передали записку, предписывающую мне отправиться в Буссоло в час ночи, так как сеньор Бузинелло, секретарь Совета Десяти, желает со мной поговорить. Удивленный таким предписанием, всегда неприятным, и вынужденный исполнить его, я отправился в час в назначенное место, и господин секретарь, не удостоив меня ни одним словом, приказал посадить меня сюда”.

Конечно, ничего преступного в поступке графа Фенороло не было, но существуют законы, которые можно нарушить, будучи

невинным, и за нарушение которых, тем не менее, следует наказание. Я поздравил его с тем, что ему известно его преступление, и выразил уверенность, что после недели заключения его освободят, пригласив отправиться на шесть месяцев в Брешиа.

— Не думаю, — отвечал он, — что меня оставят здесь на неделю.

С этой мыслью я его оставил. Решив развеселить графа и хоть несколько смягчить горечь заключения, я так проникся его бедой, что забыл о своей.

На следующее утро Лаврентий принес кофе и корзину, наполненную всем, что нужно для хорошего обеда. Аббат был очень удивлен, поскольку никак не мог понять, каким образом можно есть в такой час. Нам позволили погулять в галерее целый час, после чего нас снова заперли, и все было кончено на целый день.

Блохи, мучившие нас, были причиной его вопроса о том, почему я не позволяю подметать пол. Было невозможно уверить его, что мне могла нравиться подобная неопрятность или что моя кожа была менее чувствительной, чем его. Я все ему рассказал и показал. Он раскаивался в том, что заставил меня сделать признание, но советовал продолжать дело энергично и, если возможно, закончить отверстие в течение дня, желая помочь мне спуститься и затем вытянуть веревку, но ухудшить свое положение побегом не хотел.

Я показал ему приспособление, с помощью которого намеревался притянуть к себе простыню, заменяющую веревку: это была небольшая палочка, к одному концу которой была привязана тесемка. Простыню я собирался прикрепить к кровати только этой палочкой, а за тесемку, спущенную до самого пола зала инквизиторов, я потяну, и простыня упадет. Он убедился в правильности моего расчета и поздравил меня, тем более что эта предосторожность была необходима, так как если бы простыня осталась висящей, то это послужило бы первым указанием моего побега.

Мой товарищ был того мнения, что я должен приостановить работу из боязни какой-нибудь случайности; к тому же для завершения работы мне нужно было несколько дней. Я понимал, что сделанное мною отверстие будет стоить Лаврентию жизни, ибо инквизиторы его не пощадят. Но разве могла меня остановить мысль выкупить свою свободу ценой жизни такого существа, как мой тюремщик? Я бы поступил точно так же, если бы мой побег стоил жизни всем солдатам республики и, конечно, всем инквизиторам. Даже любовь к отечеству — самая священная — может ли перевесить в сердце притесненного человека?

Мое веселое расположение духа не мешало моему товарищу задумываться время от времени. Он был влюблен в госпожу Алессандри, певицу, которая была то ли любовницей, то ли женой Мартиненго. В силу своей любви аббат считал себя очень счастливым человеком, но чем счастливее влюбленный, тем он несчастнее, как только его удаляют от предмета его любви. Он вздыхал, проливал слезы и говорил, что любит женщину, за-

ключающую в себе все добродетели. Я жалел его, но остерегался сказать ему в виде утешения о том, что любовь — пустяки, — утешение самое мрачное, которое дураки обычно дают влюбленным. К тому же несправедливо, чтобы любовь была пустяком.

Неделя прошла быстро. Я потерял этого милого товарища, но не жалел об этом: он возвращался к свободе, и этого было достаточно, чтобы я был доволен. Я, конечно, и не подумал просить его о сохранении тайны — малейшее сомнение в этом отношении могло оскорбить его прекрасную душу. В течение недели, которую аббат провел со мной, он питался лишь супом, плодами и канарским вином: я уплетал его обеды вместо него, и он был доволен этим. Прощаясь, мы поклялись друг другу в вечной дружбе.

На другой день Лаврентий принес счет моим деньгам: оказалось, что в остатке было четыре цехина, которые я и подарил его жене, за что он с чувством поблагодарил меня.

Принявшись снова за работу и продолжая ее без перерыва, я закончил ее полностью двадцать третьего августа. Такая задержка произошла вследствие одного обстоятельства. Продырявливая последнюю доску по-прежнему с большой осторожностью, я приложил глаз к маленькому отверстию, через которое должен был увидеть зал инквизиторов. И я его действительно увидел, но тут же с боку я увидел одну из балок, — чего я всегда боялся — поддерживающих потолок. Это заставило меня увеличить отверстие в противоположную сторону, ибо балка сделала бы отверстие таким узким, что я не пролез бы сквозь него. Поэтому я увеличил его на четверть, постоянно охваченный то надеждой, то страхом. После этого я убедился, что Бог благословил мою работу. Я тщательно закупорил маленькие дырки, чтобы ничего не упало в зал, и свет моей лампы не проник туда, что несомненно привело бы к раскрытию моих намерений.

Я решил бежать ночью накануне дня св. Августина, так как знал, что по случаю праздника собирается Совет, и в зале никого не будет. Побег планировался мной на двадцать седьмое августа, но в полдень двадцать пятого со мной случилось несчастье, о котором я до сих пор вспоминаю с содроганием, хотя уже столько лет отделяют это событие от настоящего времени.

В полдень я услышал шум отворяющихся дверей и чуть не упал в обморок. В ужасе я бросился в кресло и стал ждать. Лаврентий, войдя в галерею, приставил лицо к решетке и сказал мне весело:

— Поздравляю вас с доброй новостью, которую приношу вам.

Предположив, что дело касается моего освобождения, я вздрогнул, поскольку чувствовал, что открытие моих намерений приведет меня опять к заключению.

Лаврентий вошел и предложил мне следовать за ним.

— Подождите, я сейчас оденусь.

— Зачем? Ведь вам придется только перейти из одной камеры в другую, светлую и новую, с двумя окнами, из

которых вы увидите половину Венеции. Вы там сможете стоять не сгибаясь.

Большого я не мог выдержать и почувствовал, что падаю. — Дайте мне уксусу и ступайте сказать господину секретарю, что я приношу ему благодарность за эту милость и прошу его оставить меня здесь.

— Вы смеетесь! Уж не помешались ли вы? Как?! Вас хотят освободить от этого хлева и посадить в рай, а вы отказываетесь?! Нечего шутки шутить, слушайтесь без разговоров, вставайте. Я вам помогу перенести ваши вещи и книги.

Видя, что всякое сопротивление бесполезно, я встал и почувствовал большое облегчение, услышав, как он приказывает солдату перенести мое кресло, ибо вместе с ним за мной последует инструмент, а с инструментом и надежда. Я бы хотел перенести вместе с собой и сделанное мной отверстие, предмет стольких трудов и стольких погибших надежд. Могу сказать, что уходя из этого ужасного места, вся моя душа оставалась там.

Поддерживаемый Лаврентием, который своими глупыми шутками хотел меня развеселить, я прошел через два узких коридора и, спустившись на несколько ступеней, вошел в очень светлый зал. Через него мы прошли налево в маленькую дверь, ведущую в другой коридор шириной в два фута и длиной приблизительно в двенадцать. В конце этого коридора находилась моя новая камера. Там было окно с решеткой, которое выходило в коридор, имевший два окна, тоже с решеткой; и оттуда можно было созерцать прекрасный вид до самого Лидо*. Я не был расположен воспользоваться этим в такую печальную минуту. Однако я убедился впоследствии, что через это окно, когда оно было открыто, врывался мягкий приятный воздух, умеряющий ужасную жару комнаты.

Читатель легко поймет, что все эти наблюдения были сделаны лишь впоследствии...

Как только я вошел в свою новую камеру, Лаврентий поставил там мое кресло и ушел за остальными вещами.

Я сел в кресло и долго просидел в нем без движения, подобно статуе, ожидая бурю, но страха не испытывая. Мое оупление происходило от ужасной мысли, что все мои труды, все комбинации, устроенные мной, погибли; я сожалел об этом, но не раскаивался.

Вознося свои мысли к Богу, я не мог не рассматривать свое новое несчастье иначе, как наказание, исходящее от Бога, за то, что я не совершил побег, как только все было готово. Тем не менее полагая, что я мог его совершить тремя днями раньше, на самом же деле я не смог бы это сделать, тем более что отложил минуту освобождения из благоразумия. Ускорить свой побег я мог только вследствие помутнения разума, но учение Марии Аграды не сделало меня еще настолько безумным.

* Пригород Венеции, расположенный на узкой песчаной косе.

Подземная тюрьма "Колодцы". — Месть Лаврентия. — Я вступаю в сношение с другим заключенным, отцом Бальби; его характер. — Я условливаюсь с ним о побеге. — Найденный мной способ доставки ему кинжала. — Успех. — Мне дают товарища-негодяя; его портрет.

Я находился в состоянии беспокойства и отчаяния, когда два сбира принесли мою кровать. Они сразу же вышли за другими вещами, но прошло более двух часов, прежде чем я увидел кого-либо, хотя двери моей новой камсы были открыты. Это обстоятельство весьма меня беспокоило, но я никак не мог себе его объяснить. Я знал только, что должен был бояться всего, и это заставляло меня приложить все усилия, чтобы успокоиться и перенести все несчастья, угрожавшие мне.

Кроме "Пьомби" и "Четырех", государственные инквизиторы имели в своем распоряжении еще девятнадцать ужасных камер под землей, в том же Дворце дождей, — тюрем ужасных, предназначенных для несчастных, которых не хотят казнить, хотя их преступления считались достойными казни.

Все судьи всегда считали особой милостью даровать жизнь тем преступникам, действия которых заслуживали смерти, но часто это мгновенное страдание заменяется самым ужасным заключением, и нередко таким, когда каждая минута этого страдания, вечно возобновляемого, гораздо хуже смерти. Рассматривая дело с точки зрения религиозной и философской, такая замена наказания может считаться милостью только в том случае, когда сам преступник смотрит на это так же. Но на желания преступника редко обращают внимание, и тогда эта якобы милость становится настоящей несправедливостью.

Эти подземные камеры очень похожи на могилы, но их называют "Колодцами", потому что там всегда находится два фута воды, проникающей с моря через то же отверстие, через которое они получают немного света: это отверстие имеет, однако, не более квадратного фута. Если несчастный, живущий в этих отвратительных клоаках, не испытывает желания выкупаться в морской воде, то он вынужден сидеть целый день на подмостках, на которых лежит соломенный тюфяк и которые служат ему столом. Утром ему дают кружку воды, немного отвратительного супа и порцию солдатского хлеба. Все это он должен съесть немедленно, если не желает, чтобы пища сделалась добычей громадных морских крыс, населяющих эти ужасные подвалы.

В большинстве случаев несчастные, заключенные в "Колодцах", скоро кончают там свою жизнь, хотя среди них встречаются люди, достигающие глубокой старости. Один узник, умерший там в то время, когда я находился в "Пьомби", провел в "Колодцах" целых тридцать семь лет, и ему было уже немало лет, когда его туда заключили. Он был убежден, что заслуживает смерти, и потому весьма вероятно, что замена казни заключением в "Колодцах" показалась ему милостью, ибо есть существа, боящиеся лишь одной смерти. Его звали Бегелен. Будучи фран-

цузом, он служил капитаном в войсках республики во время последней войны с турками в 1716 году* под началом маршала графа Шулембурга, заставившего великого визиря снять осаду острова Корфу. Этот Бегелен был шпионом маршала: он переодевался в турка и в таком виде отправлялся в лагерь мусульман. Но Бегелен в то же время был шпионом и великого визиря, в чем был уличен. Понятно, что для него заключение в "Колодцы" было милостью. Там Бегелен только скучал и был вечно голоден, но, имея такой подлый характер, он, вероятно, часто повторял: "Dum vita saperest bene est"**.

Мне случилось видеть в Шпильберге, в Моравии, тюрьмы еще ужаснее: в знак особой милости туда заключали преступников, приговоренных к смерти, но ни один из них не мог вынести этой милости больше одного года.

В течение двух часов, под влиянием самых мрачных раздумий я, понятно, боялся, что меня заключат в эти ужасные "Колодцы", где несчастный питается химерическими надеждами, и где его поражает панический ужас. Трибунал был способен отправить в ад каждого, кто попробовал бы сбежать из чистилища.

Наконец я услышал быстрые шаги и увидел перед собой Лаврентия с искаженным от злобы лицом, задыхавшимся от бешенства и с проклятиями на устах. Он начал с того, что приказал мне передать ему топор и инструменты, используемые для пробития отверстия, и рассказать, кто из сбиров доставил их мне. Я отвечал ему не трогаясь с места и совершенно хладнокровно, что не знаю, о чем он меня спрашивает. При этом ответе он приказывает обыскать меня, но я, встав с угрозующим видом, не допускаю мерзавцев и, раздевшись донага, говорю:

— Делайте ваше дело, но не прикасайтесь ко мне.

Обыскивают тюфяк, опорожняют матрас, мнут подушки и ничего не находят.

— Раз вы не хотите сказать, где спрятан инструмент, которым вы сделали отверстие, то найдутся средства заставить вас заговорить.

— Если действительно я где-либо сделал дыру, то скажу, что это вы принесли мне инструмент и что я вам его отдал.

При этой угрозе, заставившей улыбнуться стоявших тут людей, которых Лаврентий обидел, вероятно, когда-нибудь, он затопал ногами, стал рвать свои волосы и выбежал, словно бешеный. Его прислужники возвратились и принесли мне все остальные вещи, за исключением куска мрамора и лампы. Прежде чем покинуть коридор и запереть меня на ключ, он закрыл оба окошка, благодаря которым я получал немного воздуха. Я очутился в узком пространстве, почти совершенно лишенном воздуха. Однако мое положение не особенно меня огорчило, так как я

* Имеется в виду венецианско-турецкая война 1714—1718 гг., в результате которой Венецианская республика лишилась части своих владений.

** Пока остается жизнь — все хорошо. *Лат.*

вынужден был согласиться, что отделался довольно легко. Несмотря на опыт, Лаврентию не пришло в голову опрокинуть кресло, и, имея еще в своем владении кинжал, я горячо поблагодарил провидение, с помощью которого я смогу рано или поздно освободиться.

Я провел ночь без сна как по причине жары, так и по причине испытанных мной перемен. На заре Лаврентий возвратился и принес мне отвратительного вина и ужасной воды, которую нельзя было пить. Все остальное было как прежде — сухой салат, вонючее мясо и твердый как камень хлеб. Он не приказал убрать камеру, и когда я попросил его открыть окно, он сделал вид, что не слышит меня. Но один служитель принялся постукивать по стенам и полу железной палкой и в особенности под моей кроватью. Я смотрел на это равнодушно, но заметил, что он не простукивает потолок. "Через потолок,— сказал я себе,— я и выйду из этого ада". Однако для осуществления этого проекта нужны были особые условия, ибо я ничего не мог сделать незаметно. Камера была новая, малейшая царапина была бы сразу замечена моими сторожами.

Я провел ужасный день, поскольку жара была невыносимой, и, кроме того, я никак не мог заставить себя съесть ту отвратительную пищу, что мне принесли. Пот и нехватка пищи вызвали у меня такую слабость, что я не мог ни читать, ни ходить. На следующий день мой обед был точно таким же: вонь, исходящая от куска телятины, заставила меня отступить. Уж не получил ли он приказания уморить меня с голоду и от жары? Лаврентий запер мою камеру и не отвечал мне. На третий день то же самое. Я требую карандаш и бумагу, чтобы написать секретарю: никакого ответа.

В отчаянии я съедаю суп и, обмакнув кусок хлеба в кипрское вино, решаюсь придать себе силы, чтобы на следующее утро отомстить Лаврентию, вонзив ему в горло свой кинжал. Подстрекаемый бешенством, я был уверен, что мне не остается ничего другого. Ночь успокоила меня, и на другой день, как только мой палач явился, я сказал, что убью его сразу после своего освобождения. В ответ на мою угрозу он расхохотался и вышел, не сказав ни слова.

Я начал думать, что Лаврентий действует по приказанию секретаря, которому он, вероятно, все открыл. Я не знал, что делать; мое положение было ужасно, я умирал с голоду. Наконец на восьмой день дрожащим голосом, с бешенством в сердце и в присутствии сторожей я требую отчета о расходе моих денег. Он сухо отвечал мне, что принесет счет завтра.

На следующий день Лаврентий, прежде чем представить счет, передал мне корзину с лимонами, присланную Бригадином, а также бутылку хорошей воды и славно зажаренную курицу, имевшую очень аппетитный вид. Кроме того, один из сторожей открыл окно. Когда Лаврентий представил мне счет, я посмотрел только на сумму и сказал, что он может отдать остальное своей жене, кроме одного цехина, который я приказал отдать сторожам,

прислуживающим мне. Эта любезность привлекла на мою сторону несчастных, поблагодаривших меня самым горячим образом.

Лаврентий, нарочно оставшись со мной наедине, сказал мне следующее:

— Вы уже сказали, что от меня получили все необходимые инструменты: мне этого довольно. Но не будете ли вы так добры сказать мне, откуда вы получили предметы, необходимые для лампы?

— От вас.

— Признаться, вы меня удивляете, я не думал, что ум заключается в нахальстве.

— Я не лгу. Вы сами, своими собственными руками дали мне все необходимос — масло, кремь, спички; остальное у меня было.

— Вы правы. Но не можете ли вы так же легко убедить меня, что и инструменты, с помощью которых вы сделали отверстие, дал вам я?

— Конечно.

— Господи, что я слышу! Каким это образом я мог дать вам топор?

— Я вам скажу все, и скажу правду, но сделаю это только в присутствии секретаря.

— Хорошо, я больше ничего не хочу знать, я вам верю. Прошу вас только молчать: подумайте о том, что я человек бедный, и у меня дети.

Он ушел, схватившись руками за голову.

Я был очень рад, что нашел средство держать в руках этого негодяя, которому все-таки судьбой было уготовано умереть по моей милости. Я понял, что его личный интерес заставлял помалкивать о происшедшем.

Я приказал Лаврентию купить мне произведения Маффеи*: этот расход не нравился ему, но он не смел мне об этом сказать. Тюремщик только спросил меня, зачем мне нужны еще книги, которых и без того у меня много.

— Я уже все перечитал, мне нужны новые.

— Я вам добуду книги у одного здешнего заключенного, если вы захотите дать по прочтении ваши. Таким образом вы сэкономите свои деньги.

— Но это, наверное, романы, а романы я не люблю.

— Нет, эти книги ученые. Если вы полагаете, что вы единственная умная голова здесь, то сильно ошибаетесь.

— Хорошо, увидим. Вот книга, которую я даю на прочтение умной голове. Принесите мне от него взамен другую.

Я дал ему трактат Пето**; через несколько минут он принес мне первый том Вольфа***. Весьма довольный этим, я сказал ему, что обойдусь без Маффеи, что весьма его обрадовало.

* Маффеи, Шипионе (1675—1755) — итальянский драматург и археолог, автор трагедии "Меропа".

** Петавий (Пето), Дионисий (1583—1652) — католический богослов, иезуит.

*** Вольф, Христиан (1679—1754) — немецкий философ-рационалист, идеолог раннего Просвещения.

Восхищенный не столько перспективой этого научного чтения, сколько возможностью войти в сношения с кем-либо из заключенных, способных помочь мне в осуществлении проекта побега,— проекта, уже начинающего возникать в моей голове,— я открыл книгу, как только Лаврентий ушел, и с радостью увидел на одной из страниц перифраз следующих слов Сенеки: "Calamitosus est animus futuri anxius"* — перифраз, написанный очень хорошими стихами.

Я тут же написал несколько стихов в ответ, причем довольно оригинальным способом,— откусил очень длинный ноготь мизинца и очинил его, как чинят перья. У меня не было чернил, и я уже думал сделать укол и писать кровью, но догадался, что сок тутовых ягод легко замснит мне чернила, а ягоды у меня были. Кроме стихов я написал каталог своих книг и поместил его на спинке той же книги. Дело в том, что в Италии книги обычно переплетаются в пергамент таким образом, что с внутренней стороны переплет имеет карман. Рядом с заглавием я написал по-латыни "спрятано".

Я хотел получить ответ как можно быстрее, и поэтому следующим утром, как только вошел Лаврентий, сказал ему, что книгу прочел и прошу прислать мне другую. Через несколько минут у меня был уже другой том.

Оставшись один, я открыл книгу и нашел отдельный листок, исписанный по-латыни и содержащий следующее: "Нас двое в камере, и мы очень рады, что невежество жадного тюремщика дает нам немыслимое в этих местах преимущество. Меня, пишущего вам, зовут Мартино Бальби, я благородный венецианец и монах, а мой товарищ — граф Андреа Аскино д'Удине, из Фриуля. Он поручает мне сказать вам, что все книги, имеющиеся у него, и книги, список которых вы найдете здесь, к вашим услугам. Но мы считаем нужным предупредить вас о принятии всех мер, чтобы скрыть наши сношения".

В положении, в котором мы находились, немудрено, что нам пришла в голову одна и та же мысль,— отправить друг другу каталог наших крошечных библиотек и воспользоваться для этого переплетом книг: это было следствием здравого смысла. Но я нашел странным рекомендацию быть осторожным, написанную на листке. Казалось невозможным, что Лаврентий не откроет книгу, и в этом случае он непременно бы заметил листок, положил бы книгу в карман и заставил кого-нибудь прочитать написанное: и все погибло бы в самом начале. Это обстоятельство заставило меня предположить, что мой корреспондент был порядочным ветреником.

Прочитав каталог, я написал о себе, каким образом был арестован, сообщил, что не знаю, в чем меня обвиняют, и высказал надежду на свое скорое освобождение. В ответ Бальби написал мне письмо на шестнадцати страницах, а граф Аскино ничего не написал.

* Несчастлива душа, исполненная забот о будущем. Лат.

Монах в своем письме рассказал историю своих несчастий. Уже четыре года он находился в заключении за то, что был в связи с тремя девицами, от которых имел троих детей, оклеветанных им под его именем. На первый раз он отделался выговором своего настоятеля, на второй раз ему пригрозили наказанием, а на третий — посадили в тюрьму.

Настоятель посылал ему ежедневно обед. В своем письме Бальби мне говорил, что настоятель и трибунал — тираны, ибо не имеют никакой власти над его совестью. Будучи уверенным в том, что дети были действительно его собственными, монах считал своей обязанностью дать им свое имя и не мог не признать их публично, чтобы клевета не заклеяла трех порядочных женщин, от которых он имел детей. К тому же он не мог подавить в себе голос природы, говоривший ему в пользу этих невинных существ. Закончил монах следующими словами: "Нечего бояться того, что настоятель смог бы совершить подобное преступление, ибо он чувствует нежность только к своим ученикам".

Этого было достаточно для того, чтобы получить представление об этом человеке. Чувствительный оригинал, плохой логик, злой, глупый, невежественный — все это было видно из его письма, где он сообщал мне, что он был бы очень несчастлив без графа Аскино, которому было уже семьдесят лет, а затем исписывал две страницы, клеветая на него и описывая его недостатки и смешные привычки. Будучи на свободе, я бы не ответил человеку такого характера, но в "Пьомби" было не до выбора. К тому же я с радостью обнаружил в кармане переплета крандаш, бумагу и перья, что позволило мне писать сколько угодно.

Бальби также сообщил мне историю всех заключенных, находившихся в "Пьомби" последние четыре года. Николо, его сторож, покупавший ему тайком все необходимое, сообщал монаху имена всех заключенных и всю известную ему информацию о них. В доказательство Бальби сообщил мне то, что знал о моей дыре. По его словам, меня перевели в другое помещение, чтобы посадить в мою камеру патриция Приули, а Лаврентий затратил два часа на заделку дыры, потребовав сохранения тайны от плотника, слесаря и всех служителей под угрозой смерти. "Еще один день, — прибавлял сторож, — и Казанова убежал бы самым остроумным способом, а Лаврентия повесили бы, ибо, хотя тюремщик и был очень удивлен при виде дыры, несомненно, что именно он доставал Казанове инструменты для такой трудной работы".

"Николо мне сказал, — сообщал корреспондент, — что Бригдин обещал ему тысячу цехинов, если он поможет вам бежать, но Лаврентий, зная это, надеется сам получить эту награду ничем не рискуя, выхлопотавши через свою жену ваше освобождение у сеньора Диедо. Никто из сторожей не смеет говорить о том, что произошло, из боязни, что Лаврентий, если сумеет оправдаться, прогонит их". Бальби просил меня рассказать ему в подробностях все дело, сообщить, как я добыл себе инструмент, и рассчитывать на его молчание.

Я был вполне молчаливым, тем самым болтливый беречь его, поскольку все, что я захочу, ему, но в голову новить отправку переписка есть которой он хотел. Желая удовлетворить себя, я отвечал ему имеющегося у меня.

Не более чем меня успокоило, то подоконник, что, было перехвачено, знал о существовании не обыскивали. Лаврентий не полагал, если бы я действительно считал арестом руки начальника, бы, вероятно, что уверен в том, что препирательство, Монах кончил тем, которому я могу.

Легкомыслие. Я отвечал ему, Николо, а мой список. Его письмо монах сообщал мне, лишили свободы граф был чрезвычайно сильно передвинулся.

Монах писал адвокатской деятельности в совете крестьян права, сильнейшего, дворян, приказав защищать конституционных пяти лет. Графу, как он сам распоряжался, не было ни в особенном.

Я был вполне уверен в его любопытстве, но несколько в его молчании, тем более что сама его просьба доказывала, что он самый болтливый из людей. Я находил, однако, что мне нужно беречь его, поскольку он казался мне способным предпринять все, что я захочу, лишь бы достичь свободы. Я принялся отвечать ему, но в голову мне пришло подозрение, заставившее приостановить отправку написанного. Я вообразил себе, что вся эта переписка есть не более чем уловка Лаврентия, с помощью которой он хотел выведать, кто же доставил мне инструмент. Желая удовлетворить любопытство монаха, не скомпрометировав себя, я отвечал ему, что сделал отверстие при помощи ножа, имеющегося у меня, а этот нож я спрятал в подоконнике.

Не более чем через три дня это ложное признание вполне меня успокоило, так как Лаврентий и не подумал рассматривать подоконник, что, конечно, он сделал бы, если бы мое письмо было перехвачено. К тому же отец Бальби написал мне, что он знал о существовании ножа, ибо Лаврентий сказал ему, что меня не обыскивали при заключении в тюрьму. Приказ на обыск Лаврентий не получал, и это обстоятельство могло спасти его, если бы я действительно бежал, поскольку он смог бы утверждать, что считал арестованного уже обысканным, ибо получал его из руки начальника сборов. Мессер-гранде, со своей стороны, сказал бы, вероятно, что раз он брал меня прямо с постели, то был уверен в том, что у меня не было никакого оружия, и это препирательство, может быть, спасло бы как одного, так и другого. Монах кончил тем, что просил прислать ему нож через Николо, которому я могу довериться.

Легкомыслие этого монаха решительно ставило меня в тупик. Я отвечал ему, что не чувствую никакого желания довериться Николо, а мой секрет такого рода, что я не могу доверить его бумаге. Его письма, однако, забавляли меня. В одном из них монах сообщал мне причину заключения графа Аскино, которого лишили свободы несмотря на его беспомощное положение, ибо граф был чрезвычайно толст и, вывихнув ногу, не мог самостоятельно передвигаться.

Монах писал мне, что граф, не будучи богатым, занимался адвокатской деятельностью в Удине и защищал крестьян в городском совете против дворянства, которое намеревалось лишить крестьян права голоса в провинциальных собраниях. Требование крестьян волновало общество, и, желая усмирить их правом сильнейшего, дворяне адресовались к государственным инквизиторам, приказавшим графу-адвокату отказаться от защиты крестьян. Граф отвечал, что городской устав уполномочивает его защищать конституцию, и на этом основании не послушался. Инквизиторы посадили его, несмотря на конституцию, и вот уже целых пять лет он вдыхает полезный для здоровья воздух "Пьомби".

Графу, как и мне, было положено пятьдесят су в день, но он сам распоряжался своими деньгами. Монах, у которого никогда не было ни гроша, очень скверно отзывался о своем товарище, в особенности о его скупости. Он уведомил меня также, что

в камере по другую сторону зала находились два дворянина, посаженные также за непослушание; один из них помешался, и его держат на привязи. Наконец, еще в одной камере содержатся два нотариуса.

Все мои подозрения совершенно рассеялись: вот каким образом я рассуждал: "Я во что бы то ни стало хочу выйти на свободу. Мой кинжал превосходен, но пользоваться им я не могу, так как каждое утро в моей камере осматривают все, кроме потолка. Если я хочу выйти отсюда, то должен выйти через потолок, но для этого мне необходимо проделать в потолке отверстие, а приняться за это снизу невозможно, тем более что это дело не одного дня. Мне необходим помощник: он может бежать вместе со мной. Выбора у меня нет, я могу рассчитывать только на монаха. Ему тридцать восемь лет, и хотя он не богат здравым смыслом, я думаю, что любовь к свободе — эта первейшая потребность человека — придаст ему достаточно решимости для исполнения моих указаний. Начать нужно с того, чтобы вполне довериться ему, а затем найти способ доставить ему инструмент: каждый из пунктов выполнить нелегко".

Я начал с того, что спросил его, желает ли он выйти на свободу и готов ли предпринять все необходимое, чтобы бежать вместе со мной. Монах отвечал мне, что он и его товарищ готовы на все, лишь бы освободиться, но добавлял, что бесполезно ломать голову над невыполнимыми проектами. Он заполнил четыре страницы разными глупостями, занимавшими его бедный мозг; несчастный не видел ничего, что давало бы какой-либо шанс на успех.

Я ему отвечал, что общие трудности несколько меня не занимают, и составляя план побега, я останавливался лишь на частных трудностях, которые непременно будут преодолены. Я закончил свое письмо, давая Бальби честное слово, что он получит свободу, если пообещает выполнить все, что я ему предпишу.

Монах обещал.

Я сообщил ему, что у меня есть кинжал двадцать дюймов длиной, с помощью которого он проделает отверстие в потолке своей камеры, чтобы выйти оттуда. Затем он проломает стену, разделяющую нас, через проем в стене проникнет в помещение над моей камерой, проломает пол, являющийся одновременно потолком моей камеры, и поможет мне выбраться из нее. На этом его задание кончится, а мое начнется: я освобожу и монаха, и графа Аскино.

Отец Бальби отвечал, что когда я выберусь из своей камеры, то все равно останусь в тюрьме, и наше положение будет отличаться от прежнего лишь пространством.

"Мне это известно, святой отец, — отвечал я ему, — но мы убежим не через двери. Мой план обдуман во всех подробностях, и я уверен в успехе. Я требую от вас только точности в исполнении. Подумайте о способе доставки вам инструмента, не вызывающем подозрения. В ожидании прикажите тюремщику купить картинки с изображением святых в таком количестве, чтобы

вы смогли закрыть ими все стены вашей камеры. Эти картинки не внушат никакого подозрения Лаврентию, а между тем они позволят закрыть пробитое вами отверстие в потолке. Вам понадобится несколько дней на это, и Лаврентий утром не сможет обнаружить то, что вы сделаете вечером, так как вы все закроете картинками. Если вы меня спросите, почему я сам этого не сделаю, то отвечу вам, что не могу, ибо за мной зорко следит тюремщик, и этот отвст, надюсь, покажется вам достаточным".

Хотя я рекомендовал ему позаботиться о способе доставки инструмента, тем не менее я и сам искал его безостановочно, и в конце концов мне пришла в голову счастливая идея, которой я воспользовался. Я поручил Лаврентию купить мне Библию in folio*, которая только что появилась. Я надеялся спрятать свой инструмент в корешке переплеста этого громадного тома и таким образом отправить кинжал монаху. Но, получив книгу, я увидел, что мой инструмент на два дюйма длиннее книги.

Мой корреспондент тем временем известил меня, что его камера уже оклеена картинками, а я сообщил ему о Библии и трудностях, вызванных ее недостаточной величиной. Желая показать свое остроумие, он подсмеивался над бедностью моего воображения, говоря, что мне стоит только послать инструмент, завернутый в мою лисью шубу. Лаврентий, добавлял монах, говорил им об этой прекрасной шубе, и граф Аскино не вызовет ни малейшего подозрения, попросив посмотреть ее, чтобы заказать подобную. "Вам стоит только, — писал он, — прислать ее завернутой — Лаврентий не развернет ее".

Я был убежден в обратном хотя бы потому, что завернутую шубу труднее нести. Тем не менее не желая его обескураживать и доказывать ему в то же время, что я не так ветрен как он, я ответил ему, чтобы он прислал за ней. На следующий день Лаврентий попросил ее у меня, и я дал ее свернутой, но без инструмента. Через четверть часа он возвратил мне ее, говоря, что эти господа нашли шубу превосходной.

Монах написал мне отчаянное письмо, в котором извинялся за плохой совет, но прибавлял, что я напрасно ему последовал. Инструмент, по его мнению, пропал, поскольку Лаврентий принес шубу развернутой. Поэтому все казалось погибшим. Я утешил его, все объяснив, и просил его на будущее быть менее смелым в своих советах. Дело нужно было заканчивать, и я твердо решил отправить инструмент под покровительством Библии, прибегнув к дополнительной хитрости. Вот что я придумал.

Я сказал Лаврентию, что хочу отпраздновать день св. Михаила блюдом из макарон с сыром, но поскольку я хотел бы оказать любезность лицу, присылающему мне книги, мне потребуется много макарон и я хочу приготовить их сам. Лаврентий, в свою очередь, сообщил мне, что эти господа хотели почитать большую книгу, купленную за три цехина. Дело было в шляпе.

* В лист (лат.) — формат издания в 1/2 листа, получаемый фальцовкой в один сгиб; то же самое, что и фолиант.

— Очень хорошо, — сказал я, — эту книгу я отправлю вместе с макаронами. Принесите мне только самое большое блюдо, имеющееся у вас, — я хочу отправить много макарон.

Он обещал исполнить мое желание. Я завернул кинжал в бумагу и всунул его в корешок Библии так, чтобы инструмент с обеих сторон высовывался одинаково. Помещая на Библии большое блюдо макарон, наполненное до краев растопленным маслом, я был уверен, что Лаврентий не будет рассматривать края книги, ибо его взгляд будет прикован к краям блюда, чтобы не пролить масло на книгу. Я предупредил отца Бальби обо всем, советуя ему быть ловким при приеме блюда и особенно постараться взять оба предмета вместе.

В назначенный день Лаврентий явился раньше обыкновенного с кастрюлей горячих макарон и со всеми ингредиентами, нужными для приправы. Я приказал растопить масло и, положив макароны на блюдо, поливал им в таком количестве, что оно заполнило блюдо до самых краев. Блюдо было громадным, значительно больше книги, на которую я его поставил. Все это происходило у дверей моей камеры.

Когда все было готово, я приподнял осторожно Библию и блюдо, стараясь повернуть книгу корешком к Лаврентию, велел ему протянуть руки и отнести все это, не разливая масло на книгу, по назначению. Отдавая ему эту важную посылку, я пристально смотрел на его глаза и с удовольствием наблюдал, что он не отводил их от масла, боясь его разлить. Тюремщик сказал мне, что было бы лучше отнести сначала блюдо, а потом вернуться за книгой, но я ему ответил, что подарок потеряет свое значение, и потому нужно отнести все разом. Тогда он стал жаловаться на то, что я положил слишком много масла, и в шутку прибавил, что если он разольет его, то грех падет на меня.

Увидев Библию в руках тюремщика, я полностью уверился в успехе, потому что концы инструмента были незаметны, если только не сделать сильного движения в сторону, а я не видел ничего, что заставило бы Лаврентия оторвать взгляд от блюда, которое он должен был держать горизонтально. Я следил за ним до тех пор, пока он не вошел в комнату перед камерой монаха, который дал мне условный знак, сморкнувшись три раза, что все хорошо. То же самое подтвердил мне и Лаврентий через несколько минут.

Отец Бальби тотчас же принялся за дело и за неделю сделал в потолке отверстие достаточной величины, закрываемое им картинками, которые он приклеивал хлебным мякишем. Восьмого октября он написал мне, что целую ночь проламывал разделяющую нас стену, но смог отбить лишь один кирпич. Он явно преувеличивал трудности, связанные с отделением кирпичей, соединенных цементом, но обещал тем не менее продолжать, утверждая, однако, что мы добьемся только того, что наше положение ухудшится. Я отвечал ему, что уверен в обратном и он должен верить мне и продолжать начатое дело.

Увы, я не был уверен ни в чем, но приходилось или действовать таким образом, или же все бросить. Я хотел выйти из плена куда бы то ни было — вот все, что я знал, и потому думал только о продолжении дела, решившись добиться успеха или же остановиться лишь при столкновении с непреодолимым препятствием. Из книг и собственного опыта я знал, что относительно великих предприятий нечего советоваться, их следует выполнять, не оспаривая у случая той власти, которую он имеет над всеми человеческими предприятиями. Если бы я сообщил отцу Бальби эти тайны нравственной философии, он счел бы меня помешанным.

Его работа была трудна только в первую ночь. Чем больше он работал, тем становилось легче, и в конце концов он отбил тридцать шесть кирпичей.

Шестнадцатого октября, в десять часов утра, в то время, когда я был занят переводом одной оды Горация*, я услышал над головой топанье ног и три едва слышных удара. Это был условный знак, чтобы убедиться в правильности выбора места для пробития в потолке отверстия. Монах работал до вечера, а на следующий день написал мне, что если мой потолок имеет не больше двух рядов досок, то работа будет закончена в тот же день. Он уверял меня, что сделал отверстие круглым, как я ему поручил, и пол он не проломает. Это особенно было важно, поскольку малейшая трещина погубила бы все. Работу, по его словам, можно было закончить за четверть часа.

Окончание работы я назначил на послезавтра, чтобы выйти из камеры в течение ночи и не возвращаться уже более. Я был уверен, что общими усилиями мы сделаем отверстие в крыше Дворца дождей за три или четыре часа, заберемся туда и тогда употребим все средства, которые случай нам предоставит, чтобы спуститься на землю.

Но до этого было еще далеко: моя злая судьба готовила мне еще не одно затруднение. В этот день, понедельник, около двух часов пополудни, во время работы отца Бальби, я услышал шум отворявшихся дверей в зал, смежный с моей камерой. Я сильно разволновался, но не лишился присутствия духа и постучал два раза — знак опасности, условленный заранее, при котором отец Бальби должен был немедленно ретироваться, войти в свою камеру и привести все в порядок.

Спустя минуту Лаврентий отворяет мою камеру и извиняется, что вынужден дать мне в общество весьма неприличного господина. Это был человек от сорока до пятидесяти лет от роду, маленький, худощавый, скверно одетый, с черным круглым париком на голове. Два сторожа газвязывали его в то время, когда я рассматривал его. Я не мог сомневаться в том, что это негодяй, так как Лаврентий рекомендовал его таким образом в его же присутствии, и эти слова не произвели на него никакого впечатления.

— Трибунал, — отвечал я, — может делать все, что ему угодно.

* Гораций, Квинт (65 . до н. э.) — римский поэт, в т.н. "Римских одах" возведший почитание императора Августа в культ.

Лаврентий принес ему тюфяк и сказал, что трибунал назначает ему десять су в день, а затем запер нас.

Опечаленный этим обстоятельством, я рассматривал плута. Я уже собрался расспросить его, но он сам начал со мной говорить, благодаря меня за тюфяк. Желая сманить его на свою сторону, я сказал ему, что он будет обедать вместе со мной. Он поцеловал у меня руку и спросил, будет ли он иметь право сохранять десять су. Я отвечал, что будет. При этих словах он стал на колени и, вытащив из кармана огромные четки, стал водить глазами по комнате.

— Что вы ищете?

— Извините меня, сударь, я ищу образ Пресвятой Девы, ибо я христианин. Если бы здесь было хотя бы маленькое распятие... Никогда еще я не чувствовал такой потребности помолиться св. Франциску Ассизскому*, как в настоящее время.

Я с трудом удержался от улыбки, но не вследствие его христианской набожности, потому что совесть и вера суть предметы, которые мы не имеем права оспаривать, но по причине его манер. Я предположил, что он принимает меня за еврея, и поспешил дать ему образок Пресвятой Девы, который он поцеловал, говоря мне, что его отец, алыгвасил**, не выучил его грамоте.

— Четки — моя страсть, — прибавил он.

И он начал рассказывать мне множество чудес, которые я выслушал с терпением ангела. Затем он попросил у меня разрешения читать свои молитвы, глядя на образок. Как только он закончил, я спросил его, обедал ли он. Он отвечал, что умирает с голоду. Я дал ему все, что у меня было. Он скорее пожирал, чем ел, выпил все мое вино, и когда вино подействовало, начал плакать, а затем нести какую-то чепуху. Я спросил о причине его несчастья, и вот что он мне рассказал:

— Моей единственной страстью всегда была слава Божья и этой святой республики, а также точное послушание законам. Внимательно следя за происками плутов, чье ремесло заключалось в обмане, я всегда старался раскрывать их секреты и передавал мессеру-гранде все, что узнавал. Правда, за это мне платили, но деньги, получаемые мной, никогда не доставляли такого удовольствия, какое доставляло мне сознание пользы.

Я всегда смеялся над предрассудками тех, кто считает чем-то позорным ремесло шпиона. Эти слова нехорошо звучат только в ушах тех, кто не любит правительство, ибо шпион есть друг государства, враг преступника и верный слуга принца.

Когда дело касалось доказательства моего рвения, чувство дружбы, способное влиять на других, никогда не действовало на меня, не говоря уж о том, что называют благодарностью. Я всегда готов был клясться молчать, лишь бы узнать важную

* Франциск Ассизский (наст. имя — Джованни Бернардоне, 1182—1226) — основатель нищенствующего монашеского ордена францисканцев, проповедовавших бедность. В 1228 году был канонизирован.

** Алыгвасил — судейский или полицейский чин в Испании.

тайну, о которой доносил немедленно. Я мог это делать с чистой совестью, ибо мой духовник, святой иезуит, уверил меня, что я могу открыть тайну не только потому, что не имел намерения сохранить ее, но и потому, что дело тут касается общественной пользы. Чувствуя себя рабом своего рвения, я готов был предать собственного отца.

Недели три тому назад я заметил в Изоле — городке на маленьком острове, где я жил — особенную дружбу между четырьмя или пятью известными в городе лицами. Я знал, что эти лица недовольны правительством по причине захваченной контрабанды, за что некоторые попали в тюрьму. Один каноник, подданный Австрии, также участвовал в этом заговоре. Они собирались в отдельной комнате кабачка, в которой стояла кровать. Там они пьянствовали, беседовали и расходились. Решившись раскрыть заговор, я имел смелость спрятаться под кроватью, уверенный в том, что меня не обнаружат. К вечеру они явились и завели разговор, где прозвучало, что Изола должна находиться под юрисдикцией герцогства Триестского, а не под юрисдикцией св. Марка, поскольку остров ни в коем случае нельзя рассматривать как часть венецианской Истрии*. Тогда каноник сказал главному заговорщику, некоему Пьетро Паоло, что если он и его товарищи подпишут петицию, то он самолично отправится к императорскому посланнику, и императрица** не только захватит город, но и отблагодарит их. Все отвечали, что согласны, и каноник обязался отнести петицию на следующий день.

Я решил разрушить этот мерзкий план, хотя один из заговорщиков был моим кумом, и это духовное родство давало ему больше прав, чем если бы он был моим родным братом.

После их ухода я имел время скрыться и не считал нужным подслушивать их второй раз: я уже знал достаточно. Отправившись ночью в лодке в Венецию, я к полудню был здесь. Записав имена шести заговорщиков, я принес их секретарю трибунала и рассказал ему все, что знал.

Он приказал мне отправиться утром следующего дня к мессеру-гранде, который даст мне человека; с ним я вернусь в Изолу и покажу ему каноника, который, вероятно, будет еще там. "Сделав это, — прибавил секретарь, — ни во что больше не вмешивайтесь". Я исполнил этот приказ и, показав человеку мессера-гранде каноника, вернулся к своим личным делам.

После обеда мой кум позвал меня побрить его, ибо я цирюльник, после чего он угостил меня рюмкой доброго вина и несколькими сосисками, да и сам закусил со мной в самом

*. Истрия — историческая область в Югославии, расположенная на одноименном полуострове в северной части Адриатического моря. В описываемое время прибрежная часть полуострова принадлежала Венецианской республике, а внутренние районы, как и соседнее герцогство Триестское, принадлежали Австрии, хотя сам город Триест получил в 1719 году статус свободного порта.

** Имеется в виду австрийская императрица Мария Терезия (1717—1780), правившая с 1740 года.

дружеском расположении. И тут в моей душе проснулась любовь к куму: я взял его за руку и со слезами на глазах советовал ему бросить знакомство с каноником и, самое главное, ни за что не подписывать известную ему бумагу. Он мне отвечал, что лишь из-за своей чувствительности сделал такую ошибку.

На следующий день я не видал ни его, ни каноника, а через неделю, приехав в Венецию, отправился к мессеру-гранде, который, не говоря дурного слова, приказал меня засадить. И вот доброго христианина, сидящего здесь по причинам, знать которых не желаю, ибо я не любопытен. Мое имя Сорадачи, жена моя из рода Легренци, дочь секретаря Совета Десяти. Она, не обращая внимания на предрассудки, вышла за меня замуж. Жена будет в отчаянии, не зная, куда я девался, но я надеюсь, что останусь здесь ненадолго, так как сюда я попал, вероятно, только из-за политики секретаря, желающего ближе присмотреться ко мне.

Я пришел в ужас, осознав, с каким чудовищем имею дело, но чувствуя трудность своего положения и необходимость щадить его, я намеренно выказал большую к нему симпатию, жалел его и, хваля его патриотизм, предвещал ему освобождение через несколько дней.

Спустя несколько минут он заснул, и я воспользовался его сном, чтобы все рассказать отцу Бальби, указывая ему на необходимость прекратить временно наши работы.

На следующий день я приказал Лаврентию купить мне деревянное распятие, образ Пресвятой Богородицы, портрет св. Франциска и две бутылки освященной воды. Сорадачи спросил у него свои десять су, и Лаврентий с пренебрежением дал ему двадцать. Я приказал Лаврентию купить мне вчетверо больше вина, чесноку и соли, что особенно любил мой товарищ.

После ухода тюремщика я ловко вытащил из книги письмо, посланное мне отцом Бальби, в котором он описывал мне свой ужас. Монах думал, что все потеряно, и благодарил Бога за то, что Лаврентий посадил Сорадачи в мою камеру, так как если бы Лаврентий явился в их камеру, то не нашел бы его, и "Колодцы", скорее всего, стали бы нашим общим жилищем.

Рассказ Сорадачи убедил меня, что его будут допрашивать, поскольку мне казалось очевидным, что секретарь, засадив его в тюрьму, подозревал с его стороны клевету. Я решил доверить шпиону два письма, которые, дойдя до адресата, не могли мне повредить, но могли принести мне несомненную пользу в том случае, если, как я полагал, он передаст их секретарю с целью доказать свое рвение.

Я два часа писал эти письма карандашом. На следующий день Лаврентий принес мне распятие, два образка и святую воду. Накормив хорошенько своего негодяя, я сказал ему, что имею к нему просьбу, от которой зависит мое счастье.

— Рассчитываю, — прибавил я, — на вашу дружбу и храбрость. Вот два письма, которые прошу передать по адресу, как только вас освободят. Мое счастье зависит от вашей верности, но необ-

ходимо хорошенько спрятать эти письма, ибо, если их найдут у вас, и вы и я погибнем. Поэтому присягните на этом распятии и образах, что не измените мне.
— Готов поклясться на чем угодно — я слишком многим вам обязан, чтобы изменить.

Затем он начал плакать, жаловаться на свою несчастную жизнь, потому что его считают изменником по отношению к человеку, за которого он готов отдать жизнь. Я знал, насколько можно доверять этим заявлениям, но делал вид, что верю. Потом я дал ему рубашку и колпак, оставшись с непокрытой головой, полил пол святой водой и заставил его поклясться самой страшной клятвой. После этого я вручил ему письма. Он сам вызвался зашить их в задней части своего кафтана, под подкладкой.

Я был убежден, что Сорадачи передаст мои письма при первой же возможности, и поэтому пустил в ход все свое искусство, чтобы стиль этих писем не выказал уловки. Эти письма могли внушить трибуналу только доверие ко мне, и, может быть, вызвать с его стороны благоволение к моей скромной персоне. Одно было адресовано Бригадину, а другое аббату Гримани: я просил их не беспокоиться обо мне, ибо надеюсь вскоре стать свободным, а когда я выйду, то они убедятся, что заключение пошло мне на пользу, так как во всей Венеции не было человека, который бы больше нуждался в исправлении, чем я. Я также просил Бригадина прислать мне сапоги на меху, ибо моя камера настолько высока, что я могу по ней спокойно прогуливаться. Я и виду не подал, что мои письма так невинны, так как если бы я это сделал, то Сорадачи, пожалуй, пришла бы охота сделать честный поступок и отнести письма по адресу, а этого я не желал. В следующей главе, мой дорогой читатель, вы увидите, имела ли клятва какую-либо власть над этим подлецом, и доказал ли я пословицу *"In vino veritas"**.

Измена Сорадачи. — Найденный мной способ ошеломить его. — Отец Бальби благополучно заканчивает работу. — Я выхожу из своей камеры. — Несвоевременные размышления графа Аскино. — Минута выхода.

Прошло еще несколько дней, прежде чем явился Лаврентий и отвел Сорадачи к секретарю. По тому, что он долго не возвращался, я решил, что не увижу его больше. Но, к величайшему моему удивлению, вечером его снова привели.

Как только Лаврентий ушел, плут сказал мне, что секретарь подозревает его в том, что он предупредил каноника, ибо каноник никогда не являлся к посланнику и у него не было найдено никаких бумаг. Шпион прибавил, что после очень длительного допроса его засадили в узкий чулан, где он просидел несколько часов, а затем связали и в таком виде опять привели к секретарю. Секретарь требовал, чтобы он сознался в том, что говорил кому-то, будто

бы каноник не возвратится в Изолю; но этого он сделать не мог, потому что солгал бы. Устав допрашивать, секретарь приказал водворить его снова в камеру.

Этот рассказ опечалил меня, так как из него я заключил, что этот несчастный еще долго будет жить со мной. Мне необходимо было известить отца Бальби об этом, и я написал ему ночью, а поскольку был вынужден делать это часто, то вскоре научился писать в темноте.

На следующий день, желая убедиться в том, что не ошибся в своих подозрениях, я сказал шпиону, чтобы он возвратил мне письмо, адресованное Бригадину, так как я хочу еще кое-что добавить.

— Вы можете потом опять защитить его, — прибавил я.

— Это опасно, — отвечал он. — Тюремщик может прийти сюда в течение дня, и мы погибнем.

— Ничего страшного, отдайте мне мои письма.

Тогда этот плут бросился передо мной на колени и рассказал, что при повторном допросе он так перепугался, что не мог скрыть истины. Секретарь позвал Лаврентия, приказал достать письма, прочитал их и запер в ящик.

— Секретарь сказал мне, — прибавил этот негодяй, — что если бы я отнес эти письма по адресу, то об этом узнали бы, и я бы поплатился за это головой.

Я сделал вид, что со мной дурно, закрыл лицо руками, бросился перед образом Пресвятой Девы на колени и торжественным голосом начал умолять Ее, чтобы Она отомстила за меня изменнику. После этого я бросился на кровать, повернувшись лицом к стене, и имел терпение оставаться в таком положении в течение всего дня не шелохнувшись и не произнеся ни слова, делая вид, что не слышу рыданий и воплей раскаяния. Я отлично сыграл свою роль в этой комедии, сценарий которой заранее подготовил.

Ночью я написал отцу Бальби и велел ему явиться ровно в час пополудни, не раньше и не позже, чтобы закончить работу за четыре часа. "Наше освобождение, — добавлял я, — зависит от этой точности, и вам нечего бояться".

Дело происходило двадцать пятого октября. Время осуществить проект или оставить его приближалось. Государственные инквизиторы, так же как и секретарь, каждый год проводили первые три дня ноября в какой-нибудь деревне на континенте. Лаврентий, пользуясь отсутствием начальства, каждый вечер напивался пьян и в "Пьомби" появлялся гораздо позднее обычного.

Принимая это во внимание, благоразумие подсказывало мне, что именно этим временем следует воспользоваться для осуществления побега. Другая причина, заставившая меня остановиться именно на этом периоде, в течение которого мой сосед по камере не смог бы мне изменить, кажется мне настолько важной, что я вынужден сказать о ней несколько слов.

Самым большим утешением для человека, находящегося в

беде, является
Он мечтает о м
что может при
бы все на свет
мучения. Но н
событие, завис
другой сам не
новья слабым
Бог, говорит он
меня от мучени
щить мне о нем
дению, так сраз
отличается от п
дубом леса Дод
кто ищет указан
кто пытается уз

Я находился
представляя, ка
решил обратить
которую любил,
перед гением это
чем Вергилий, д

Я написал в
спрашивая ее, в
моем освобожден
вернутую верши
из слов вопроса.
цифр я получил
я заключил, что
же образом я пол
Я беру поэму

Fra il

То есть между
зание этого стих
скажу, чтобы я е

Пифия — ж
древнегреческого бога

Додона — д
древнейший из грече
листьев священного ду

Вергилий, М
героический эпос "Эн

римской классической
дието Возрождения, и
числения влюбленного р
ним памятником э

беде, является уверенность в том, что эта беда его скоро минует. Он мечтает о моменте, когда кончатся его несчастья; он полагает, что может приблизить этот момент своими пожеланиями, и отдал бы все на свете, лишь бы узнать час, когда прекратятся его мучения. Но никто не может знать, в какую минуту возникнет событие, зависящее от воли кого-то другого, если, конечно, этот другой сам не скажет. Тем не менее страдающий человек, становясь слабым и нетерпеливым, невольно делается суеверным. Бог, говорит он себе, должен знать тот момент, когда избавит меня от мучений, а потому может каким-нибудь образом сообщить мне о нем. Как только человек приходит к такому убеждению, так сразу прибегает к гаданию. Эта склонность не многим отличается от пристрастий тех, кто советуется с пифией* или с дубом леса Додоны**, кто в наши дни прибегает к колдовству, кто ищет указаний в том или ином стихе Библии или Вергилия***, кто пытается узнать судьбу по случайным комбинациям карт.

Я находился в подобном же состоянии духа, и потому, не представляя, как узнать ожидавшую меня судьбу из Библии, решил обратиться к поэме "Неистовый Роланд" Ариосто****, которую любил, читал сотни раз и знал наизусть. Я преклонялся перед гением этого великого поэта и считал его более пригодным, чем Вергилий, для предсказания моей судьбы.

Я написал вопрос, обращенный к предполагаемой судьбе, спрашивая ее, в какой песне Ариосто находится предсказание о моем освобождении. После этого я образовал пирамиду, перевернутую вершиной вниз и составленную из чисел, извлеченных из слов вопроса. Через вычитание числа девяти из каждой пары цифр я получил в окончательном итоге цифру "девять". Из этого я заключил, что предсказание находится в девятой песне. Таким же образом я получил семерку для строфы и единицу для строки.

Я беру поэму, в волнении открываю ее и нахожу:

Fra il fin d'ottobre e il capo di novembre.

То есть между концом октября и началом ноября. Предсказание этого стиха показалось мне столь удивительным, что не скажу, чтобы я ему вполне поверил, но читатель извинит меня

* Пифия — жрица-прорицательница в Дельфийском оракуле — храме древнегреческого бога Аполлона в Дельфах.

** Додона — древнегреческий город, центр культа Зевса, где находился древнейший из греческих оракулов, жрецы которого прорицали по шелесту листьев священного дуба Зевса.

*** Вергилий, Марон Публий (70—19 до н. э.) — римский поэт, чей героический эпос "Энеида" о похождениях троянца Энея является вершиной римской классической поэзии.

**** Ариосто, Лудовико (1474—1533) — крупнейший итальянский поэт позднего Возрождения, чья поэма "Неистовый Роланд", повествующая о приключениях влюбленного рыцаря, потерявшего разум, является блестящим литературным памятником эпохи.

за то, что я приложил все усилия, чтобы его проверить. В особенности странно то, что между концом октября и началом ноября есть только один момент полуночи, и именно в полночь тридцать первого октября я вышел из тюрьмы, как читатель увидит вскоре.

Несмотря на это объяснение, я прошу его, однако, не считать меня суеверным; я рассказываю факт, потому что он действительно имел место, и если бы я не обратил на него внимания, то, вероятно, не осуществил бы свой побег.

Для того чтобы поразить воображение моего негодного товарища, я поступил следующим образом: как только Лаврентий покинул нас, я пригласил Сорадачи есть суп; до этого мерзавец лежал и сказал Лаврентию, что болен. Он бы не осмелился подойти ко мне, если бы я его не позвал. Шпион встал, бросился к моим ногам, поцеловал их и с рыданиями сказал мне, что если я его не прощу, то он умрет в течение дня, ибо уже чувствует действие проклятия.

Он ощущал боль в животе, а рот его был покрыт язвами — Сорадачи мне их показал; не знаю, были ли у него эти язвы накануне. Я не интересовался тем, говорил ли он правду или нет, но сделал вид, что верю ему и надеюсь, что Бог его простит. Нужно было заставить его есть и пить. Мерзавец, может быть, имел намерение обмануть меня, но, решившись его провести, я призвал на помощь всю свою ловкость и приготовил такой прием, против которого ему было трудно защищаться.

Приняв торжественный вид, я сказал ему:

— Садись и ешь этот суп, после чего я открою тебе счастье, ибо знай, что Пресвятая Дева явилась мне на рассвете и повелела простить тебя. Ты не умрешь и выйдешь отсюда вместе со мной.

Совершенно ошеломленный, стоявший, за неимением стула, на коленях, он съел суп вместе со мной, потом сел на тюфяк и приготовился слушать. Вот приблизительно моя речь:

“Огорчение, причиненное мне твоей страшной изменой, лишило меня сна в течение целой ночи, потому что в наказание за письма я должен пробыть в заключении до конца своих дней. Моим единственным утешением, сознаюсь, была уверенность в том, что ты умрешь здесь, на моих глазах в течение трех дней. С этим чувством, недостойным христианина, — ибо Бог повелевает нам прощать — я лег в постель, и Бог ниспослал на меня сон. Во время этого счастливого сна у меня было истинное видение. Я увидел Пресвятую Деву — Богородицу, изображение которой ты здесь видишь. Я видел ее собственными глазами, и она сказала мне:

— Сорадачи набожен, я покровительствую ему и хочу, чтобы ты простил его, — тогда проклятие, которое он заслужил, перестанет действовать. В награду за это я прикажу одному из моих ангелов принять вид человеческого и спуститься с небес, чтобы открыть крышу твоей камеры и вывести тебя оттуда в течение пяти или шести дней. Этот ангел начнет свое дело сегодня ровно в час полудни и закончит работу ровно в пять часов вечера,

за полчаса до захода солнца, ибо он должен вернуться на небо днем. Выходя отсюда в сопровождении моего ангела, ты возьмешь с собою Сорадачи и будешь заботиться о нем, но с условием, что он откажется от ремесла шпиона. Ты все ему скажешь.

При этих словах Пресвятая Дева исчезла, и я проснулся".

Сохраняя по-прежнему серьезный вид и вдохновленный тон, я наблюдал за физиономией шпиона, застывшего от удивления. Затем я взял свой молитвенник, окропил святой водой камеру и сделал вид, что молюсь Богу, прикладываясь время от времени к образу. Спустя час шпион, не раскрывавший до сих пор рта, спросил меня, в каком часу ангел сойдет с небес и услышим ли мы шум, когда ему придется разламывать потолок камеры.

— Я уверен, что он сойдет в час пополудни. Мы услышим, как он будет работать, а уйдет он в час, указанный Пресвятой Девой.

— Вам, может быть, все это приснилось.

— Уверен, что нет. Чувствуешь ли ты себя в силах поклясться, что отказываешься от ремесла шпиона?

Вместо ответа он заснул; проснувшись через два часа, шпион спросил меня, может ли он отложить на время клятву.

— Можешь отложить до тех пор, — сказал я ему, — пока не придет ангел, чтобы взять меня, но если ты тогда не откажешься клятвой от подлого ремесла, по причине которого находишься здесь и окончишь, вероятно, свою жизнь на виселице, то я заявляю тебе, что оставляю тебя здесь: такова воля Божья.

Я заметил, что при этих словах на его лице появилось выражение удовольствия, ибо он был уверен, что ангел не явится. Сорадачи, казалось, с сожалением смотрел на меня. Я же с нетерпением ожидал назначенного часа: эта комедия чрезвычайно меня занимала, поскольку я был уверен, что приход ангела поразит как громом воображение шпиона, и не сомневался в том, что все произойдет как я задумал, если только Лаврентий не забыл передать книгу, что было маловероятно.

За час до назначенного времени я захотел пообедать, но из напитков пил лишь одну воду, а Сорадачи выпил все вино и на десерт съел весь чеснок: для него это было самым лучшим вареньем, от которого его возбуждение еще более усилилось.

В ту минуту, как я услышал бой часов, извещавших о наступлении часа пополудни, я бросился на колени и приказал ему грозным голосом последовать моему примеру. Он послушался меня, удивленно поглядывая в мою сторону. Услышав шум в коридоре, я сказал: "Ангел идет" и, упав ниц, дал ему ногой порядочный пинок, чтобы заставить его сделать то же самое. Шум становился все громче и громче, прошло уже четверть часа, как я имел терпение находиться в таком неудобном положении, и если бы я был при других обстоятельствах, то вдоволь бы посмеялся над пораженным шпионом, но я этого не делал, ибо помнил свое намерение сделать негодяя совершенно помешанным. Его порочная душа могла быть исправлена только ужасом.

Приподнявшись, я снова встал на колени, приказал ему сде-

дать то же самое и заставил молиться с четками три с половиной часа. Время от времени он засыпал, утомленный своим неудобным положением и однообразием молитвы, но не прерывал меня. Иногда он с любопытством посматривал на потолок и с ужасом на лице делал какие-то гримасы: все это было очень комично. Услышав, как пробило пять часов, я воскликнул:

— Пади ниц, сейчас появится ангел!

Бальби пошел в свою камеру, и всякий шум прекратился. Я встал и заметил на лице шпиона ужас, от чего пришел в восторг. Несколько минут я еще поговорил с ним, желая позабавиться. Из его глаз обильно текли слезы, а слова были совершенно нелепы. Он говорил о своих грехах, набожности, преданности святому Марку и обязанностях по отношению к республике, а милость, оказанную Пресвятой Девой, он приписывал своим заслугам. Мне пришлось выслушать с серьезным видом длинный рассказ о чудесах, о которых ему рассказывала жена, чьим духовником был молодой доминиканец*.

Сорадачи спрашивал меня, что я собираюсь делать с таким невежей, как он.

— Ты будешь у меня в услужении, будешь иметь все необходимое, и никто тебя не заставит заниматься опасным ремеслом шпиона.

— Но нам нельзя будет оставаться в Венеции?

— Конечно, нет: ангел поведет нас в государство, не зависящее от святого Марка. Готов ли ты поклясться, что бросишь свое подлое ремесло? А если обещаешь, то не изменишь ли во второй раз?

— Если я поклянусь, то, конечно, буду верен своей клятве: будьте покойны. Но согласитесь, что не измени я вам, Пресвятая Дева не оказала бы вам милости. Моя измена есть причина вашего счастья, поэтому вы должны меня любить и быть довольны моей изменой.

— А любишь ли ты Иуду, изменившего Иисусу Христу?

— Нет.

— То-то и оно: изменники ненавидят и в то же время поклоняются провидению, которое извлекает добро из зла. До сих пор ты был негодяем, оскорблял Бога, Пресвятую Деву, и я приму твое обещание только в том случае, если ты покаешься в своих грехах.

— В каких грехах?

— Ты грешил гордостью, Сорадачи, думая, что я должен благодарить тебя за то, что ты изменил мне, передавая мои письма секретарю.

— А как же я могу покаяться в таких грехах?

— Вот как. Завтра, когда явится Лаврентий, ты будешь лежать на своем тюфяке без движения, не глядя на него. Если он заговорит с тобой, ты ответишь ему, не оборачиваясь, что всю ночь не мог уснуть и чувствуешь потребность отдохнуть. Обещаешь ли ты все это выполнить?

* Член нищенствующего ордена доминиканцев, основанного в 1215 году испанским монахом Домиником.

— Обещаю.
— Поклянись перед образом Пресвятой Девы.
— Обещаю вам, Пресвятая Богородица, что при появлении Лаврентия я не буду смотреть на него и буду лежать на тюфяке.
— А я, Пресвятая Богородица, обещаю, что если Сорадачи будет смотреть на Лаврентия или будет двигаться, то я брошусь на него и задушю его без всякого сожаления.

Я столько же рассчитывал на эту угрозу, как и на его обещание. Желая, однако, получить полную уверенность, я спросил его, не имеет ли он чего-нибудь против клятвы. После некоторого размышления шпион отвечал, что он вполне ей доволен. На этом я успокоился, дал ему поест, затем приказал ему лечь, потому что и сам нуждался во сне.

Как только он уснул, я принялся писать, на что ушло целых два часа. Я рассказал Бальби всю историю и прибавил, что если работа достаточно продвинулась, то ему остается только прийти, уничтожить доску пола и войти ко мне. Я повторил ему, что мы должны выйти ночью тридцать первого октября и будет нас всего четверо, считая его товарища и моего. Это было двадцать восьмого числа.

На следующий день монах написал мне, что проход сделан и ему остается только разломать доску потолка, что можно сделать за несколько минут. Сорадачи остался верен своему обещанию, делая вид, что спит, и Лаврентий даже не заговорил с ним. Я ни на секунду не выпускал его из виду и, думаю, действительно задушил бы его, если бы он сделал хоть малейшее движение, ибо, чтобы изменить мне, было достаточно одного кивка головы.

Все остальное время дня было посвящено мистическим разговорам и речам, произносимым мною со всей торжественностью, на которую только я был способен, и я радовался тому, что Сорадачи все больше и больше фанатизировался. Кроме этого, я прибегал к помощи вина и время от времени наливал ему порядочно этой жидкости в стакан, но перестал это делать только тогда, когда увидел, что он не может держаться на ногах.

Хотя он ни на что не отвлекался и все свои способности направлял только на выдумку шпионских хитростей, этот негодяй поставил меня на минуту в трудное положение, говоря, что не понимает, почему ангелу требуется так много времени, чтобы отворить тюрьму. Я, однако ж, нашелся:

— Пути Божьи неизвестны смертным, к тому же посланник Бога является не в виде ангела, — ибо тогда ему было бы достаточно одного дуновения — а в виде человека, обличие которого он принял, так как мы, конечно, недостойны лицезреть его небесный вид. И я предвижу, — добавил я как истый иезуит, пользуясь всяким удобным случаем, лишь бы запугать человека, — что ангел, дабы наказать тебя за твое неверие, не придет сегодня. Несчастный! Ты по-прежнему думаешь не как честный человек, набожный и покорный, но как хитрый грешник, имеющий дело с мессером-гранде и сбирами.

Я хотел привести его в отчаяние, и преуспел в этом. Шпион принялся проливать слезы, и его рыдания раздавались до тех пор, пока он не услышал, что наступил час пополудни. Я не только не имел намерения его успокоить, а напротив, хотел увеличить его страдания, горько жалуясь на него.

На следующий день он опять выполнил свое обещание, и когда Лаврентий обратился к нему с вопросом, Сорадачи отвечал, не поворачивая головы. То же самое он сделал утром тридцать первого октября, когда Лаврентий явился в последний раз. Я дал тюремщику книгу для Бальби, где предупреждал монаха, что нужно явиться в полдень и разломать потолок. На этот раз я не боялся никаких неожиданностей, так как услышал от Лаврентия, что инквизиторы и секретарь уже уехали в деревню. Мне нечего было бояться появления новых товарищей и незачем было оберегать своего негодяя.

Я только и делал, что думал об освобождении. Приходилось лишить шпиона возможности вредить мне. Что мне нужно было для этого сделать? У меня было только два средства: или делать то, что я делал, поражая ужасом душу этого негодяя, или же задушить его, что сделал бы всякий смелый, но более жестокий человек, чем я. Последнее было гораздо легче и не представляло никакой опасности: в любом случае я мог сказать, что он умер своей смертью, а в "Пьомби" слишком мало заботились о жизни подобных ему людей, чтобы проверить, говорю ли я правду.

Найдется ли такой читатель, кто подумает, что я сделал бы лучше, если бы задушил его? Если найдется, пусть даже иезуит, что маловероятно, то я прошу Бога просветить его: его вера никогда не будет моей верой. Я думаю, что исполнил свой долг, и успех, увенчавший мои усилия, может служить доказательством того, что провидение одобрило употребленные мной средства. Что же касается клятвы, которую я заставил его произнести, то она не имела никакой силы, поскольку была сделана в состоянии невменяемости, а от моего обещания всегда заботиться о нем Сорадачи сам меня избавил, ибо у него не хватило храбрости бежать вместе со мной.

Испорченный человек редко бывает храбрым. К тому же я мог быть уверен, что его возбужденное состояние продлится только до появления отца Бальби, который, вовсе не имея физономии ангела, докажет, что я надул шпиона. Наконец, прибавлю я, у каждого человека гораздо больше причин жертвовать всем для самосохранения, чем у монахов жертвовать государством ради своей выгоды.

После ухода Лаврентия я сказал Сорадачи, что ангел откроет потолок в полдень.

— Он принесет ножницы, — добавил я, — которыми ты острижешь нам бороды, — мне и ангелу.

— А разве у ангела есть борода?

— Да, ты увидишь. После этого мы выберемся отсюда и пойдем ломать крышу дворца. Затем спустимся на площадь св. Марка и направимся в Германию.

Сорада
тогда как
Настал
что этого
доски упа
— Ита
начинает
Мы об
Сорадачи
этого него
левшего.
Желая
остался с
и выбрал
графа, я
стоял чело
вергаться
Он спроси
считает ме
— Я ж
обрету сво
— Если
крышу и
преуспеете
духу следо
Я выш
ко было в
среди мус
я ошупал
что крыш
сделать от
камеру и
и тюфяко
В каж
которых н
все. Поэто
прочность
образом я
Когда
мы отпра
всего позд
посаженны
нуться. Я
меня. Он
каким пут
слушал гр
тинный тр
мости след
вещи и от
Уже в в

Сорадачи не ответил и вскоре принялся в одиночестве за еду, тогда как я был слишком озабочен, чтобы есть или спать.

Настал час: вот ангел! Шпион хотел упасть ниц, но я сказал, что этого не нужно. За три минуты проем был сделан: кусок доски упал к моим ногам, и Бальби бросился в мои объятия.

— Итак, — сказал я ему, — ваша работа закончена; теперь начинается моя.

Мы обнялись, и он вручил мне кинжал и ножницы. Я приказал Сорадачи постричь нас, но не мог не засмеяться, посмотрев на этого негодяя, застывшего с раскрытым ртом и совершенно ошалевшего. Но все-таки бороды он нам остриг.

Желая поскорее увидеть местность, я сказал монаху, чтобы он остался с Сорадачи, поскольку я не хотел оставлять шпиона одного, и выбрался из камеры. Войдя через отверстие в потолке в камеру графа, я сердечно обнял этого почтенного старика. Передо мной стоял человек, явно неспособный идти против трудностей и подвергаться опасности на крутой крыше, покрытой полосами свинца. Он спросил меня, в чем заключается мой проект, прибавив, что считает меня человеком несколько легкомысленным.

— Я желаю, — ответил я, — идти вперед, до тех пор пока не обрету свободу или смерть.

— Если вы думаете, — отвечал он, пожимая мне руку, — разломать крышу и оттуда сойти вниз, то я не понимаю, как вы в этом преуспеете, если, впрочем, у вас нет крыльев. Но у меня не достает духу следовать за вами: я останусь здесь и буду за вас молить Бога.

Я вышел, чтобы посмотреть на крышу, приближаясь, насколько было возможно, к краям чердака. Закончив осмотр, я уселся среди мусора, которым заполнены чердаки всех дворцов. Затем я ощупал крышу концом своего кинжала и с радостью обнаружил, что крыша наполовину сгнила. Убедившись в том, что смогу сделать отверстие за какой-нибудь час, я возвратился в свою камеру и потратил четыре часа на разрезание простынь, одеял и тюфяков и приготовление из них веревок.

В каждом большом предприятии есть вещи, относительно которых ни на кого нельзя положиться, так как от них зависит все. Поэтому узлы я сделал сам и затем проверил веревки на прочность, ибо один некрепкий узел мог все погубить. Таким образом я наделал более ста сажений веревок.

Когда веревки были готовы, я свернул в узел свои вещи, и мы отправились в камеру графа. Этот почтенный человек прежде всего поздравил Сорадачи с тем, что он имеет счастье быть посаженным со мной. Глупый вид Сорадачи заставил меня улыбнуться. Я уже сбросил маску лицемерия, сильно стеснявшую меня. Он понял, кто его надувал, но никак не мог догадаться, каким путем я переписывался с монахом. Шпион внимательно слушал графа, говорившего, что мы погубили себя, и, как истинный трус, уже придумывал способ избавиться от необходимости следовать за нами. Я велел монаху завязать в узел его вещи и отправился ломать крышу.

Уже в восемь часов вечера, без посторонней помощи, я закончил

ломать доски: отверстие было готово, причем вдвое больше, чем требовалось. Я попытался приподнять целую полосу свинца, но не смог, потому что она была приколочена. Монах помог мне ее приподнять и затем загнуть так, чтобы образовалось нужное нам отверстие. Просунув голову в отверстие, я с горечью увидел месяц, находящийся в своей первой четверти, из-за чего нам было нужно дожидаться полуночи, когда луна исчезнет с горизонта.

В такие прекрасные вечера все приличное общество обычно прогуливается по площади св. Марка, и в этот час нельзя было показываться на крыше. Наша тень, достигая площади, заставит обратить на нас внимание, и зрелище, которое таким образом мы будем представлять, возбудит всеобщее любопытство, в особенности мессера-гранде и его шайки сбиров, представляющих собой венецианскую полицию, и наш проскт сорвется из-за принятых ими мер.

Итак, я решил, что мы заберемся на крышу только после захода луны. Я испросил помощь Божию, но на чудеса не надеялся. Предоставленный капризам судьбы, я должен был провести дело так, чтобы по возможности все случайности были устранены, и если бы моему предприятию не суждено было осуществиться, то я уберег бы себя от мелочных упреков в неосторожности. Луна должна была зайти около полуночи, а солнце взойти в половине восьмого следующего утра, так что нам оставалось семь часов темноты, в течение которых мы могли действовать. Хотя работы оставалось много, но за семь часов ее можно и должно было закончить.

Я сказал отцу Бальби, что три часа мы можем потратить на разговор с графом Аскино, и прежде всего нужно было предупредить его, что я нуждаюсь в пятнадцати цехинах, которые нужны мне были так же, как нужен мой кинжал. Монах отправился за деньгами, но через пять минут вернулся и сказал, что я сам должен отправиться к графу, потому что он хочет поговорить со мной без свидетелей.

Этот несчастный старец начал с заявления о том, что для побега деньги мне вовсе не нужны, да их у него и нет, к тому же у него многочисленное семейство, и если я погибну, то погибнут и деньги, которые он мне даст. В заключение он произнес множество глупостей такого же рода, лишь бы как-нибудь скрыть свою скупость.

Мой ответ продолжался полчаса. Я высказал массу самых превосходных резонов, которые, однако, не имеют силы с тех пор, как существует мир, ибо все ораторские приемы пасуют против этой непобедимой страсти.

Это был случай прибегнуть к *polenti baculus**, но я не был настолько жесток, чтобы употребить против несчастного старца такое средство. Я закончил тем, что если он хочет бежать со мной, то я понесу его на своей спине, как Эней нес Анхиса**,

* Непослушному — палка. Лат.

** Эней — в античной мифологии сын Афродиты и Анхиса, один из главных защитников Трои, легендарный родоначальник римлян. Согласно мифу, Эней вынес из пылающего города богов-пенатов и дряхлого отца.

но если он намерен остаться и молить Бога об успехе нашего предприятия, то предупреждаю его, что его молитвы будут непоследовательны, ибо он будет молить Бога об успехе, для достижения которого не захотел и пальцем пошевелить.

Граф спросил меня, проливая слезы, которыми я был тронут, будет ли мне достаточно двух цехинов. Я отвечал, что для меня все будет достаточно. Он дал мне их, прося возвратить, если я, прогулявшись по крыше, приду к убеждению, что самым благоразумным будет вернуться в камеру. Я обещал это, хотя и несколько удивился предположению, что мне может прийти в голову мысль вернуться. Граф не знал меня; я же, со своей стороны, был уверен в том, что скорее умру, чем вернусь туда, откуда только что освободился.

Я позвал своих товарищей, и мы поместили все наше снаряжение у отверстия; веревки, приготовленные мной, я разделил на две части. Оставшиеся два часа мы провели не без удовольствия, вспоминая события, сопровождавшие наше предприятие.

Первым доказательством "благородства" отца Бальби было то, что он стал выговаривать мне неисполнение моего обещания: я, видите ли, уверял его, что мой план готов и непогрешим, между тем как в действительности этого не было. Он нахально прибавил, что если бы он предвидел это, то не выпустил бы меня из моей камеры. Граф с важностью семидесятилетнего старика говорил в свою очередь, что было бы благоразумнее всего не настаивать на окончании безумного предприятия, успех которого был невозможен и которое, очевидно, может кончиться только нашей смертью. Я легко догадался, что его возбуждала надежда получить назад свои два цехина, которые я был бы вынужден возвратить, если бы он убедил меня остаться. Вот спич этого графа-адвоката.

— Наклон крыши, обшитой свинцом, — говорил он, — не позволит вам двигаться по ней; вам и стоять-то там будет трудно. На крышу выходят семь или восемь слуховых окон, но все они снабжены железными решетками, и добраться до них невозможно, так как они находятся на большом расстоянии от краев крыши. Ваши веревки вам не пригодятся, потому что вы не найдете места, где их можно будет прикрепить, но даже если и найдете, то, спускаясь с такой громадной высоты, не сможете удержаться и добраться до самого низа.

Таким образом, один из вас троих будет вынужден обязать другого за талию и спускать его вниз, как спускают ведро или тюк; то же будет сделано и со вторым, а третий, спускавший двух первых, будет вынужден остаться и возвратиться в камеру. Кто из вас троих чувствует себя способным на такое самопожертвование? И если даже предположить, что один из вас готов на подобный героический поступок, то спрашивается, с какой стороны вы спуститесь? Конечно, не со стороны колонн, на площадь, поскольку там вас увидят; со стороны церкви невозможно — там вы будете и западнее; наконец, было бы нелепо спускаться со стороны двора, ибо вы попадете в руки находящейся

там стражи. Значит, вам остается только спускаться со стороны канала, а есть ли там ожидающая вас гондола? Нет.

Итак, вам остается только броситься в воду и плыть до св. Аполлония, где вы очутитесь в самом печальном положении, не зная, что делать дальше. Подумайте и о том, что на свинцовой крыше легко поскользнуться, и если вследствие этого вы упадете в канал, то, даже предположив, что вы плаваете так же хорошо, как акулы, вы не избежите смерти, принимая во внимание высоту падения и незначительную глубину канала. Вы превратитесь в лепешку, ибо три или четыре фута воды явно недостаточно для смягчения падения тела с такой высоты. В лучшем случае вы раздробите себе руки и ноги.

Эта речь, очень неосторожная в данном случае, приводила меня в бешенство. У меня хватило, однако, терпения, которого я раньше не замечал за собой, выслушать ее. Упреки монаха, которые он делал мне без всякого стеснения, возбуждали во мне негодование: я отвечал на них резко, но чувствовал, что мое положение весьма деликатно и мне очень легко испортить все дело, ибо я имел дело с подлецом, готовым заявить мне, что он не такой дурак, чтобы идти на верную смерть, и я могу отправляться на крышу один, без него. Поэтому я воздержался от ссоры и спокойным тоном сказал им, что уверен в успехе, хотя и не могу рассказать им все в подробностях.

— Ваши благоразумные соображения, — сказал я графу Аскино, — заставят меня действовать осторожно, но надежда на собственные силы и на Бога поможет мне преодолеть все препятствия.

Время от времени я протягивал руку с целью убедиться, тут ли Сорадачи, так как он все время молчал. Я от души хохотал, представляя, что могло происходить в его голове, когда он убедился, что я его надул. В половине одиннадцатого я велел ему пойти посмотреть, в какой стороне неба находится луна. Он послушался и, возвратившись, сказал, что часа через полтора ее совсем не будет видно, а густой туман сделает крышу "Пьомби" чрезвычайно опасной.

— Для меня достаточного того, — отвечал я, — что туман не масло. Заверните свой плащ вместе с частью ваших веревок, которые тоже придется разделить на две половины.

После этих слов Сорадачи чрезвычайно удивил меня, встав передо мной на колени. Он схватил мои руки, стал целовать их и принялся, рыдая, умолять меня избавить его от неминуемой смерти.

— Я уверен, — говорил он, — что упаду в канал и не смогу ни в чем быть вам полезен. Оставьте меня здесь, и я целую ночь буду молить св. Франциска за вас. Вы можете убить меня, но я никогда не решусь следовать за вами.

Болван и не предполагал, как его просьба отвечала моим желаниям.

— Вы правы, — сказал я, — оставайтесь, но с условием молиться св. Франциску. А для начала ступайте и принесите все мои книги: я их оставляю графу.

Он
вольств
сказал
—
здесь
что же
следова
не дост
Бальби
—
него не
Я п
несмотр
не обра
хоть са
посколь
Пис
буду жи
Дале
"На
ствам, ч
стант, с
в свою
диться.
ливость;
инквизи
точно т
освобож
Джак
знает, ч
перейдет
этом слу
бежит. Е
своих су
за то, ч
будет сх
Но если
предприя
в тюрьме
предпочи
господ и
Писан
31 октяб
Я пре
Лавренти
или неме
было еще
действие,
я снова
щения, ч

Он повиновался беспрекословно и, вероятно, с большим удовольствием. Мои книги стоили по меньшей мере сто экю. Граф сказал мне, что отдаст мне книги после моего возвращения.

— Рассчитывайте на то, — отвечал я, — что вы меня больше здесь не увидите. Книги с лихвой покроют ваши два цехина. Что же касается этого труса, то я очень рад, что он не хочет следовать за мной: он бы стеснял меня. К тому же этот негодяй не достоин чести совершить такой подвиг вместе со мной и отцом Бальби.

— Возможно, — отвечал граф. — Лишь бы только завтра у него не было причин радоваться своему решению.

Я попросил у графа бумаги, чернил и перо, имевшихся, несмотря на запрещение, у него: на тюремные законы Лаврентий не обращал никакого внимания и за один экю готов был продать хоть самого св. Марка. Затем я написал письмо, перечитал его, поскольку писал в потемках, и передал Сорадачи.

Письмо начиналось с латинского эпиграфа: "Я не умру, я буду жить и воспевать славу Господа!".

Далее я продолжал:

"Наши господа инквизиторы должны прибегать ко всем средствам, чтобы удержать насильно заключенных в "Пьомби": арестант, счастливый тем, что он не скован честным словом, должен, в свою очередь, сделать все от него зависящее, чтобы освободиться. Право инквизиторов имеет в своем основании справедливость; право арестанта есть природа. И подобно тому, как инквизиторы не нуждаются в его согласии быть заключенным, точно так же и он не нуждается в их согласии, стремясь к освобождению.

Джакомо Казанова, пишущий эти строки с горечью в сердце, знает, что может иметь несчастье быть пойманным, прежде чем перейдет границу и найдет убежище в гостеприимной стране. В этом случае он опять будет под властью тех, от которых теперь бежит. Если это несчастье случится, то он, призывая к гуманности своих судей, умоляет их не ухудшать его положение, наказывая за то, что он уступил требованиям природы. Он умоляет, если будет схвачен, вернуть ему все, что он оставляет в своей камере. Но если он будет настолько удачлив, что преуспееет в своем предприятии, то дарит все Франческо Сорадачи, который остается в тюрьме, так как ему не хватает храбрости бежать. Он не предпочитает, подобно мне, свободу жизни. Казанова умоляет господ инквизиторов согласиться на дар этому несчастному.

Писано за час до полуночи, впотьмах, в камере графа Аскино, 31 октября 1756 года".

Я предупредил Сорадачи, чтобы он передал это письмо не Лаврентию, а самому секретарю, так как был уверен, что секретарь или немедленно позовет его к себе, или сам явится в камеру, что было еще вероятнее. Граф прибавил, что письмо произведет свое действие, но Сорадачи должен будет все возвратить мне, если я снова появлюсь. Плут отвечал, что желал бы моего возвращения, чтобы доказать, как свято он сдержит свое обещание.

Но пора отправляться. Луна скрылась. Я привязал с одной стороны к шее отца Бальби половину веревок, а с другой — сверток с его вещами. То же самое я сделал и себе. Оставшись в одних жилетах, со шляпами на головах, мы отправились к отверстию. “И мы вышли созерцать звезды”, как говорил Данте*.

Мой выход из тюрьмы. — Неожиданная опасность. — Я выхожу из Дворца дожей, сажусь в лодку и причаливаю к твердой земле. — Опасность, которой меня подвергает отец Бальби. — Я иду на хитрость, чтобы отделаться от него.

Я вышел первым, отец Бальби последовал за мной. Сорадачи, который шел за нами до самого отверстия в крыше, получил приказ положить на прежнее место полосу свинца и затем отправиться молиться св. Франциску. Уже на крыше я встал на четвереньки, взял в одну руку свой кинжал, вставил его между полосами свинца и, подтягиваясь, начал взбираться вверх по крыше. Монах засунул свою руку за мой пояс, и таким образом я оказался связанным с этим животным и был вынужден тащить его за собой по крутой крыше, сделавшейся скользкой вследствие густого тумана.

На полпути этого опасного восхождения монах потребовал, чтобы я остановился, так как один из его свертков оказался потерянным, и он надеялся его найти. Мне пришло в голову дать ему хорошую затрещину и таким образом избавиться от него, но, к счастью, я удержался: наказание было бы слишком суровым как для него, так и для меня, поскольку в одиночку я ничего бы не смог сделать. Я ответил ему только, что сейчас не время для поисков; монах вздохнул и продолжал карабкаться за мною, по-прежнему держась за мой пояс.

Наконец мы достигли конька крыши, на котором я удобно уселся верхом; то же сделал и отец Бальби. Позади нас виднелся маленький островок Сан-Джорджио. а перед нами многочисленные купола собора св. Марка, представляющего собой часть Дворца дожей, ибо собор, в сущности, — лишь капелла дожа, и нет в мире монарха, имеющего более красивую капеллу.

Оглядевшись, я сказал монаху, чтобы он ждал моего возвращения, а сам стал продвигаться по коньку без особых трудностей. Почти целый час я предавался этому упражнению, но без всякого успеха — ни у одного из краев крыши я не заметил никакого выступа, к которому мог бы привязать веревку. Положение ставилось тяжелым, нечего было и думать ни о канале, ни о дворе, а между куполами была только пропасть. Чтобы пробраться за собор, мне пришлось бы карабкаться по таким крутизнам, что страшно было и подумать.

* Данте, Алигьери (1265—1321) — великий итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка, вершиной творчества которого является поэма “Божественная комедия”.

Одна
или воз
не выйт
что мен
было на
Я ост
сторона
находил
не относ
найти от
могли об
всего ну
Осторо
на ней в
вперед и
стеклами
Окно не
неодолим
у меня б
Я ник
успехе, и
собора, б
ющийся д
Следовате
следовать
в этом убо
“Между к
мне говор
обещавши
Я лег
решеткой,
верть часа
положил е
хотя и по
С помо
вратился
монаха. Н
меня за то
одного. Он
вратиться
— Что
— Я ду
— А те
— А за
— Иди
Захвати
подползли
спросил у
на чердак.
трудностей,

Однако что-то нужно было делать: или выбираться отсюда, или возвращаться в камеру, чтобы, может быть, никогда из нее не выйти, или же просто броситься в канал. Я хорошо понимал, что меня может выручить только случай, но с чего-то нужно было начать.

Я остановил свой взгляд на слуховом окне, находившемся со стороны канала. Оно было настолько далеко от места, где я находился, что могло освещать чердак какого-нибудь помещения, не относящегося к тюрьме. В комнатах этого помещения я мог найти открытые утром двери, а слуги, в чем я был убежден, могли облегчить наш побег, если бы заметили нас. Но прежде всего нужно было осмотреть переднюю часть слухового окна.

Осторожно спустившись, я очутился на крышке окна и уселся на ней верхом. Придерживаясь одной рукой, я наклонил голову вперед и увидел небольшую решетку, за которой было окно со стеклами, вставленными в раму из тонких пластинок свинца. Окно не вызывало у меня опасений, но решетка казалась мне неодолимой: я считал, что без подпилки не справлюсь с ней, а у меня был только кинжал.

Я никак не мог ничего придумать и стал уже отчаиваться в успехе, но в это время я услышал бой часов на колокольне собора, бивших полночь. Этот бой напомнил мне, что начинающийся день есть день Всех Святых и праздник моего патрона. Следовательно, в этот день я должен обрести свободу, если следовать пророчеству иезуита. Но еще более поддерживало меня в этом убеждении предсказание, почерпнутое мною из Ариосто, — "Между концом октября и началом ноября". Бой часов показался мне говорящим талисманом, повелевающим мне действовать и обещавшим мне победу.

Я лег на живот, пропустил свой кинжал между стеной и решеткой, желая снять решетку целиком. За какую-нибудь четверть часа я достиг этого: решетка оказалась у меня в руках. Я положил ее близ себя на крышу и без затруднений разбил окно, хотя и поранил свою левую руку.

С помощью кинжала, следуя своей прежней системе, я возвратился на конек крыши и направился к месту, где оставил монаха. Нашел я его в отчаянии; он был взбешен, стал ругать меня за то, что я на такое продолжительное время оставил его одного. Он прибавил, что ждет только семи часов, чтобы возвратиться в камеру.

— Что же вы думали обо мне?

— Я думал, что вы упали с крыши.

— А теперь, увидав меня целым и невредимым, ругаете меня?

— А зачем вы так долго отсутствовали?

— Идите за мной, увидите.

Захватив свертки, я направился к слуховому окну. Когда мы подползли к нему, я подробно рассказал Бальби, что сделал, и спросил у него совета относительно того, как нам проникнуть на чердак. Для одного из нас дело не представляло особых трудностей, — с помощью веревки его мог спустить другой —

но я не знал, как может спуститься оставшийся, так как веревку невозможно было прикрепить у входа в слуховое окно. Прыгая из окна, можно было сломать себе руку или ногу, ибо расстояние от окна до пола было нам неизвестно. Выслушав меня, монах сказал:

— Во всяком случае спускайте меня первым; когда я там окажусь, вы что-нибудь придумаете.

Сознаюсь, в порыве раздражения я готов был вонзить кинжал в его грудь. Мой добрый гений удержал меня от этого, и я ничего не сказал. Напротив, я привязал веревку к его талии и, заставив монаха лечь на живот, спустил его к крышке слухового окна. Затем я велел ему наполовину залезть в окно и удерживаться в таком положении при помощи рук. Я подполз к нему, лег на живот и, держа крепко веревку, сказал монаху, чтобы он спустился без боязни. Достигнув пола чердака, он отвязал веревку, и я смог заключить, что пол находился от окна на слишком большом для прыжка расстоянии. Что же касается монаха, то, успокоившись, он попросил меня сбросить ему веревки, чего я, разумеется, не сделал.

Не зная, что делать, и ожидая вдохновения, я снова вскарабкался на конек и неожиданно заметил небольшой купол, к которому и отправился. У большого слухового окна, закрытого ставнями, я увидел обитую свинцом террасу. Тут же стоял чан с гипсом в жидком виде, лопата и лестница, достаточно большая: с ее помощью я мог спуститься на чердак. Ничего другого мне не было нужно. Привязав веревку к первой перекладине, я потащил лестницу назад, к слуховому окну. Теперь нужно было каким-то образом ввести эту махину в окно; трудности, испытанные мной при этом, заставили меня пожалеть об отсутствии монаха.

Один конец лестницы касался окна, другой выступал за водосточную трубу. Я влез на крышку окна, притянул к себе лестницу и, привязав к ее восьмой перекладине веревку, стал спускать лестницу в окно, но смог спустить ее только до пятой перекладины: нужно было приподнять лестницу с другого конца, и тогда бы она проскользнула в окно. Я мог бы положить лестницу поперек окна, привязав к ней веревку, и по веревке спуститься вниз без малейшей опасности, но тогда лестница осталась бы на крыше и указала бырам место, где, может быть, мы будем еще находиться.

Я не хотел из-за этого терять плоды всех своих усилий. Не имея помощника, я решился подползти к водосточной трубе и достичь задуманной цели, но чуть не поплатился за это решение жизнью. Я пополз к трубе, спокойно оставив лестницу, так как она одной перекладиной зацепилась за трубу. Достигнув трубы, я приподнял лестницу, толкнул ее вперед и с радостью увидел, что она более чем на фут проникла в окно: читатель легко поймет, что оставшаяся часть лестницы стала намного легче. Нужно было продвинуть ее еще на два фута, чтобы затем без труда опустить лестницу в окно с помощью веревки. Я встал на колени, продвинул лестницу и вследствие неосторожного движе-

ния поско-
живаясь т
Момен
теперь. И
усилия, ч
преуспел
волновалс
не стоило
она была

Повис
на трубу
безопасно
приложен
теряя голо
не прошл
средство п

Спустя
того, что м
я немного
помощью
равновесия
спустил ле
товарища.
чердак по
лестницу.

Мы ош
находилис
ширину. В
это обстоя
ем, но, на

Сначала
большой с
подошли к
одно из ни
собирался
окно, мы в
и подлож
таким насл
будет посл

Я спал т
меня. Он с
ему непон
Может быт
был только

Осмотре
тюрьма, ту
противопол
дверь. Я о
скважину. Я
усилий отк

ния поскользнулся и оказался за краями крыши по грудь, удерживаясь только руками.

Момент страшный, который приводит меня в ужас еще и теперь. Инстинкт самосохранения заставил меня приложить все усилия, чтобы удержаться от падения, и я готов сказать, что преуспел в этом почти чудом. Относительно лестницы я не волновался, так как при том неудачном движении, которое чуть не стоило мне жизни, я задвинул ее более чем на три фута, и она была неподвижна.

Повиснув на водосточной трубе, я заметил, что если залезу на трубу сначала одним коленом, а затем другим, то окажусь в безопасности. Но мои мучения этим не кончились. Вследствие приложенных усилий я ощутил сильные судороги в руках. Не теряя голову, я оставался неподвижным до тех пор, пока судороги не прошли: я по опыту знал, что неподвижность — лучшее средство против судорог. Но как был ужасен этот момент!

Спустя две минуты, постепенно возобновив усилия, я достиг того, что мои колени очутились на трубе. Взобравшись на крышу, я немного отдохнул, а затем осторожно приподнял лестницу. С помощью кинжала я опять добрался до окна и, зная законы равновесия и рычага, уже без всяких затруднений окончательно спустил лестницу, нижний конец которой оказался в руках моего товарища. Я бросил в окно свертки и веревки и спустился на чердак по лестнице; монах принял меня в свои объятия и снял лестницу.

Мы ощупью произвели осмотр темного помещения, в котором находились: оно имело шагов тридцать в длину и двадцать в ширину. В одном конце мы нашли двери, окованные железом: это обстоятельство представлялось печальным предзнаменованием, но, нажав ручку, мы отворили дверь.

Сначала мы обошли это новое помещение и натолкнулись на большой стол, окруженный табуретами и креслами, а затем подошли к месту, где, как нам казалось, были окна. Открыв одно из них, мы увидели при бледном свете звезд купола. Я не собирался уходить, так как не знал, где мы находимся. Закрыв окно, мы возвратились в первое помещение; бросившись на пол и подложив под голову сверток, я уснул мертвым сном. Я с таким наслаждением отдался ему, что если бы даже знал, что смерть будет последствием этого сна, то все равно не прервал бы его.

Я спал три с половиной часа. Крик и толчки монаха разбудили меня. Он сказал, что пробило пять часов утра, и мой сон кажется ему непонятным в том положении, в котором мы находимся. Может быть, это было непонятно для него, но не для меня: мой сон был только следствием затраченных мною чрезвычайных усилий.

Осмотрев место, где мы находились, я вскричал: "Это не тюрьма, тут должен быть удобный выход!" Мы направились в противоположную от двери сторону, и тут я заметил другую дверь. Я ощупываю ее, и мой палец натывается на замочную скважину. Я ввожу туда кончик своего кинжала и без малейших усилий открываю замок. Мы входим в маленькую комнату, и

на столе я нахожу ключ. Я пробую вставить его в замок следующей двери и нахожу ее открытой.

Тогда я прошу монаха принести наши пожитки и, положив ключ на прежнее место, мы выходим из комнаты и попадаем в галерею с нишами, заполненными бумагами. Это был архив. Я обнаруживаю маленькую каменную лестницу, спускаюсь по ней, нахожу стеклянную дверь, открываю ее и попадаю в знакомый мне зал — канцелярию дожа. Здесь я открываю окно, через которое можно было легко спуститься, но я попал бы в целый лабиринт небольших двориков, окружающих собор св. Марка. Да сохранит меня Бог от подобной выходки!

На столе я нахожу металлический инструмент с закругленным концом и деревянной ручкой, которым секретари канцелярий прокалывают пергаменты, а затем привязывают к ним свинцовые печати. Я хватаю его, открываю бюро и нахожу там копию письма, извещающего власти острова Корфу о присылке трех тысяч цехинов на ремонт старой крепости. Ищу цехины, но их тут не оказывается. С каким удовольствием я положил бы их в карман и как бы посмеялся над монахом, если бы он стал обвинять меня в воровстве! Я бы взял эту сумму как дар неба и считал бы себя ее собственником по праву завоевателя.

Я направляюсь к двери канцелярии, ввожу свой кинжал в замочную скважину, но убедившись, что сломать замок трудно, решаюсь сделать дыру в одной из половин двери. Я выбрал место, где доска была потоньше, и принялся немедленно за дело. Монах, помогая мне, проклинал шум, производимый мной всякий раз, когда я вбивал кинжал в двери: шум можно было услышать издали. Я чувствовал всю опасность, но был вынужден пренебречь ею.

Спустя полчаса дыра была довольно велика. Края отверстия приводили меня в ужас: они были неровны, с зазубринами, способными попортить платье и поранить тело. Дыра находилась на высоте пяти футов. Поставив под нее два табурета, мы взобрались на них, и монах полез в отверстие головой вперед; взяв его за ноги, я протолкнул его и, хотя было темно, ни о чем не беспокоился, так как знал помещение. Когда мой товарищ оказался по другую сторону двери, я перебросил ему наши пожитки, за исключением веревок, без которых мы теперь могли обойтись, и, поставив третий табурет на два первых, влез на него и стал с трудом пролезать в дыру, поскольку отверстие было узко; не имея никакой точки опоры, я попросил монаха взять меня за туловище и потянуть к себе. Он исполнил это дело добросовестно: мои бока и ноги были растерзаны, из ссадин сочилась кровь.

Очутившись по ту сторону двери, я захватил пожитки и, спустившись по двум лестницам, без затруднений открыл дверь, выходящую в галерею, в которой находилась парадная дверь королевской лестницы. Дверь была заперта, как и дверь архива; одного взгляда было достаточно, что ее и ломом не пробьешь. Мой кинжал словно говорил мне: "Тебе нечего делать со мною". Совершенно спокойно и хладнокровно я присел и велел монаху сделать то же самое.

— Мо
остально
день Все
Если кто
крыта, и
отсюда
Услы
меня сум
лжецом.
В это вре
прошло
Важно
в том, что
крестьян
было цар
были цел
был весь
из платко
день дол
чулки, к
чулки сп
монаха я
который б
повязка н
Прина
пером, я
находивш
моем вид
предупред
Привратн
и, захвати
Я доса
что случа
продолжа
ушей. В
увидел чел
по лестни
кинжал и
только он
чтобы это
случае я б
Двери
вається в у
лестнице,
на лестни
внимания
продолжаю
Двери
лестницы,
преступник

— Мое дело кончено: теперь Бог или счастье должны сделать остальное. Не знаю, придут ли служители Дворца сегодня, в день Всех Святых, или завтра, в день поминок по умершим. Если кто-нибудь придет, я побегу, как только дверь будет открыта, и вы последуете за мной. Но если никто не придет, я отсюда не тронусь; а буду умирать с голоду — тем хуже.

Услыхав эти слова, монах пришел в бешенство. Он называл меня сумасшедшим, отчаянным соблазнителем, обманщиком и лжецом. На его ругательства я не обращал никакого внимания. В это время пробило шесть часов. С минуты моего пробуждения прошло не больше одного часа.

Важнейшее дело, занимавшее меня в этот час, заключалось в том, чтобы привести в порядок свой туалет. Бальби имел вид крестьянина, но был приличен: не имел лохмотьев, на теле не было царапин, его красный кожаный жилет и кожаные штаны были целы, между тем как мой вид внушал лишь ужас — я был весь в крови и покрыт лохмотьями. Я наделал себе повязок из платков и надел свое праздничное платье, которое в зимний день должно было смотреться комично. Затем я надел чистые чулки, кружевную рубашку, за неимением другой, платки и чулки спрятал в карманы, а все остальное бросил в угол. На монаха я надел свой плащ. В таком виде я был похож на человека, который был на балу и провел ночь в развратном месте. Только повязка на ногах не соответствовала моему костюму.

Принарядившись таким образом и надев на голову шляпу с пером, я открыл окно. Меня заметили сначала какие-то зеваки, находившиеся во дворе; не понимая, каким образом кто-либо в моем виде и в такой час мог находиться у этого окна, они предупредили того, у кого был ключ от нашего помещения. Привратник подумал, что накануне он кого-то нечаянно запер, и, захватив ключи, явился.

Я досадовал на себя, что показался в окне, не догадываясь, что случай и на этот раз поможет мне. Я сел рядом с монахом, продолжающим ворчать, как вдруг шум ключей дошел до моих ушей. В волнении я встал и, посмотрев в замочную скважину, увидел человека в парике и без шляпы, подымавшегося медленно по лестнице с большой связкой ключей в руках. Я взял свой кинжал и встал возле двери, чтобы проскользнуть в нее, как только она откроется, и бежать. Я молил Бога только о том, чтобы этот человек не вздумал задержать меня, ибо в этом случае я буду вынужден его убить.

Двери открываются, и, увидев меня, привратник останавливается в удивлении. Не говоря ни слова, я быстро спускаюсь по лестнице, и монах следует за мной. Идя очень быстро, я попадаю на лестницу, называемую лестницей гигантов, и, не обращая внимания на Бальби, кричавшего мне "Пойдем в церковь!", продолжаю идти.

Двери церкви находились не более чем в двадцати шагах от лестницы, но церкви в Венеции уже не были местом убежища преступников. Монах знал это, но страх отнял у него память.

Убежище, которое искал я, находилось за пределами республики; туда-то я и направлялся: там я уже находился духом, оставалось только попасть туда телом.

Я направился прямо к главной двери Дворца дожей и, ни на кого не смотря, — лучшее средство не быть замеченным — прошел через маленький дворик, вышел на набережную, прыгнул в первую попавшуюся мне гондолу и сказал гондольеру:

— Мне нужно ехать в Фузино, позови скорее еще одного гребца.

Гребец оказался поблизости. Как только мы отчалили, я бросился на среднюю подушку, а монах уселся на скамейку. Станный вид Бальби — без шляпы, с красивым плащом на плечах — и мой нелепый костюм заставляли думать, что я или шарлатан, или астролог.

Проехав таможенную, гондольеры принялись энергично грести по каналу Джудекка, по которому необходимо проплыть, отправляясь в Фузино или Местре, куда я в действительности хотел попасть. Когда мы очутились на середине канала, я высунул голову и спросил:

— За сколько мы доберемся до Местре?

— Вы сказали мне ехать в Фузино.

— Не ври: я велел ехать в Местре.

Второй гондольер поддержал первого, и монах, ревностный христианин и друг истины, повторял, что я не прав. Мне хотелось поколотить его, но подумав, что не всякий обладает здравым смыслом, я расхохотался, согласившись, что ошибся, но прибавил, что моим намерением было ехать в Местре. Мне не отвечали, а спустя минуту гондольер сказал мне, что готов свезти меня даже в Англию, если я пожелаю.

— Прекрасно! Направляйся в Местре.

— Мы будем там через три четверти часа: у нас попутный ветер.

Весьма довольный этим обстоятельством, я посмотрел на канал позади гондолы и нашел его более красивым, чем когда-либо: поблизости не было видно ни одной лодки. Утро было чудесное, мои два молодых гондольера гребли легко и сильно. Вспомнив об ужасной ночи, об опасностях, которые удалось избежать, бла-месте, где находился еще накануне, о всех случайностях, благоприятствовавших мне, о свободе, которой я начинал пользоваться, я так сильно разволновался, что, полный благодарности к небу, не мог удержаться и зарыдал.

Мой милейший товарищ, сидевший молча, счел своей обязанностью утешить меня. Он ошибался в причине моих слез: способ, который он употребил для этого, заставил меня перейти от рыданий к неудержимому хохоту, и он подумал, что я сошел с ума. Этот монах, как я уже говорил, был страшно глуп, и все его недостатки происходили от глупости. Мне он был нужен, хотя, пусть и без злого умысла, он чуть не погубил меня. Я никак не мог его убедить, что приказывал гондольерам ехать в Фузино, хотя на самом деле намеревался попасть в Местре: он

продолжал утверждать, что эта мысль пришла мне в голову только тогда, когда мы уже плыли по каналу.

Вскоре мы приехали в Местре, на материк. На почте я не нашел лошадей, но нам встретились крестьяне, и я нанял одного, чтобы он отвез нас в Тревизо и сумел уложиться в пять часов. Минуты через три лошади были готовы, и, полагая, что Бальби находится позади меня, я сказал ему:

— Пора садиться.

Но рядом со мной его не оказалось. Я велел работнику пойти за ним, решив хорошенько выругать монаха, ибо нам нельзя было мешкать. Работник вернулся и сказал, что моего спутника нигде нет. Я был в бешенстве и даже захотел бросить его на произвол судьбы, но чувство гуманности удержало меня от этого.

Тогда я сам направился искать Бальби: все его видели, но никто не мог сказать, куда он пропал. Я направился к аркадам большой улицы и, заглянув случайно в окно одного трактира, увидел этого несчастного за стойкой, попивающего шоколад и любезничающего с какой-то девчонкой. Он меня увидел, показал мне на девчонку, сказав, что она недурна, и предложил мне выпить чашку шоколада и заплатить за его шоколад, поскольку у него нет денег. От шоколада я отказался, заплатил за него и так сильно сжал его руку, что он побледнел от боли. Затем я повел его на выход, весь дрожа от злости.

Лишь только мы сели в повозку и тронулись в путь, как вдруг я встретил одного жителя Местре по имени Томази, доброго малого, но находившегося в близких отношениях с республиканской инквизицией. Он меня знал и, подойдя, воскликнул:

— Как, вы здесь?! Рад вас видеть. Вы, значит, освободились? Каким образом?

— Я не бежал, меня отпустили.

— Это невозможно: только вчера я был у Гримани и знал бы об этом.

Легко понять мое состояние в эту минуту. Я видел, что был накрыт человеком, который, я был уверен, должен меня арестовать: для этого ему стоило только кивнуть первому встречному сбиру, а их в Местре видимо-невидимо. Я попросил его говорить тише и, сойдя с повозки, отвел его в сторону. Остановившись позади дома, где никого не было, возле рва, за которым начиналось поле, я вытащил свой кинжал и схватил его за шиворот. Поняв мои намерения, он вырвался из моих рук, перескочил через ров и без оглядки побежал. Удалившись на некоторое расстояние, Томази остановился и послал мне воздушный поцелуй, как бы желая мне доброго пути.

Положение было ужасно. Я был один в борьбе со всеми силами республики и должен был всем пожертвовать, лишь бы достигнуть задуманной цели.

С видом человека, только что избежавшего страшной опасности, я сел в повозку и задумался о способе избавиться от своего неудобного товарища, который не смел и заговорить. Мы приехали в Тревизо без приключений. Я сказал работнику, чтобы

лошади были готовы к обеду, но почтой ехать не собирался: во-первых, у меня для этого не было достаточно денег, во-вторых, я боялся преследования. Хозяин постоялого двора спросил меня, не хочу ли я завтракать; я изнывал от голода, но поесть не решился: из-за четверти часа все могло быть потеряно.

Мы вышли как бы прогуливаясь через ворота св. Фомы и, пройдя около мили по большой дороге, бросились в поле, решив не выходить на дорогу, до тех пор пока будем находиться в пределах республики. Короче всего было направиться на Бассано, но я выбрал более длинную дорогу, так как нас могли стеречь на ближайшем пункте границы, и мы направились к Фельтро.

Пройдя часа три, я присел на траву, не имея сил идти дальше и определенно нуждаясь в пище. Я велел монаху оставить плащ и отправиться за какой-нибудь пищей на ферму, виднеющуюся неподалеку. Он отправился, сказав, что считал меня выносливее. Хотя ферма и не была постоялым двором, фермерша прислала с работницей вполне приличный обед за весьма умеренную плату. Поев, я почувствовал, что меня клонит ко сну, и поспешил продолжить путь. После четырех часов ходьбы мы остановились у какой-то хижины и узнали, что находимся в двадцати четырех милях от Тревизо. Присев у дерева, я сказал монаху следующее:

— Мы пойдем в Борго — это ближайший город на той стороне границы. Там мы будем в такой же безопасности, как в Лондоне. Но чтобы добраться туда, нам нужно расстаться. Вы пойдете лесами в Мантелло, я пойду по горам; вы — по легкой и безопасной дороге, я — по трудной и длинной; вы — при деньгах, я — без гроша. Я дарю вам мой плащ, который вы обменяете на кафтан и шляпу, и вас будут принимать за крестьянина. Вот все мои деньги, оставшиеся от двух цехинов графа Аскино, берите их. В Борго вы будете послезавтра вечером, а я — спустя сутки. Вы подождете меня на первом постоялом дворе по правую сторону. Сегодня ночью мне необходимо выспаться хоть в какой-нибудь кровати: благодаря провидению я, может быть, достигну этого. Уверен, что нас повсюду ищут. Вы видите, в каком печальном состоянии я нахожусь и как мне необходим отдых. Отправляйтесь же.

— Я выслушал все, что вы сказали, — отвечал Бальби. — Но я напомню вам то, что вы мне обещали, когда я решился бежать с вами. Вы обещали не расставаться со мной; поэтому не надейтесь, что я оставлю вас: ваша судьба будет моей судьбой.

— Итак, вы решили не следовать моему совету?

— Да.

— Посмотрим.

Я с усилием встал, смерил его рост и начал совершенно хладнокровно, не отвечая на его вопросы, копать своим кинжалом яму. Спустя четверть часа я печально посмотрел на него и сказал, что как христианин считаю своим долгом предупредить его о необходимости помолиться.

— Ибо я вынужден, — прибавил я, — похоронить вас здесь

живым
меня п
однако
Вид
призна
от него
намере
— Х
Я о
найти е
через д
от обще
это нав

И
я был л
на что,
потому,
где прове
потому,
другой го
нужды, л
Париж
там два го
и наслажд
мне свое
обходиться
с ее любви
же я знал
чувствуещ

Для то
пустить в
не пренебр
не должен
зависеть. Д
того, что
заться от
надевать м
поведении
цию, плоди
Что же
отношении
пенсию в с
меня добры

живым или мертвым; а если вы окажетесь сильнее меня, то вы меня похороните. Вот к чему вы меня принуждаете. Вы можете, однако, бежать, так как я не стану ловить вас.

Видя, что он не отвечает, я снова принялся за работу, но, признаюсь, уже начинал терять терпение и решился отделаться от него. Наконец он бросился на меня, но, догадываясь о его намерениях, я подставил свой кинжал.

— Хорошо, — сказал монах, — я сделаю все, что вы желаете.

Я обнял его, отдал ему все деньги и повторил свое обещание найти его в Борго. Без гроша в кармане, вынужденный переправиться через две реки, я радовался, тем не менее, тому, что освобождаюсь от общества человека с таким дурным характером. Один — я знал это наверняка — я достигну границы моей милой республики.

В Париже

Итак, я снова в Париже, в этом единственном в мире городе, который я вынужден считать своим отечеством, так как я был лишен возможности жить там, где родился. Несмотря ни на что, я все-таки любил свое неблагодарное отечество: то ли потому, что чувствовал какую-то нежную привязанность к месту, где провел молодые годы и получил первые впечатления; то ли потому, что Венеция действительно так обаятельна, как никакой другой город в мире. А этот огромный Париж есть место либо нужды, либо счастья, в зависимости от того, как себя поставишь.

Париж не был мне совершенно неизвестен: когда-то я прожил там два года, но тогда у меня была лишь одна цель — веселиться и наслаждаться. Фортуна, за которой я не ухаживал, не открыла мне своего святилища, но теперь я чувствовал, что должен обходиться с ней более почтительно: мне нужно было сблизиться с ее любимцами, которых она осыпала своими дарами. К тому же я знал, что чем более приближаешься к солнцу, тем сильнее чувствуешь благодетельное действие его лучей.

Для того чтобы чего-либо достичь, мне необходимо было пустить в ход все свои физические и умственные способности и не пренебрегать знакомством с великими мира сего. Я никогда не должен теряться и всегда одеваться в цвета тех, от кого буду зависеть. Для осуществления этого плана требовалось избегать того, что в Париже называют неприличным обществом, отказываться от всех старых привычек и претензий, способных наделать мне врагов. “Я буду, — сказал я себе, — скромн в поведении и речах, и таким образом приобрету добрую репутацию, плоды которой соберу в изобилии”.

Что же касается моих сегодняшних потребностей, то в этом отношении я был спокоен, ибо мог рассчитывать на месячную пенсию в сто экую, которую мне будет высылать усыновивший меня добрый и великодушный Бригадин: этой суммы будет

достаточно на первое время, потому что в Париже, если умеешь ограничивать себя, можно жить на малые средства очень прилично. Главное быть хорошо одетым и иметь приличную квартиру, поскольку в больших городах внешность важнее всего, — по ней всегда судят о человеке. Но в настоящий момент, откровенно говоря, у меня не было ни платья, ни белья — одним словом, ничего.

В Венеции я находился в дружеских отношениях с французским посланником; понятно, что первой моей мыслью было обратиться к нему. Он тогда был в фаворе, а я знал его настолько хорошо, что мог на него рассчитывать.

Швейцар — я знал это наверняка — ответит мне, что монсьеур занят, и поэтому я достал рекомендательное письмо и отправился в Бурбонский дворец. Швейцар взял мое письмо, и я, оставив ему свой адрес, уехал.

В ожидании ответа мне пришлось рассказывать о своем побеге из "Пьомби" везде, где я бывал. В конце концов это превратилось в такое мучение, каким был и мой побег, ибо на рассказ требовалось часа два даже без всяких прикрас, но мое положение заставляло меня быть сговорчивым и любезным.

Я обедал у Сильвии и радовался знакам дружбы, мне оказываемым. У нее была дочь, девушка лет пятнадцати: я был восхищен не только ее красотой, но и ее душевными качествами. Я хвалил ее в присутствии матери, воспитавшей ее, и вовсе не думал оберегать себя от действия ее красоты. А ведь совсем недавно я принимал такие серьезные решения! К тому же я был в таком положении, что думать о победах было бы нелепостью.

Я уехал рано, сгорая нетерпением узнать, что мне ответил министр. Он не заставил себя ждать: в восемь часов я получил записку, где он назначал мне свидание на два часа. Понятно, что я не опоздал, и был принят весьма любезно. Господин де Берни выразил свое удовольствие по поводу моей победы над инквизицией и готовность быть мне полезным. Он мне сказал, что М. М. писала ему о моем побеге: она льстила себя надеждой, что первый мой визит в Париже, куда я, конечно, приеду, будет к нему.

Берни показал мне письмо М. М., но ее рассказ был далеко не верен. Это было понятно: она писала по слухам, а потому ей было трудно получить точное представление о моем побеге. Я сказал Берни, что рассказ о побеге ложен, и поэтому я позволю себе написать ему и рассказать все как было. Он очень обрадовался этому, обещая переслать М. М. копию моего рассказа, и, положив мне в руку самым милым образом сто лун, сказал, что подумает обо мне и пошлет за мною, как только будет нужно.

Имея деньги в кармане, я позаботился о своем туалете; купив все необходимое, я сел за работу и спустя неделю послал моему покровителю свою историю, обещая сделать столько копий, сколько он пожелает.

Вскоре министр послал за мной и сообщил, что говорил обо мне с господином Эриццо, венецианским посланником, и тот пообещал ему, что не будет мне вредить, но, не желая ссориться с инквизицией, не примет меня. Вовсе не нуждаясь в посланнике, я не опечалился его ответом. Затем Берни сказал, что дал

почитати
предста
— В
Берни,
рально
при неко
полезны
ны, избе
не будет
Я ост
но с ужа
чения к
финанса
к новым
К Шу
в Париж
сам он од
что неско
Но во вр
весьма со
раз погл
были за
манеру п
человеко
Берни ра
— Ск
— Мо
на это п
— Ра
— Ка
— По
— Но
— Пу
без ущер
— Из
меня в "I
сумел про
ностями,
на площа
которой д
а затем в
— Но
— Мо
по крайн
1764) — Ма
важная бол
Франции в
жала победу

почитать историю моего побега госпоже Помпадур*, и обещал представить меня ей при первой возможности.

— Вы можете явиться, мой дорогой Казанова,— прибавил Берни,— к господину Шуазелю и господину де Булоню, генеральному контролеру финансов — вас хорошо примут; де Булонь, при некоторой ловкости с вашей стороны, может оказаться вам полезным. Придумайте что-нибудь нужное для королевской казны, избегая усложнений и химер, и если то, что вы напишете, не будет слишком длинно, я выскажу вам свое мнение.

Я оставил министра в весьма хорошем расположении духа, но с ужасом спрашивал себя, что я могу придумать для увеличения королевских доходов. Я не имел никакого понятия о финансах, и как ни ломал себе голову, всегда приходил лишь к новым налогам — средству нелепому и негодному.

К Шуазелю я отправился сразу, как только узнал, что он приехал в Париж. Принял он меня в тот момент, когда лакей одевал его, а сам он одновременно что-то писал. Шуазель был настолько любезен, что несколько раз прерывал свое занятие и задавал мне вопросы. Но во время моего ответа он снова принимался писать, так что я весьма сомневаюсь, слушал ли он меня. Из того, что он несколько раз поглядывал на меня, было видно, что его глаза и его мысли были заняты разными предметами. Несмотря на эту странную манеру принимать посетителей господин Шуазель казался умным человеком. Окончив письмо, он сказал мне по-итальянски, что Берни рассказал ему часть моей истории, и затем прибавил:

— Скажите мне, как вы сумели бежать?

— Монсиньор,— отвечал я,— рассказ будет слишком длинным: на это потребуются по крайней мере два часа.

— Расскажите мне вкратце.

— Как бы краток я ни был, два часа все равно потребуется.

— Подробности оставьте на следующий раз.

— Но в этой истории интересны именно детали.

— Пустяки. При желании вы сможете укоротить свой рассказ без ущерба для него.

— Извольте. Итак, я начну с того, что инквизиторы заключили меня в “Пьомби”; спустя пятнадцать месяцев и пятнадцать дней я сумел продырявить крышу и через слуховое окно, с большими трудностями, спустился в канцелярию; там я выломал двери, спустился на площадь св. Марка, откуда направился в порт, сел в гондолу, на которой добрался до твердой земли; я направил свои стопы в Берлин, а затем в Париж, где и имею честь представиться вашей светлости.

— Но... что такое “Пьомби”?

— Монсиньор, чтобы ответить на ваш вопрос, мне понадобится по крайней мере четверть часа.

* Маркиза де Помпамдур (собств.— Жанна Антуанетта Пуассон, 1721—1764) — фаворитка французского короля Людовика XV (1710—1774), оказывавшая большое влияние на государственные дела. Способствовала вовлечению Франции в Семилетнюю войну 1756—1763 гг., в которой Великобритания одержала победу над Францией в борьбе за колониальное и торговое первенство.

— Каким образом вы продырявили крышу?
— На ответ потребуется полчаса.
— За что заключили вас?
— Рассказ об этом будет слишком долг, монсиньор.
— Я думаю, вы правы. Весь интерес истории — в ее подробности.

— Именно об этом я и говорил вашей светлости.
— Мне необходимо ехать в Версаль; но вы сделаете мне приятное, если будете навещать меня по временам. А пока подумайте, господин Казанова, чем я могу быть вам полезен.

Приемом Шуазеля я был почти шокирован, но конец нашего разговора и, в особенности, его последние слова примирили меня с ним; я оставил его если и не совсем довольный, то, во всяком случае, без досады.

От него я отправился к господину де Булоню, человеку, как вскоре это выяснилось, совершенно иного склада. Он принял меня очень любезно и начал с того, что Берни расхвалил меня и мои познания в финансах. Я чувствовал, что этот комплимент был явно не по адресу, и чуть не расхохотался. Мой добрый гений заставил меня остаться серьезным.

Де Булонь был в обществе старца с печатью гения на лице, который внушал мне почтение.

— Сообщите мне о ваших соображениях, — сказал мне генеральный контролер, — лично или письменно. Думаю, вы найдете во мне человека, готового поощрить ваши идеи. Вот господин Пари де Вернэ нуждается в двадцати миллионах для военной школы. Дело заключается в том, чтобы найти эту сумму, не обременяя государство и не опустошая казну.

— Только Бог имеет дар творчества.

— Я не Бог, — отвечал мне Вернэ, — однако по временам и мне случалось творить, но с тех пор многое изменилось.

— Да, — согласился я, — жизнь становится все труднее и труднее — мне это известно. Но несмотря на все трудности я хочу предложить одну операцию, которая принесет королю сто миллионов.

— А во что это обойдется королю?

— Это ничего не будет стоить, за исключением издержек по сбору.

— Значит, эту сумму даст народ?

— Конечно, причем добровольно.

— Я знаю, что вы имете в виду.

— Это удивило бы меня, потому что своей идеей я ни с кем не делился.

— Если вам нечего делать, то окажите мне честь отобедать завтра у меня; я покажу вам проект, который нахожу прекрасным и в то же время вызывающим массу трудностей. Его мы и обсудим. Приедете?

— Буду иметь честь.

— Прекрасно: буду вас ждать в Плезансе.

После его ухода де Булонь очень хвалил талант и честность старца. Это был брат Монмартеля, о котором подпольная летопись

сообщала, что
свое время
Покинув
Тюильрийск
ваемой судь
лионах; я х
лейшего по
опытный в д
что мой про
роятное, но
"Если Ве
то сильно о
решу, что м
от обстоятел
и скажу что
инственно м
эффект. В л
она хочет б
Аббат Бе
только для
бы не прин
необходимы
нечего: взял
самоуверенн
На следу
де Вернэ, в
И вот я
пропасти, на
благодаря "с
камином в о
меня как др
тролера. Зат
титуты, и я
финансов. П
Гарпократ
я так внима
Разговор
Сене, покр
давней смер
Лоу,
прихождении
на выпуске в
биржевой ажи
сам же он был
Гарпо
ребенка
Фонте
ученый-полу
учение Коперни

сообщала, что он является отцом госпожи Помпадур, так как в свое время был любовником госпожи Пуассон.

Покинув генерального контролера, я решил прогуляться в Тюильрийском саду, размышляя о странной случайности, называемой судьбой. Мне говорят, что нуждаются в двадцати миллионах; я хвастаюсь, что могу найти все сто, не имея ни малейшего понятия о том, как это сделать, и человек известный, опытный в делах, приглашает меня на обед, чтобы убедить в том, что мой проект ему известен! Тут было что-то странное и невероятное, но отвечавшее моей манере действовать и чувствовать.

“Если Вернэ думает, что я проговорюсь, — говорил я себе, — то сильно ошибается. Когда он сообщит мне свой план, я сам решу, что мне отвечать, угадал он или ошибся: все будет зависеть от обстоятельств. Если дело будет мне понятно, я, может быть, и скажу что-нибудь новос; если ничего не пойму, то буду таинственно молчать, а молчание иногда производит значительный эффект. В любом случае я не буду отталкивать Фортуны, если она хочет быть полезной мне”.

Аббат Берни представил меня де Булоню как финансиста только для того, чтобы я имел доступ к контролеру, иначе он бы не принял меня. Мне было досадно, что я не знаю даже необходимых терминов, а этим многие блистают. Но делать было нечего: взялся за гуж — не говори, что не дюж. Чего-чего, а самоуверенности у меня было предостаточно.

На следующий день я сел в наемную карету и поехал к де Вернэ, в Плезанс, находящийся в окрестностях Венсенна.

И вот я у дверей великого человека, спасшего Францию от пропасти, на краю которой она находилась лет сороск тому назад благодаря “системе Лоу”*. Когда я вошел, де Вернэ сидел перед камином в обществе семи или восьми лиц, которым он представил меня как друга министра иностранных дел и генерального контролера. Затем он представил мне каждого из них, называя их титулы, и я заметил, что среди них было четыре интенданта финансов. Поклонившись каждому из них, я посвятил себя культу Гарпократа** и весь превратился в слух, не подавая виду, что я так внимательно их слушал.

Разговор, однако, был не особенно интересен: говорили о Сене, покрывшейся очень толстым льдом; затем коснулись недавней смерти Фонтенеля***; наконец, сказали несколько слов

* Лоу, Джон (1671—1729) — французский финансист, шотландец по происхождению, генеральный контролер финансов. “Система Лоу”, основанная на выпуске в обращение необеспеченных банкнот и вызвавшая неслыханный биржевой ажиотаж и спекуляцию, привела в 1720 году банк Лоу к банкротству. сам же он был вынужден бежать из Франции.

** Гарпократ — в древнегреческой мифологии бог молчания. Изображался в виде ребенка, держащего палец у рта.

*** Фонтенель, Бернар Ле Бовье де (1657—1757) — французский писатель и ученый-популяризатор, изложивший в “Беседах о множественности миров” учение Коперника.

о войне, расхвалив Субиза, которого король назначил главнокомандующим, и перешли к затратам, необходимым для ведения войны, и поискам источников покрытия этих затрат.

Я слушал и скучал, поскольку их речи были так переполнены техническими терминами, что я не мог уследить за ходом их мыслей. Если молчанием можно завоевать уважение, то мое упорство в молчании должно было убедить этих господ в том, что я являюсь важным лицом. Наконец в ту минуту, когда меня начала одолевать зевота, подали обед, и я еще в течение полутора часов упорно молчал, уписывая изысканные блюда.

Сразу же после десерта Верно пригласил меня в соседнюю комнату, оставив всех остальных за столом. Я последовал за ним в зал, где уже находился мужчина лет пятидесяти, и мы вместе прошли в кабинет. Там Верно представил мне Кальзабиджи — так звали незнакомца. Через минуту вошли два интенданта финансов, и Верно, любезно улыбаясь, показал мне тетрадь in folio и произнес:

— Господин Казанова, вот ваш проект.

Я взял тетрадь и прочел: "Лотерея в девяносто билетов, выигрыши которых, выходящие раз в месяц, могут падать только на пять номеров". Возвратив ему тетрадь, я сказал с величайшей самоуверенностью:

— Вынужден признать, что вы не ошиблись.

— Должен предупредить вас, что проект принадлежит господину Кальзабиджи, здесь присутствующему.

— Очень рад, но не тому, что предупрежден, а тому, что познакомился с господином Кальзабиджи. Однако если проект не приняли, то осмелюсь спросить, почему?

— Проект вызвал много возражений, на которые не нашлось убедительных ответов.

— Я вижу лишь одно затруднение, — сказал я хладнокровно. — Король не позволит своему народу играть.

— Это затруднение не идет в счет: король позволит играть своим подданным сколько им угодно, но они-то сами захотят ли играть?

— Удивляюсь, что можно в этом сомневаться: они будут играть, если будут уверены, что выигравшие получают деньги.

— Предположим, они станут играть, когда вполне убедятся, что касса существует. Но откуда взять фонды?

— Фонды? Нет ничего проще. Королевская казна, декрет совета. Народ должен быть уверен в том, что король в состоянии заплатить сто миллионов.

— Сто миллионов?

— Конечно. Нужно же ослепить.

— Но для того чтобы убедить Францию в том, что король может заплатить сто миллионов, необходимо предположить, что он может их потерять, а допускаете ли вы это?

— Конечно, допускаю. Но это произойдет не ранее, чем сбор достигнет ста пятидесяти миллионов, а в этом случае потеря невелика. Зная силу политических расчетов, вы не можете не согласиться с этим.

— Да, но
что в первый
— Соглас
лежит целая
величайшим
королем на п
— Как?!
— Несчаст
приложима и
общества бог
математикам,
В этом весь
матическим д
— Не спор
поручиться, ч
— Ни Каст
гарантию, что
лотереи гаран
этом случае п
— Захотит
— С удово
— А сумею
— Смею н
— Не пока
— Я его вр
его, а мне бу
— Но веде
— Сомнева
жизни, и, пос
трудно предп
К тому же в
должен выигра
— Следова
шеству, котор
— Ни в ко
— Почему
— А вот
наличии у нас
иметь дело с
чить свои дохо
привело бы к
— Не пони
— По мно
следующий раз
должна быть
во все существ
— Господи
— Очень
тщательно взв
— Есть ли у

— Да, но я один ничего не решаю. Итак, вы согласны с тем, что в первый же тираж король может потерять огромную сумму?

— Согласен, но между возможностью и действительностью лежит целая бесконечность, и я бы осмелился уверить вас, что величайшим счастьем для полного успеха лотереи была бы потеря королем на первый раз изрядной суммы.

— Как?! Но ведь это будет большим несчастьем!

— Несчастьем желательным. Теория вероятности может быть приложима и к области духовной. Вы знаете, что все страховые общества богаты. Я готов доказать вам и всем европейским математикам, что король в любом случае останется в выигрыше. В этом весь секрет. Согласитесь, разум должен уступить математическим доказательствам.

— Не спорю. Но скажите мне, почему Кастелетто не может поручиться, что прибыль короля несомненна?

— Ни Кастелетто, ни кто другой в мире не может дать полную гарантию, что король всегда будет выигрывать. Поэтому честность лотереи гарантируется установлением тиража раз в месяц, ибо в этом случае публика будет уверена, что банк может проиграть.

— Захотите ли вы объяснить все это совету?

— С удовольствием.

— А сумеете ответить на все возражения?

— Смею надеяться.

— Не покажете ли вы мне свой план?

— Я его вручу вам только тогда, когда будет решение принять его, а мне будет гарантирован известный доход.

— Но ведь ваш план ничем не отличается от этого.

— Сомневаюсь. Я вижу господина Кальзабиджи в первый раз жизни, и, поскольку мы не показывали друг другу свои планы, трудно предположить, что мы сойдемся с ним по всем пунктам. К тому же в своем плане я устанавливаю вообще, что король должен выиграть в течение года, и доказываю это математически.

— Следовательно, предприятие можно было бы отдать товариществу, которое обязется платить королю определенную сумму?

— Ни в коем случае.

— Почему?

— А вот почему. Лотерея может процветать только при наличии у населения предрассудков. Я, например, не хотел бы иметь дело с обществом, способным, вследствие желания увеличить свои доходы, к расширению круга операций, что неминуемо привело бы к снижению популярности лотереи.

— Не понимаю, почему.

— По многим причинам, которые я готов перечислить вам в следующий раз, и, уверен, я сумею убедить вас. Наконец, лотерея должна быть или королевским учреждением, или не должна вообще существовать.

— Господин Кальзабиджи согласен с вами.

— Очень рад, но несколько не удивляюсь этому, ибо, все тщательно взвесив, он должен был придти к тому же результату.

— Есть ли у вас на примете подходящие лица для управления лотереей?

— Для этого нужны только хорошие машины, а в этом во Франции недостатка нет.

— На какую прибыль вы рассчитываете?

— Двадцать на сто каждый месяц. Я обещаю, что, *ceteris paribus**, народ будет платить монарху по меньшей мере пятьсот тысяч ливров ежемесячно. Я готов доказать это совету, но при условии, что он будет состоять из таких лиц, которые, признав истину, основанную на физическом или политическом расчете, не будут придирааться и обратят свое внимание прямо на цель.

Я действительно чувствовал себя в состоянии сдержать слово, и это внутреннее чувство было мне приятно. Я вышел на минуту, а когда вернулся, то нашел этих господ очень серьезно обсуждающими проект.

Кальзабиджи подошел ко мне и спросил, допускаю ли я в плане кватерну.

— Публика, — отвечал я, — должна иметь полную свободу играть даже на квинтерну, и в моем плане ставки выше обычных, так как игроки смогут ставить на терну, кватерну и квинтерну**.

— Во Франции есть хорошие математики, и если они не найдут выигрыш равным во всех шансах, то войдут между собой в сговор.

Кальзабиджи дружески пожал мне руку, сказав, что желал бы найти возможность поговорить со мной более обстоятельно. И я, в свою очередь, высказал желание поближе с ним познакомиться. Затем, оставив свой адрес господину де Вернэ, я простился с обществом, довольный тем, что произвел благоприятное впечатление на присутствующих.

Спустя три дня Кальзабиджи приехал ко мне, и я принял его самым любезным образом, уверяя, что если до сих пор не побывал у него, то только из боязни обеспокоить. Ответив мне такими же любезностями, Кальзабиджи сказал, что всех присутствующих у Вернэ господ поразила моя уверенность.

— Несомненно, — продолжил он, — что если вы примкнете к генеральному контролеру, то мы сможем устроить лотерею с большой для нас выгодой.

— Я уверен в этом, — отвечал я, — но их выгода будет больше, чем мы предполагаем, а между тем эти господа не особенно спешат. Они не посылали еще за мной, но, впрочем, это их дело.

— Вероятно, вы услышите о них уже сегодня; я знаю, что де Булонь говорил о вас господину де Куртейлю.

— Прекрасно. Но, уверяю вас, я не просил его об этом.

* При прочих равных (условиях). *Лат.*

** Речь идет об условиях распространенной в XVIII веке числовой лотереи (лотто), при которой из определенного числа номеров, обычно от 1 до 90, игрок выбирает один или несколько, как правило, не больше пяти, и ставит на них определенную сумму денег. Ставят или просто на то, что один из пяти номеров выиграет (простая ставка), или выиграет два (амбэ), три (терна), четыре (кватерна), или все пять (квинтерна). При ставке с определенным порядком выигрышных номеров вероятность выигрыша минимальна.

Побеседовав со мной еще несколько минут, Кальзабиджи самым дружеским образом попросил меня пообедать с ним, и я согласился. Но в ту минуту, когда мы уже собирались выйти, мне подали записку от Берни, в которой этот любезный аббат сообщал, что если завтра я отправлюсь в Версаль, то он представит меня госпоже Помпадур, и там я увижу де Булоня. Обрадовавшись представленному случаю, — не столько из тщеславия, сколько из политических соображений — я показал записку Кальзабиджи и с удовлетворением отметил, что он чрезвычайно радовался, читая ее.

— У вас есть все, — сказал он, — чтобы заставить даже де Вернэ принять вашу лотерею. Вы сколотите состояние, если, конечно, вы не настолько богаты, чтобы презирать деньги.

— Никто не бывает настолько богат, чтобы презирать деньги; в особенности, если они даются не из милости.

— Великая мысль! Что же касается нас, то вот уже два года, как мы хлопочем об этом проекте, и все это время нам отвечают глупыми возражениями, которые вы сразу сокрушили. Однако ваш проект не может многим отличаться от моего. Давайте заключим союз: поверьте мне, в одиночку вам будет очень трудно, а умные машины, нужные вам, не найдутся в Париже. Мой брат возьмет на себя всю черную работу, а вы воспользуетесь только преимуществами директорства, продолжая жить светской жизнью.

— Я не особенно корыстолюбив, так что относительно дележа прибылей затруднений не будет. Но разве не вы автор плана?

— План принадлежит моему младшему брату.

— Буду ли я иметь честь его видеть?

— Конечно. Он болен телом, но духом здоров. Мы его сейчас увидим.

Приехав к брату, я увидел человека не очень привлекательного: он был покрыт чем-то вроде проказы, но это не мешало ему ни хорошо есть, ни писать. Брат хорошо говорил и был весел. Он никому не показывался, поскольку болезнь изуродовала его и по временам он чувствовал непреодолимое желание почесывать свое тело то в одном, то в другом месте. А так как в Париже почесываться считается неприличным, то он предпочитал пускать в ход свои ногти в уединении. Брат был холост, любил математику, считался знатоком финансов, знал прекрасно историю, к тому же был поэтом, остроумным человеком и большим другом женщин. Родом он был из Ливорно, служил одно время при министерстве в Неаполе. Его старший брат, конечно, был также талантлив и сведущ, но не был так блестящ.

Кальзабиджи-младший показал мне множество рукописей, где вопрос лотереи был разработан весьма обстоятельно.

— Я полагаю, — сказал он мне, — вы заблуждаетесь, если думаете, что можете обойтись без меня. Если вы не знакомы с делом на практике и не имаете под рукой опытных людей, то вся ваша теория ни на что не сойдется. Что вы станете делать, когда получите декрет? А когда вы будете говорить в совете, я

бы порекомендовал вам определить им срок, долее которого вы будете освобождены от всякой ответственности, то есть вы запугаете их вашим уходом. Без этого вы непременно натолкнетесь на людей, которые вечно будут водить вас за нос. С другой стороны, я могу вас уверить, что наш с вами союз будет очень приятен де Вернэ.

Весьма расположенный к союзу с этими господами, ибо без них я все равно не мог обойтись, но не думая показывать им это, я вышел с Кальзабиджи-старшим, который до обеда хотел познакомить меня со своей женой. У этой дамы я встретил очень популярную в Париже старуху по имени Ламот, известную своей былой красотой и лечебными каплями; другую пожилую женщину, которую в Париже называли баронессой Бланкой, любовницу господина де Во; третью, по прозвищу "госпожа-президентша", и, наконец, четвертую, очень красивую женщину по имени Раццети, жену скрипача из Оперы, за которой, как говорили, ухаживал господин де Фонпертюи.

Мы сели за стол, но я был не в ударе, потому что лотерея поглощала меня всего. Вечером, у Сильвии, я казался рассеянным и озабоченным, несмотря на нежное чувство, внушаемое мне дочерью Сильвии, молодой Балетти,— чувство, приобретающее с каждым днем новую силу.

На другой день я отправился в Версаль. Берни принял меня очень любезно, заявив, что без него я бы и не подозревал в себе существование великого финансиста.

— Господин де Булонь сказал мне, что вы удивили де Вернэ, который считается умнейшим человеком во Франции. Я вам советую не пренебрегать знакомством с ним. К тому же я могу вас уверить, что лотерея будет устроена, и этим мы будем обязаны вам, а вы должны воспользоваться ее плодами... Когда король отправится на охоту, находитесь в малых апартаментах дворца; выждав удобную минуту, я представлю вас этой знаменитой маркизе. После этого не забудьте отправиться в министерство иностранных дел и явиться от моего имени к аббату де ла Вилль. Он главный чиновник, и примет вас отлично.

В полдень госпожа Помпадур вошла в малые апартаменты с принцем де Субизом, и мой покровитель обратил ее внимание на меня. Подойдя ко мне, маркиза сказала, что моя история ее очень заинтересовала.

— Господа инквизиторы,— добавила она,— очень суровы. Посещаете ли вы венецианского посланника?

— Самый высокий знак уважения, который я могу ему оказать, заключается в том, чтобы не посещать его.

— Надеюсь, теперь вы поселитесь среди нас?

— Это было бы величайшим счастьем для меня, но я нуждаюсь в покровительстве, а между тем знаю, что покровительство здесь оказывается только таланту. Это приводит меня в смущение.

— Напротив, я думаю, что вы можете рассчитывать на многое, ибо у вас есть хорошие друзья. Я сама с удовольствием воспользуюсь случаем быть вам полезной.

При этих словах
пролетел лишь неслыш
Возвратившись к се
просил меня приехать
в военную школу.
Ранним утром след
мне рукопись, заклю
Это был расчет вероят
я лишь намекнул. Суд
этот расчет спасал
силами, я, выслушав с
школу, где сразу, как
бера* просили присут
не пригласили, если
другие, по мнению ко
Конференция длилась
После моей речи, г
дин Куртейль резюми
часа я без особого тру
частности, что если
находить выражения
жения многих отноше
наково как к нравстве
скому расчету. Я убе
не было бы процветаю
конференции я почувс
На следующий ден
новостью, что дело при
— Я очень рад ус
масто, как только буд
Вернэ.

Читатель поймет, ч
что для великих мира
предложили шесть б
принять. Кроме того, м
из доходов лотереи. Эт
и этот капитал я мог
Декрет совета по
заверили Кальзабидж
тысячи ливров и пан
ежные Кальзабиджи,
жу, поскольку хоро
Из шести своих б
лиров каждое, а шес
там своего лакея в ка
смишленный итальян
политанского послан
Д'Аламбер, Жан
и философ-прос

При этих словах прекрасная маркиза собралась уходить, и я пролепетал лишь несколько слов в благодарность.

Возвратившись к себе, я нашел записку от де Вернэ, который просил меня приехать на следующий день, часов в одиннадцать, в военную школу.

Ранним утром следующего дня явился Кальзабиджи и вручил мне рукопись, заключающую математический проект лотереи. Это был расчет вероятностей, в котором доказывалось то, на что я лишь намекнул. Судьба, казалось, улыбалась мне, поскольку этот расчет спасал мой план. Решившись защищаться всеми силами, я, выслушав советы Кальзабиджи, отправился в военную школу, где сразу, как только я появился, открылся совет. Д'Аламбера* просили присутствовать как всликого математика. Его бы не пригласили, если бы де Вернэ распоряжался один, но были другие, по мнению которых его присутствие было необходимо. Конференция длилась три часа.

После моей речи, продолжавшейся не более получаса, господин Куртейль резюмировал то, о чем я говорил. Затем в течение часа я без особого труда отвечал на все возражения, заявив, в частности, что если искусство расчета есть вообще искусство находить выражения одного отношения, вытекающего из выражения многих отношений, то это определение применяется одинаково как к нравственным рассуждениям, так и к математическому расчету. Я убедил их, что без этой уверенности в мире не было бы процветающих и богатых страховых обществ. К концу конференции я почувствовал, что мое дело выиграно.

На следующий день ко мне явился Кальзабиджи с приятной новостью, что дело принято и остается лишь обнародовать декрет.

— Я очень рад успеху, — сказал я ему. — Обещаю дать вам место, как только буду знать, какую роль предназначает мне де Вернэ.

Читатель поймет, что я не забыл разных ходов, так как знал, что для великих мира сего обещать не значит исполнять. Мне предложили шесть бюро по сбору ставок, и я поспешил их принять. Кроме того, мне дали жалованье в четыре тысячи ливров из доходов лотереи. Это был доход с капитала в сто тысяч ливров, и этот капитал я мог получить, отказавшись от бюро.

Декрет совета появился через неделю. Управление лотерей доверили Кальзабиджи, которому назначили жалованье в три тысячи ливров и пансион в четыре тысячи. Привилегии, полученные Кальзабиджи, были гораздо выше моих, но я не завидовал ему, поскольку хорошо понимал, что он имел на это право.

Из шести своих бюро я сразу же продал пять, по две тысячи ливров каждое, а шестое открыл на улице Сен-Дени и поставил там своего лакея в качестве конторщика. Это был молодой, очень смелый итальянец, бывший лакеем у принца Католика, неаполитанского посланника.

* Д'Аламбер, Жан Лерон (1717—1783) — французский математик, механик и философ-просветитель.

Был назначен день первого тиража с объявлением, что по выигрышным билетам уплата будет производиться спустя неделю после тиража в главном бюро лотереи.

Желая привлечь толпу к своему бюро, я опубликовал объявление о том, что в моем бюро по всем выигрышным билетам деньги будут выдаваться через двадцать четыре часа после тиража. Следствием этого было то, что толпа хлынула ко мне, и это значительно увеличило мои барыши, ибо я имел шесть процентов от сбора. Многие конторщики отправились жаловаться на меня Кальзабиджи, говоря ему, что моя операция значительно уменьшила их прибыли. Но управляющий ответил, что им остается делать то же, что и я, если на это у них хватит средств.

Мой первый сбор оказался в сорок тысяч ливров. Спустя час после тиража мой конторщик принес мне книгу и указал на цифру, которую мы должны уплатить, — от семидесяти до восьмидесяти тысяч ливров. Я тотчас же выдал ему необходимые для этого деньги.

Общий доход оказался в два миллиона, из которых управление получило шестьсот тысяч ливров. Один Париж дал четыреста тысяч. На первый раз это было недурно.

На следующий после тиража день я обедал с Кальзабиджи у де Вернэ и имел удовольствие слышать, как последний жаловался, что доход оказался слишком велик. Париж имел всего около двадцати терн, но несмотря на это они сделали лотерею прекрасную рекламу, и легко было предвидеть, что в следующий тираж сбор будет вдвое больше. Любезные выпады в мою сторону развеселили меня. Кальзабиджи сказал, что благодаря своей операции я гарантировал себе ежегодную ренту в сто тысяч ливров, но это разорило всех других сборщиков.

— Я и сам часто прибегал к подобным операциям, — сказал де Вернэ, — и в большинстве случаев с успехом. К тому же каждый сборщик волен делать то же, что и Казанова, и это только поднимет репутацию учреждения, которым мы обязаны как ему, так и вам.

Во втором тираже терна в сорок тысяч ливров заставила меня прибегнуть к займу. Мой сбор равнялся шестидесяти тысячам, но, вынужденный задержать кассу накануне, я должен был платить из собственных денег, которые мог вернуть только через неделю.

Во всех домах, где я бывал, в фойе всех театров, как только замечали меня, сразу же давали мне деньги, прося продать билеты и сыграть за них как мне заблагорассудится, ибо никто еще ничего не понимал в этой игре. Вследствие этого у меня появилась привычка носить с собой билеты всех видов, вернее, всех цен: каждому я предоставлял их на выбор и ежедневно возвращался домой с карманами, наполненными золотом. Это было большим преимуществом, нечто вроде привилегии, которой пользовался только я один, потому что другие сборщики не принадлежали к приличному обществу и не ездили в каретах, подобно мне, — преимущество весьма существенное в большом городе, где слишком часто судят о человеке по тому блеску, которым он окружен.

В очередной
затем ока-
прекрасную
и приеха-
поднимался из-за
словно среди тол-
представление ем-
— Это лучший
сказал я ему. — Р-
учеником, и мое
учителя.

— Милостивы

и обещайте к ко

— С удовольсь

Вольтеровская

путники поддер

рон, и те, на ч

заговор приличн

Но я не был з

и надеялся отвст

Тем временем

англичан.

— Эти господ

бы быть англича

Я нашел этот

ным, поскольку

что и они жела

них не было при

сказать правду. М

позволительно с

Спустя мину

раз я венециане

— Я знаю его

моих дорогих со

•

Вольтер (на

пост. философ, исто

•

Альгаротти

сать, один из пер

пестулярное сочинен

высоко ценил Вольт

считал своим лучши

принадлежащие А.С. П

— окно, через кото

Вольтер

В очередной раз покинув Париж, я отправился в Голландию, а затем оказался в Швейцарии. Объездив всю эту маленькую прекрасную страну, я опять пересек франко-швейцарскую границу и приехал в имение Ферне, к великому Вольтеру*. Он поднимался из-за стола, когда я вошел в его дом. Вольтер был словно среди толпы царедворцев и дам, вследствие чего мое представление ему носило торжественный характер.

— Это лучший момент в моей жизни, господин де Вольтер, — сказал я ему. — Вот уже двадцать лет, как я считаю себя вашим учеником, и мое сердце переполняется от счастья при виде своего учителя.

— Милостивый государь, почитайте меня еще двадцать лет и обещайте к концу этого времени уплатить мне гонорар.

— С удовольствием, если вы согласитесь подождать это время. Вольтеровская шутка всех рассмешила. Это в порядке вещей: шутники поддерживают одну из двух противоборствующих сторон, и те, на чьей стороне шутники, уверены в победе; это заговор приличного общества.

Но я не был застигнут врасплох, ожидая что-нибудь подобное, и надеялся ответить уколом на укол.

Тем временем Вольтеру представили двух вновь прибывших англичан.

— Эти господа — англичане, — сказал Вольтер, — и я желал бы быть англичанином.

Я нашел этот комплимент несколько фальшивым и неуместным, поскольку он обязывал англичан отвечать из вежливости, что и они желали бы быть французами. А между тем, если у них не было привычки нагло лгать, они должны были стесняться сказать правду. Мне кажется, что каждому порядочному человеку позволительно считать свой народ лучшим.

Спустя минуту Вольтер снова обратился ко мне и сказал, что раз я венецианец, то должен знать графа Альгаротти**.

— Я знаю его, но не как венецианца, поскольку семь восьмых моих дорогих соотечественников не знают о его существовании.

* Вольтер (ист. имя — Мари Франсуа Аруэ, 1694—1778) — французский поэт, философ, историк. Сторонник “просвещенного абсолютизма”.

** Альгаротти, Франческо (1712—1764) — итальянский публицист и писатель, один из первых в Италии просветителей-энциклопедистов. Его научно-популярное сочинение “Ньютонизм для дам, или Диалоги о свете и красках” высоко ценил Вольтер. Бывал в России в 1738—1739 годах. “Письма о России” считал своим лучшим произведением; в них, в частности, содержатся слова, приведенные А.С. Пушкиным в примечаниях к “Медному всаднику”: “Петербург — окно, через которое Россия смотрит на Европу”.

— Я хотел сказать, как писателя.

— Я провел с ним два месяца в Падуе лет семь тому назад; он обратил мое внимание на себя особенно тем, что был горячим поклонником господина де Вольтера.

— Для меня это лестно, но ему не нужно быть чьим-то поклонником, чтобы заслужить всеобщее уважение.

— Если бы Альгаротти не начал с поклонения, то никогда бы не сделал себе имени. Став поклонником Ньютона, он сумел заставить дам говорить о свете.

— Преуспел ли он в этом?

— Не так хорошо, как Фонтенель в своих "Беседах о множественности миров", и все-таки можно сказать, что преуспел.

— Это правда. Если вы его встретите в Болонье, скажите ему, что я ожидаю его "Писем из России". Он может их выслать в Милан моему банкиру Бланки, который перешлет их мне.

— Непременно скажу, если увижу его.

— Мне говорили, что итальянцы недовольны его языком.

— Этому легко поверить: во всем, что написал Альгаротти, встречается масса галлицизмов. Его стиль очень плох.

— Но разве французские обороты не придают изящества вашему языку?

— Они делают его нестерпимым, как нестерпим был бы французский язык, украшенный на немецкий или итальянский лад, даже если бы таким языком писал сам де Вольтер.

— Вы правы, необходимо сохранять чистоту языка. Язык Тита Ливия тоже подвергался критике: говорили, что в нем слышится падуанское наречие.

— Когда я принялся изучать этот язык, аббат Лазарини говорил мне, что предпочитает Тита Ливия Саллюстию*.

— Аббат Лазарини? Вы, должно быть, были тогда очень молоды; я бы хотел с ним познакомиться. Зато я хорошо знаю аббата Конти**, четыре трагедии которого охватывают всю римскую историю.

— Я тоже его знал. Я был тогда молод и счастлив от того, что был принят в обществе этих великих людей. Мне кажется, это было вчера, хотя с тех пор прошло много лет. И теперь, в вашем присутствии, мое скромное положение не оскорбляет меня, и я желал бы быть младшим во всем роде человеческого.

— Да, в этом случае вы были бы счастливее, чем если бы были старейшим. Осмелюсь спросить, какому литературному жанру вы себя посвящаете?

— Никакому, но со временем это придет. А пока я читаю, сколько могу, и изучаю людей, путешествуя.

* Гай Саллюстий Крисп (86—35 до н. э.) — римский историк, участник гражданских войн 49—45 гг. на стороне Юлия Цезаря.

** Конти, Антонио (1677—1749) — итальянский писатель и ученый, автор четырех трагедий, составляющих, по его замыслу, единый исторический цикл: "Юлий Цезарь", "Юний Брут", "Марк Брут" и "Друз" — осуждение тиранов и прославление тираноубийц.

— Это лучшее средство...
— Да, если бы она...
история надоедает, а...
которого знаю наизусть...
— Альгаротти то...
любите поэзию?
— Это моя страсть...
— Писали ли вы...
— Тех, что мне н...
разу не перечитывал...
— Италия точно...
— Да, если можно...
мысли гармоничную...
вая в нем мысль до...
строк.
— Это — прокру...
хороших сонетов. Ч...
одного хорошего сон...
— И французский...
мысль может в сонет...
— А вы другого...
— Извините мен...
Острога словца, нап...
французском, так и...
— Кого из италья...
— Ариосто. Но...
других, потому что...
— Вам, однако...
— Я читал их...
пятнадцать тому на...
нем писали, я говор...
прочитав его.
— Благодарю ва...
читал его. Я, разум...
носно знал ваш язык...
поклонявшимся Та...
которое считал своим...
предубеждений сво...
— Господин де...
уничтожьте сочине...
человека.
— Зачем? Лучш...
путь истины.
Я разинул рот:
на память два больш...
Тассо, Торкве...
сладкий поэмы...

— Это лучшее средство для их познания. Но книга сия слишком большая, и легче достичь это изучением истории.

— Да, если бы она не лгала. В фактах трудно быть уверенным; история надоедает, а изучение общества забавляет. Горация, которого знаю наизусть, я считаю своим учителем, и его я вижу везде.

— Альгаротти тоже знает Горация наизусть. Вы, конечно, любите поэзию?

— Это моя страсть.

— Писали ли вы сонеты?

— Тех, что мне нравятся, с десятков наберется, а тех, что ни разу не перечитывал, — около трех тысяч.

— Италия точно помешалась на сонетах.

— Да, если можно считать помешательством желание придать мысли гармоничную стройность. Сонет труден, ибо заключенная в нем мысль должна быть уложена ровно в четырнадцать строк.

— Это — прокрустово ложе, и вот почему у вас так мало хороших сонетов. Что же касается Франции, то у нас нет ни одного хорошего сонета, но в этом надо винить язык.

— И французский гений. Французы считают, что раскованная мысль может в сонете потерять свою силу и блеск.

— А вы другого мнения?

— Извините меня; все заключается в исследовании мысли. Острого словца, например, недостаточно для сонета: оно, как во французском, так и в итальянском, принадлежит эпиграмме.

— Кого из итальянских поэтов вы любите больше всех?

— Ариосто. Но я не могу сказать, что люблю его больше других, потому что его только и люблю.

— Вам, однако же, знакомы и другие?

— Я читал их всех, но они бледнеют перед Ариосто. Лет пятнадцать тому назад, когда я читал все то дурное, что вы о нем писали, я говорил себе, что вы возьмете свои слова обратно, прочитав его.

— Благодарю вас за предположение, что я, будто бы, не читал его. Я, разумеется, читал, но был тогда молод и поверхностно знал ваш язык. Предупрежденный итальянскими учеными, поклонявшимися Тассо*, я имел несчастье обнародовать мнение, которое считал своим, тогда как оно было лишь эхом безрассудных предубеждений тех, кто влиял на меня.

— Господин де Вольтер, я вздыхаю свободно. Но ради Бога, уничтожьте сочинение, в котором вы осмеяли этого великого человека.

— Зачем? Лучше я покажу вам опыт моего возвращения на путь истины.

Я разинул рот: этот великий человек начал декламировать на память два больших отрывка из тридцать четвертой и тридцать

* Тассо, Торквато (1544—1595) — итальянский поэт эпохи Возрождения, создатель поэмы «Освобожденный Иерусалим».

пятой песни "Неистового Роланда", где божественный Ариосто описывает разговор Астольфа с апостолом Иоанном. Вольтер декламировал не пропуская ни одного стиха, без единой ошибки в стихосложении. Затем с присущим ему величием он указал на прелести поэмы. Было бы несправедливо ожидать что-нибудь лучшее от самых ловких итальянских глоссаторов*. Я слушал его с полным вниманием, не переводя дыхания и желая найти хотя бы одну ошибку, но все было напрасно. Я обратился к обществу и заявил, что извещу всю Италию о своем восторге.

— А я, милостивый государь, — отвечал великий человек, — извещу Европу о той репутации, которую я приобрел благодаря величайшему гению старушки-Европы.

В конце декламации, под гром аплодисментов всех присутствующих, — хотя ни один из них не понимал итальянского — госпожа Дени, племянница Вольтера, спросила меня, не является ли отрывок, декламированный ее дядей, одним из лучших мест в поэме великого Ариосто.

— Вы правы, сударыня, но это не самое лучшее место.

— Иначе и не могло быть, потому что в противном случае синьором Лудовико не был бы сделан апофеоз.

— Его, значит, возвели в святые? Я этого не знал.

При этих словах шутники с Вольтером во главе перешли на сторону госпожи Дени. Все смеялись, но я оставался совершенно серьезным.

Вольтер, удивленный тем, что я не смеюсь вместе со всеми, спросил меня:

— Вы думаете, что именно за отрывок, больше чем человеческий, он был назван божественным?

— Да, конечно.

— И что же это за отрывок?

— Тридцать шесть последних стансов двадцать третьей песни, где поэт описывает, как Роланд сходит с ума. С тех пор как существует мир, никто не знал, как люди сходят с ума, и лишь один Ариосто узнал это под конец своей жизни. Эти стансы наводят ужас, господин де Вольтер, и я уверен, что, читая их, вы содрогались.

— Да, я помню их; любовь в этом виде ужасна. Мне хочется перечитать их.

— Может быть, вы будете так добры и декламируете их, — обратилась ко мне госпожа Дени, посмотрев на своего дядю.

— Охотно, сударыня, — отвечал я, — если вам угодно послушать.

— Вы знаете их наизусть? — спросил Вольтер.

— Да. С шестнадцатилетнего возраста не проходило года, чтобы я не перечитывал Ариосто раза два или три. Это моя страсть, и стихи Ариосто остаются в моей памяти без всякого

* Глоссаторы — в средние века итальянские юристы, комментировавшие и толковавшие римское право путем составления заметок (глосс) на полях текстов римских кодексов и законов.

усилия с моей стороны. Я знаю наизусть всю поэму, за исключением тех длинных генеалогий и исторических тирад, которые утомляют мысль, не захватывая сердце. Только Гораций запечатлел в моей душе все свои стихи, несмотря на прозаичность некоторых его посланий, которые далеко не так хороши, как послания Буало*.

— Буало часто слишком слащав, господин Казанова. Гораций — другое дело: я и сам люблю его. Но для Ариосто сорок больших песен — это слишком.

— Пятьдесят одна, господин де Вольтер.
Вольтер замолчал, но госпожа Дени пришла на выручку.

— Ну так где же стансы, — спросила она меня, — заставляющие содрогаться, благодаря которым их автор был назван божественным?

Я сразу же начал уверенным тоном, но не в том однообразном стиле, который так не нравится французам. Французы были бы лучшими декламаторами, если бы их не стесняли рифмы; это народ, превосходно чувствующий, как говорить. У них нет ни однообразно-страстного тона моих соотечественников, ни сентиментальности немцев, ни утомительной манеры англичан. Каждому периоду французы придают наиболее подходящие тон и звуки, но обязательный возврат тех же звуков отнимает у них часть этих преимуществ.

Я декламировал чудесные стихи Ариосто как музыкальную прозу, оживляемую звуками моего голоса, движением глаз и изменением интонации согласно чувству, которое я хотел внушить своим слушателям. Я еле сдерживал слезы, но в конце концов не выдержал, и слезы полились из моих глаз в таком изобилии, что все слушатели принялись рыдать. Вольтер и госпожа Дени обняли меня, но их объятия не могли остановить меня, так как я хотел продекламировать следующий станс, где Роланд, прежде чем сойти с ума, должен был добавить, что он находится в той же кровати, в которой Анжелика находилась в объятиях Медора.

Когда я кончил, Вольтер воскликнул:

— Я всегда говорил: тайна искусства заставлять плакать заключается в том, чтобы самому плакать. Но слезы должны быть настоящими, а для этого необходимо, чтобы душа была глубоко взволнована. Благодарю вас, — прибавил он, обнимая меня, — и обещаю завтра продекламировать вам те же стансы и плакать так же, как это делали вы.

И он сдержал слово.

— Удивительно, — заметила госпожа Дени, — что Рим не запретил эту поэму.

— Напротив, — сказал Вольтер, — Лев X** заявил, что будет отлучать от церкви всех, кто не будет признавать поэму. Два дома — д'Эсте и Медичи — поддерживали его. Без этого, веро-

* Буало, Никола (1636—1711) — французский поэт, теоретик классицизма, правила и нормы которого изложил в трактате «Поэтическое искусство».

** Лев X (1475—1521) — римский папа, при котором процветали nepотизм — раздача высших церковных должностей, званий, земель родственникам — и спекуляция индульгенциями. В 1520 году отлучил от церкви Мартина Лютера, деятеля Реформации, основателя лютеранства.

ятно, один лишь стих о даре, сделанном городом Римом, где поэт говорит "сильная вонь", был бы достаточен для того, чтобы поэму запретили.

— Жаль, — заметила госпожа Дени, — что Ариосто был так щедр на подобного рода гиперболы.

— Замолчите, племянница; его гиперболы полны ума и силы. Все это — крупинки красоты.

Затем мы болтали на литературные темы, и в конце разговора Вольтер предложил мне остаться в Ферне хотя бы на три дня. Приглашение было так соблазнительно и любезно, что было бы нелепо отказываться. Я принял его и затем простился.

На следующий день я вошел в спальню Вольтера в тот момент, когда он одевался. Вольтер сменил парик и надел другой ночной колпак: он всегда носил на голове теплый колпак, боясь простуды. На столе я увидел "Summa" св. Фомы Аквинского* и "Похищенное ведро" Тассони**.

— Вот, — сказал Вольтер, — единственная трагикомическая поэма, которую имеет Италия. Тассони был весьма ученым монахом и остроумным человеком.

— Что он был поэтом, я согласен, но учености не могу признать за ним. Насмехаясь над системой Коперника, он говорил, что, следуя ей, нельзя объяснить ни фазисы луны, ни затмений.

— Где это он сказал такую глупость?

— В своих академических речах.

Вольтер взял перо, записал сказанное мною и произнес:

— Но Тассони остроумно критиковал Петрарку***.

— Да, но этим он нанес удар по своему вкусу, так же как и Муратори****.

— Муратори у меня лежит тут же. Согласитесь, что его эрудиция велика.

* Фома Аквинский (1225—1274) — философ и теолог, систематизатор схоластики. Доминиканец. Основные сочинения — "Сумма теологии" и "Сумма против язычников".

** Тассони, Алессандро (1565—1635) — итальянский поэт. Его поэма "Похищенное ведро" положила начало героико-комическому жанру, получившему в европейской литературе широкое распространение.

*** Петрарка, Франческо (1304—1374) — итальянский поэт, родоначальник гуманистической культуры Возрождения. Его сборник "Книга песен" — сонеты, канцоны, секстины, баллады, мадригалы на жизнь и смерть своей возлюбленной Лауры — является образцом поэтического самовыражения.

**** Муратори, Лодовико Антонио (1672—1750) — итальянский писатель и историк, видный представитель раннего итальянского Возрождения.

— Est ubi res
Вольтер открыв
— Это, — ска
найдете около пя
— Сохранилис
— По большес
и занимается.
— Я знаю м
деньги за это со
— Верно. Но
ники, более стра
— С этими го
— В таком сл
По этому пов
кароничский сти
— Что это та
— Это стих и
— Известной?
— Да, и досто
при знания манти
— Я ее пойму
— Буду имети
— Весьма мен
Нас прервали,
ленных гостей во
остроумие и все
замечания, котор
владел неподража
Дом Вольтера
просто превосход
щееся среди покл
в милости у Плу
лет, и он имел
этот великий че
заклучается в т
Вольтер обогатил
за известностью
чтобы они были
Этим-то он
Макарониче
примером этой поэ
Фоленто (1496—155
под псевдонимом
Аполлон
Плутус —
ранее плодородная

— Est ubi pecca*.

Вольтер открыл дверцы шкафа, и я увидел множество бумаг.

— Это, — сказал он мне, — моя корреспонденция. Тут вы найдете около пятидесяти тысяч писем, на которые я отвечал.

— Сохранились ли у вас копии ваших ответов?

— По большей части. Это дело лакея, который только этим и занимается.

— Я знаю многих издателей, готовых заплатить большие деньги за это сокровище.

— Верно. Но берегитесь издателей — это настоящие разбойники, более страшные, чем пираты Марокко.

— С этими господами я буду иметь дело лишь в старости.

— В таком случае они отравят вам старость.

По этому поводу я решил процитировать Вольтеру один макаронический стих Мерлина Кокаи**.

— Что это такое?

— Это стих известной поэмы в двадцати четырех песнях.

— Известной?

— Да, и достойной известности, но оценить ее можно только при знании мантуанского наречия.

— Я ее пойму, если вы принесете мне поэму.

— Буду иметь честь принести ее завтра.

— Весьма меня обяжете.

Нас прервали, и мы провели два часа в обществе многочисленных гостей великого поэта. Вольтер пустил в ход все свое остроумие и всех очаровал, несмотря на свои саркастические замечания, которые не щадили даже присутствующих; но он владел неподражаемым искусством насмеяться не оскорбляя.

Дом Вольтера был поставлен на широкую ногу, а кухня была просто превосходной — обстоятельство, очень редко встречающееся среди поклонников Аполлона***, которые нечасто бывают в милости у Плутуса****. Ему в то время было шестьдесят шесть лет, и он имел двадцать тысяч годового дохода. Говорили, что этот великий человек обогатился, надувая издателей; правда заключается в том, что чаще его самого надували издатели. Вольтер обогатился не изданием своих произведений; он гонялся за известностью и часто давал свои сочинения только с тем, чтобы они были напечатаны и распространены. Я сам был сви-

* Этим-то он и грешит. Лат.

** Макароническая поэзия (итал. *poesia maccheronica*) — стихи, в которых комический эффект достигается смешением слов разных языков. Наиболее ярким примером этой поэзии является произведение "Макаронии" (*Maccheronici*) — собрание поэм, эклог и эпиграмм, написанных макаронической латынью Теофило Фоленто (1496—1554) — итальянским писателем, членом ордена бенедиктинцев — под псевдонимом Мерлин Кокаи.

*** Аполлон — сын Зевса, бог-целитель и прорицатель, покровитель искусств.

**** Плутус — в греческой мифологии бог богатства и изобилия, олицетворение плодородия земли.

детелем того, как он подарил "Вавилонскую принцессу" — преступленную сказку, написанную им за три дня.

Утром следующего дня, хорошенько выспавшись, я принялся писать послание Вольтеру белыми стихами, стоившее мне больших трудов. Я отправил его вместе с поэмой Фоленго, но сделал глупость: можно было предвидеть, что поэма ему не понравится, ибо трудно оценить то, что не очень хорошо понимаешь.

В полдень я отправился к Вольтеру. Он не принимал, но на его место заступила госпожа Дени, человек ясного ума, с хорошим вкусом и большой эрудицией, ненавидящая, к тому же, прусского короля. Она просила меня рассказать о своем побеге из "Пьомби", но рассказ был слишком длинным, и я отложил его до следующего раза. Вольтер не обедал с нами и появился только в пять часов, держа в руке письмо.

— Знаете ли вы, — спросил он меня, — маркиза Альбергати-Капачелли*, болонского сенатора, и графа Парадизи?

— Парадизи я не знаю, но знаю немного Альбергати. Вы с ним знакомы?

— Нет, но он прислал мне сочинение Гольдони**, болонской колбасы и перевод моего "Танкреда". Альбергати собирается посетить меня.

— Он не приедет, потому что не так глуп.

— Как "глуп"?! Разве посещать меня — глупость?!

— Глупость не для вас, а для него.

— Отчего?

— Альбергати знает, что многое потеряет, ибо теперь он наслаждается мнением, которое, как ему кажется, вы имеете о нем. Если бы он приехал, то вы убедились бы в его ничтожестве и иллюзия исчезла бы. Тем не менее, он настоящий дворянин, имеет шесть тысяч цехинов в год и страдает театроманией. Да и сам он довольно хороший актер, написал несколько комедий в прозе, которые, впрочем, невозможно ни прочесть, ни поставить.

— Вы одеваете его в платье, совсем не украшающее его.

— Вынужден признать, что оно и в таком виде ему не впору.

— Он сенатор.

— Нет, Альбергати принадлежит к сорока, а в Болонье сорок составляют пятьдесят.

— Каким образом?

— Да так же, как в Базеле одиннадцать часов составляют полдень.

— Понимаю; вроде того, как ваш Совет Десяти состоит из семнадцати.

— Именно; но проклятые сорок в Болонье изображают из себя нечто другое.

* Альбергати-Капачелли, Франческо (1728—1804) — итальянский поэт, автор нескольких комедий.

** Гольдони, Карло (1707—1793) — итальянский драматург, создатель национальной комедии, осуществивший просветительскую реформу итальянской драматургии и театра. Написал 267 пьес, в т.ч. "Слугу двух господ" и "Хитрую вдову".

— Почему проклятые?

— Они не зависят от фиска и поэтому совершают любые преступления безнаказанно; в крайнем случае их высылают за границу, где они неплохо живут на свои доходы.

— Тем лучше; но возвратимся к предмету нашего спора. Маркиз Альбергати — конечно, писатель?

— Он недурно пишет по-итальянски, но увлекается собственным слогом и разбавляет его водой; одним словом, голова его пуста.

— Он, вы говорите, актер?

— И очень хороший, в особенности в своих пьесах, когда играет роль влюбленного.

— Он красив?

— На сцене, но в жизни у него невыразительное лицо.

— И, однако, его пьесы нравятся?

— Не знатокам; эти пьесы освистали бы, если бы их поняли.

— А что вы скажете о Гольдони?

— О нем лишь можно сказать, что Гольдони — это итальянский Мольер.

— Почему он называет себя поэтом герцога Пармского?

— Вероятно желая доказать, что и у самого умного человека бывает слабая струнка, как и у всякого глупца. Что же касается герцога, то он, скорее всего, ничего и не подозревает. Гольдони называет себя также адвокатом, хотя им никогда не был. Он хороший автор комедий, и ничего больше. Вся Венеция знает, что я его друг, и поэтому о нем я могу говорить обстоятельно: он не блещет в обществе, и, несмотря на иронию, так часто встречающуюся в его комедиях, у него чрезвычайно мягкий характер.

— Мне говорили то же самое. Он беден, и меня уверяли, что он хочет бросить Венецию. Это не понравится содержателям театров, где играют его пьесы.

— Все это говорилось наобум. Многие думали, например, что, получив пенсию, Гольдони перестанет писать.

— А город Кум отказал Гомеру* в пенсии из боязни, что все другие слепые могут потребовать ее для себя.

Мы провели время очень приятно; Вольтер поблагодарил меня за "Макарони", которые обещал прочесть, а затем представил мне иезуита по имени Адам, которому платил жалование. Представляя его, Вольтер после его имени добавил: "Это не тот Адам, что первый из людей". Впоследствии мне говорили, что Вольтер развлекался, играя с ним в трик-трак, и, когда проигрывал, бросал ему в лицо кости. Если бы везде обращались с иезуитами таким образом, то, вероятно, они были бы тише воды, ниже травы, но мы еще далеки от этого времени...

* Гомер — легендарный поэт Древней Греции, который считался автором эпических поэм "Илиада" и "Одиссея". Античные биографии изображают Гомера слепым странствующим певцом, а время его жизни определяют по-разному — от XII до VII вв. до н. э.

На следующий день я опять отправился к Вольтеру наслаждаться его обществом, но ошибся в своих ожиданиях, потому что в этот день великому человеку вздумалось быть не в духе: он издевался, насмехался, дулся. Вольтер начал с того, что за столом поблагодарил меня за подарок — Мерлина Кокаи.

— Конечно, вы мне дали его с наилучшими намерениями, — сказал он, — но я не могу поблагодарить вас за похвалы, вами высказанные, ибо я потерял четыре часа в чтении пошлостей.

Я почувствовал, что волосы встают дыбом на моей голове, но удержался и спокойно заметил, что впоследствии, может быть, он и сам похвалит эту поэму еще больше, чем я. В доказательство я привел несколько примеров недостаточности первого чтения.

— Это правда, — отвечал Вольтер, — но что касается Мерлина, то отдаю его вам с руками и ногами. Я его поставил в один ряд с “Девственницей” Шаплена*.

— Которая нравится всем знатокам, несмотря на неудачное стихосложение, потому что это хорошая поэма, а Шаплен был настоящим поэтом, хотя и плохо писал стихи.

Мои откровения не понравились Вольтеру; конечно, я должен был предвидеть это, так как он сказал, что ставит “Макаронии” на одну доску с “Девственницей” Шаплена, а мне было известно, что грязная поэма такого же названия считалась его произведением, но Вольтер отрицал это**. Я предполагал, что он скроет неудовольствие, вызванное моими объяснениями, но ничуть не бывало: он отвечал мне резко, и я вынужден был возражать ему так же резко.

— Шаплен, — сказал я, — хотел также сделать свой сюжет приятным, не привлекая читателей с помощью вещей, оскорбляющих нравственность и благочестие. Так думает мой почтенный учитель Кребийон***.

— Кребийон?! Вот так судья! Но в чем, скажите, мой товарищ Кребийон учитель ваш?

* Шаплен, Жан (1595—1674) — французский писатель, теоретик литературы, один из организаторов и первых членов Французской академии, автор гекзаметрической поэмы в тридцать тысяч стихов “Девственница, или Освобожденная Франция” о Жанне д’Арк.

** Имеется в виду поэма Вольтера “Орлеанская девственница”, написанная им как язвительная антиклерикальная пародия на “Девственницу” Шаплена, где Вольтер выставил в невыгодном свете национальную героиню Франции Жанну д’Арк. Анонимно опубликована в 1755 году. Опасаясь преследований за волюнтаризм, Вольтер публично от нее отсекся.

*** Кребийон, Проспер Жюлио (1674—1762) — французский драматург, автор нескольких трагедий, среди которых наибольший успех имела трагедия “Радомист и Зенобия”.

— Он меня выучил менее чем за два года французскому языку: в благодарность я перевел его “Радамиста” александрийскими итальянскими стихами*. Я первый осмелился применить этот размер к нашему языку.

— Первый?! Извините, эта честь принадлежит моему другу Мартелло**.

— Вы ошибаетесь.

— Извините: я имею его сочинения, изданные в Болонье.

— Я не об этом; я не утверждаю, что Мартелло не писал александрийскими стихами, но его стих имеет четырнадцать слогов без чередующихся мужских и женских рифм. Тем не менее я признаю, что он думал подражать вашим александрийским стихам, а его предисловие заставило меня посмеяться. Вы, может быть, его не читали?

— Конечно, читал. Я всегда читаю предисловия. Мартелло доказывает, что его стихи производят на итальянские умы то же впечатление, какое наши александрийские стихи производят на нас.

— Вот именно это и смешно. Он грубо ошибся, судите сами. Ваш мужской стих имеет двенадцать слогов, а женский — тринадцать. Все же стихи Мартелло имеют по четырнадцать слогов, за исключением заканчивающихся длинной гласной, которая в конце стиха всегда стоит двух гласных. Заметьте также, что первый полустих Мартелло всегда состоит из семи слогов, между тем как французский — из шести. Или ваш друг Мартелло был глухим, или же имел фальшивое ухо.

— Значит, вы строго придерживаетесь нашей версификации***?

— Строго, несмотря на трудности.

— И как было принято ваше нововведение?

— Оно не понравилось, потому что никто не умел декламировать мои стихи; но я надеюсь восторжествовать, когда сам стану их декламировать в наших литературных кружках.

— Помните ли вы что-нибудь из вашего “Радамиста”?

— Я его всего помню!

— Завидная память! Я вас послушаю с удовольствием.

Я стал декламировать ту же сцену, которую читал лет десять тому назад Кребийону; мне показалось, что Вольтер слушал с удовольствием.

— Незаметно, — сказал он, — никакого затруднения.

* Александрийский стих (от старофранцузской поэмы об Александре Македонском) — французский двенадцатисложный стих с обязательным чередованием мужских (с ударением на последнем слоге) и женских (на предпоследнем слоге) рифм.

** Мартелло, Пьер Якопо (1665—1727) — итальянский драматург и поэт, оставивший огромное литературное наследство.

*** Версификация (от лат. *versus* — стих и *facio* — делаю) — то же, что стихосложение.

Это было мне чрезвычайно приятно. В свою очередь великий человек прочитал мне сцену из своего "Танкреда", который тогда, если не ошибаюсь, не появлялся еще в печати*.

Мы бы разошлись по-приятельски, если бы на этом покончили, но, процитировав один стих Горация, Вольтер прибавил, что Гораций был величайшим мастером драмы и дал такие правила, которые никогда не состарятся. На это я ответил Вольтеру, что сам он не признавал лишь одно правило, но как великий человек.

— Какое?

— Вы не довольствуетесь малой аудиторией.

— Если бы Горацию пришлось бороться с гидрой предрассудков, то он бы писал для всех.

— Мне кажется, что вам не следовало бы бороться с тем, чего вы не уничтожите.

— То, чего я не окончу, окончат другие; и за мной все-таки останется честь начала.

— Прекрасно. Но предположим, вы уничтожили предрассудки; чем вы их замените?

— Вот тебе на! Когда я освобождаю человечество от дикого зверя, пожирающего его, то можно ли спрашивать, что я поставлю на место этого зверя?

— Предрассудки не пожирают человечество; напротив, они необходимы для его существования.

— Необходимы для существования?! Ужасное богохульство, с которым расправится будущее! Я люблю человечество и желаю его видеть таким же свободным и счастливым, как я, а предрассудки не уживаются со свободой. Почему вы думаете, что рабство составляет счастье народа? Читали ли вы меня когда-нибудь?

— Читал ли я вас? Читал и перечитывал, в особенности тогда, когда не был с вами согласен. Ваша господствующая страсть — любовь к человечеству. Но она не согласуется с благодеяниями, которыми вы желаете его наделить, и сделала бы его еще более несчастным и порочным. Оставьте человечеству зверя, пожирающего его: этот зверь ему дорог. Я, к примеру, никогда так не смеялся, как смеялся над удивлением Дон Кихота, когда он был вынужден защищаться от каторжников, которым великодушно возвратил свободу.

— Печально, что у вас такое дурное мнение о ваших ближних. Но, кстати, чувствуете ли вы себя свободным в Венеции?

— Настолько, насколько можно быть свободным при аристократическом правлении. Наша свобода не так велика, как в Англии, но мы и этим довольны.

— И даже в "Пьомби"?

— Мое заключение было произволом деспотизма, но я убежден, что не раз сознательно злоупотреблял свободой, и правительство правильно поступило, заключив меня в тюрьму даже без обычных формальностей.

* Трагедия "Танкред" была поставлена в 1760 году, а издана в 1763.

— И, однако, вы убежали.
— Я воспользовался лишь своим правом, как и они пользовались своим.

— Превосходно! Но в таком случае никто в Венеции не может считать себя свободным.

— Может быть. Но, согласитесь, для того, чтобы чувствовать себя свободным, достаточно считать себя свободным.

— С этим трудно согласиться. Мы рассматриваем свободу с двух различных точек зрения. Даже аристократы и члены правительства несвободны у вас; они, например, не имеют права путешествовать без позволения.

— Согласен; но это закон, который они сами установили для себя добровольно. Можно ли сказать, что житель Берна несвободен только потому, что подчинен закону против роскоши, когда этот закон он сам создал?

— Ну, так пусть народы и создают себе законы.

Затем Вольтер без малейшего перехода спросил меня, откуда я приехал.

— Из Роршаха, — ответил я. — Я был бы в отчаянии, если бы, будучи в Швейцарии, не увидел знаменитого Галлера*. Путешествуя, я считаю своей обязанностью засвидетельствовать мое почтение великим ученым.

— Господин Галлер, должно быть, понравился вам.

— Я провел у него три прекраснейших дня в моей жизни.

— С чем и поздравляю вас. Нужно поклоняться этому великому человеку.

— Я тоже так считаю. Мне в особенности приятно, что именно вы отдаете ему должное; сожалею, но он не так справедлив по отношению к вам.

— Э-э, может быть, мы оба ошибаемся!

При этом ответе, вся прелесть которого заключалась в его быстроте, присутствующие расхохотались и принялись хлопать. Разговор о литературе прекратился, и я молчал до того момента, когда Вольтер удалился. Затем я подошел к госпоже Дени и спросил ее, не желает ли она дать мне каких-либо поручений в Рим. Затем я вышел, довольный тем, что в этот день — как я имел тогда глупость думать — восторжествовал над атлетом. Но против этого великого человека в сердце моем сохранилось недоброе чувство, заставлявшее меня в течение десяти лет критиковать все, что выходило из под его пера.

Теперь я в этом раскаиваюсь, хотя нахожу, что в споре с Вольтером я был тогда прав. Я должен был молчать, почитать его и не высказывать ему своих суждений. Мне нужно было понять, что без его насмешек, возмущивших меня на третий день общения с ним, я бы счел его во многом правым. Потомство,

* Галлер, Альбрехт фон (1708—1777) — швейцарский естествоиспытатель, врач и поэт, один из основоположников экспериментальной физиологии.

если удосужится прочесть эти строки, подумает, что я принадлежу к числу недоброжелателей Вольтера, и признание, которое я делаю в настоящую минуту, никогда, может быть, не будет прочитано. Если когда-либо мы встретимся в царстве Плутона*, освобожденные от наших земных недостатков, то, вероятно, помиримся: он примет мои извинения и будет моим другом, а я — его искренним поклонником.

Часть ночи и весь следующий день я записывал свои разговоры с Вольтером: вышел чуть ли не целый том. К вечеру мой эпикурец пришел за мной, и мы отправились ужинать с тремя нимфами. В течение пяти часов мы совершали всевозможные глупости, какие только приходили мне в голову, а на этот счет мое воображение было всегда необыкновенно обильно. Прощаясь с красавицами, я обещал известить их по возвращении из Рима и сдержал слово.

На следующее утро я уехал, пообедав с моим милым эпикурейцем, который проводил меня до городка Аннеси, что в Савойских Альпах, где я остался ночевать.

Берлин, Митава и Рига

И вот я опять в Берлине. Приехав сюда, я остановился в гостинице "Город Париж". Это заведение, бывшее тогда в моде, содержалось француженкой, госпожой Рюфень. Кроме табльдота** каждый вечер был еще ужин, на который допускались одни лишь почетные путешественники. Госпожа Рюфень удостоила и меня причислить к ним.

За ужином я встретил барона Триделя, зятя герцога Курляндского, маркиза Бирона, весьма любезного человека, и некоего Ноэля, личность весьма интересную для меня, любимца прусского короля***, у которого он служил поваром. Удерживаемый во дворце своими занятиями, Ноэль редко обедал у госпожи Рюфень, его друга. Его величество Фридрих Великий не прикасался к блюду, если оно было приготовлено не Ноэлем. В Ангудеме я знавал его отца, прославившегося своими пирогами. Пирог — причина смерти Ламетри**** — был верхом кулинарного искусства Ноэля-старшего.

Говорят, что знаменитый философ, умирая с чрезвычайными

* Плуто́н (Аид) — в греческой мифологии бог подземного мира и царств мертвых.

** Табльдот — общий стол (с общим меню) в ресторанах.

*** Имеется в виду Фридрих II (1712—1786) — прусский король с 1740 года, из династии Гогенцоллернов, крупный полководец; в результате его энергичной политики территория Пруссии почти удвоилась.

**** Ламетри, Жюльен Офре де (1709—1751) — французский философ-материалист. В своем сочинении "Человек-машина" рассматривал человеческий организм как самозаводящуюся машину, подобную часовому механизму.

страданиями, громко хохотал. Он был обжорой и, умирая, повторял: "О, невоздержанность! Я никогда не скажу, что ты — зло". Вольтер мне рассказывал, что никогда не было атеиста более убежденного, чем этот Ламстри, и я убедился в этом при чтении его сочинений.

Известно, что Фридрих Великий произнес ему похвальное слово на траурном собрании академии. "Не будем удивляться, — говорил его величество, — что Ламстри, веруя лишь в одну материю, был наделен в то же время самым высоким духом". Шутка заставила всех улыбнуться, хотя и была произнесена над открытым гробом. Что же касается самого короля, то он не был ни атеистом, ни деистом: для него просто не существовало никакой религии, и никогда вера в Бога не влияла на его действия и его жизнь.

Свой первый визит я нанес Кальзабиджи. Он был младшим братом того Кальзабиджи, с которым я в 1757 году основал в Париже лотерею военной школы, превратившуюся после смерти Пари де Верно в королевскую лотерею.

Кальзабиджи оставил столицу Франции и отправился сначала в Брюссель для устройства там лотереи, но, несмотря на поддержку графа Кобенцеля, разорился и был объявлен банкротом. Вынужденный бежать, он приехал вместе с женой, которую называли генеральшей Ламот, и был представлен Фридриху. Королю понравился его проект; он учредил лотерею по всему государству и сделал Кальзабиджи государственным советником.

Кальзабиджи обещал королю ежегодный доход в двести тысяч талеров*. Сам он получал десять процентов от сбора, а управление было на содержании правительства. В течение двух лет все шло хорошо, и Кальзабиджи был удачлив в тиражах, но король, памятуя о возможности неудачного тиража, вдруг объявил предпринимателю, что оставляет лотерею на его счет, о чем он узнал как раз в день моего визита.

— Я в большом затруднении, — сказал он мне. — Его величество требует, чтобы я известил публику официальным объявлением о его решении, а это значит объявить о моем разорении.

— А вы не можете продолжать лотерею без королевской поддержки?

— Для этого необходимо найти два миллиона талеров.

— Трудное дело. А если король отменит свое решение?

— Я знаю вашу ловкость, господин Казанова. Не возьметесь ли вы за это?

— Зная, как это трудно, я не надеюсь на успех.

— А я, напротив, рассчитываю на успех, помня ваши прежние подвиги. Разве вы не убедили целый совет военной школы?

— Я предпочел бы убеждать двадцать человек, чем одного прусского короля. К тому же что отвечать королю, заявляющему: "Я боюсь и не хочу бояться"? Все затруднение в этом.

* Талер — золотая или серебряная монета, денежная единица Пруссии и Саксонии.

Если вы преодолеете это препятствие, я обещаю вам две тысячи талеров в год.

Предложение было заманчиво. Я обещал Кальзабиджи заняться делом. Последний королевский тираж был назначен на следующий день, и я рассчитывал воспользоваться результатом тиража как аргументом в пользу тезиса, который я предполагал защищать перед его величеством. К несчастью, в этом тираже лотерея потеряла двадцать тысяч талеров. Я узнал, что король, услышав эту новость, сказал, что считает себя счастливым, ибо удар этот ничтожен по сравнению с тем, что мог быть.

Я нашел несчастного Кальзабиджи в отчаянии и постарался приободрить его, сообщив, что лорд Кейт, любимец короля, — милорд маршал, как его называли — должен был принять меня вечером.

Милорд маршал встретил меня с распростертыми объятиями и спросил, не намереваюсь ли я поселиться в Берлине.

— Моим величайшим счастьем было бы служить столь великому монарху, и я рассчитываю на вашу поддержку.

— Моя поддержка, возможно, будет не столько полезной, сколько вредной. Его величество никому не доверяет: он хочет обо всем судить сам. Случалось, он находил удивительные качества у лиц, к которым общественное мнение относилось весьма строго. Вы просто напишите королю, что имеете честь просить у него аудиенции; если он примет вас, можете сказать ему, что я вас знаю. Его величество, конечно, станет меня расспрашивать о вас, и тогда можете не сомневаться в нашей дружбе.

— Ни в вашей благосклонности, милорд. Но подумайте только, как осмелюсь я, лицо совершенно королю неизвестное, просить аудиенции у его величества? Мне просто не ответят.

— Король всегда отвечает даже самому последнему из своих подданных. Делайте, что я вам говорю. Его величество живет теперь в Сан-Суси.

Я последовал совету милорда и сочинил просьбу об аудиенции, подписав ее своими двумя фамилиями* с добавлением слова "венецианец". На следующий день я получил записку, подписанную "Фридрих", в которой говорилось, что король будет находиться в четыре часа в садах Сан-Суси и там я могу ему представиться.

Прибыв на место свидания в назначенный час, я увидел в конце аллеи двух человек, один из которых был в партикулярном платье, другой — в воснной форме и ботфортах, без эполет: это был король. Впоследствии я узнал, что первый был его чтецом. Король играл с левреткой. Как только он меня увидел, то ускорил шаг и быстро пошел мне навстречу, воскликнув:

— Вы — господин Казанова. Что вам нужно от меня?

Сконфуженный таким приемом, я не знал что говорить.

* Получив в 1760 году из рук папы Климента XIII орден, дающий право на дворянство, Казанова присвоил себе дворянский титул и стал называть себя шевалье Казанова де Сенгаль.

— Ну что же мне? — Да, ваше величество милорд маршал уверил меня? — А-а, он зас знает? Я старался прийти в своей просьбы, как вдруг, — Нравится вам этот — Нравится. — Вы льстец. Версал — Действительно, бл — Конечно. А я изде проведение воды. — И ни одного фонт — Господин Казанова удивленный этим во за, ни нет. — Вы, вероятно, служ республики военных кор — Двадцать. — А активной армии — Около семидесяти — Это ложь; вы говор не финансист ли вы? Внезапность вопросов раньше моих ответов, в замешательство, и я чу знал, что чаще всего ос и поэтому, приняв серьез его величеству, что гото налогов. — Хорошо, — сказал финансовые планы господи — Ваше величество, решительно вредный, третий — превосходный — Начало хорошее; — Вредный налог е королем; необходимый н — Ну, это ново. — Вашему величест — И этот налог вре — Без всякого сомн — Означенное движение — ду — Однако вы счита — К несчастью, и

— Ну что же вы молчите? Ведь вы венецианец, писавший мне?

— Да, ваше величество. Извините мое замешательство. Милорд маршал уверил меня...

— А-а, он вас знает? Очень хорошо. Прогуляемся. Я старался придти в себя и уже хотел приступить к предмету своей просьбы, как вдруг, сняв шляпу, он сказал мне, показывая рукой направо и налево:

— Нравится вам этот сад?

— Нравится.

— Вы льстец. Версальские сады лучше.

— Действительно, благодаря своим фонтанам.

— Конечно. А я издержал бесполезно три тысячи талеров на проведение воды.

— И ни одного фонтана? Это невероятно.

— Господин Казанова, уж не инженер ли вы?

Удивленный этим вопросом, я опустил голову, не говоря ни да, ни нет.

— Вы, вероятно, служили также в морях; сколько у вашей республики военных кораблей?

— Двадцать.

— А активной армии?

— Около семидесяти тысяч человек.

— Это ложь; вы говорите так, чтобы меня рассмешить. Кстати, не финансист ли вы?

Внезапность вопросов короля, его возражения, являвшиеся раньше моих ответов, все эти выходки языка увеличивали мое замешательство, и я чувствовал, что выгляжу смешным. Но я знал, что чаще всего освистывают того актера, кто конфузится, и поэтому, приняв серьезный вид знающего финансиста, я ответил его величеству, что готов ответить на все его вопросы по теории налогов.

— Хорошо, — сказал король смеясь. — Кат, послушайте финансовые планы господина Казановы, венецианца. Ну, начинайте.

— Ваше величество, я различаю три вида налогов: первый — решительно вредный, второй — к несчастью необходимый, и третий — превосходный.

— Начало хорошее; продолжайте.

— Вредный налог есть тот, что собирается непосредственно королем; необходимый налог — платится армии; лучший налог — тот, что взимается в пользу народа.

— Ну, это ново.

— Вашему величеству угодно, чтобы я объяснился? Налог, предназначенный королю, наполняет его личную шкатулку.

— И этот налог вреден?

— Без всякого сомнения, так как он приостанавливает денежное движение — душу торговли, настоящую пружину государства.

— Однако вы считаете необходимым налог в пользу армии?

— К несчастью, ибо война — несчастье.

- Может быть. Ну, а налог в пользу народа?
- Полсзсн. Король одной рукой получает от своих подданных то, что возвращает им другой.
- Вы, может быть, знакомы с Кальзабиджи?
- Да, ваше величество.
- Что скажете вы о его налоге, ибо лотерея — тоже налог?
- Налог почтенный, когда направлен на полезные учреждения.
- И даже тогда, когда в результате потеря?
- Один шанс против десяти не есть даже шанс.
- Вы ошибаетесь.
- Значит, ошибаюсь не я, а арифметика.
- Вам, конечно, известно, что три дня тому назад я потерял двадцать тысяч талеров?
- Ваше величество, вы потеряли раз в два года. Я не знаю цифры выигрышей, но цифра потери говорит мне, что выигрыши должны были быть очень значительны в предшествующие тиражи.
- Серьезные люди считают этот налог вредным.
- Мы не заботимся о добродетели, а говорим о политике. У короля всегда девять шансов выиграть против одного шанса проигрыша.
- Может быть, я думаю, как вы, но, вообще, все ваши итальянские лотереи считаются надувательством.
- Король, очевидно, начинал раздражаться: может быть, он чувствовал, что я был прав. Я больше не возражал. Сделав несколько шагов, король остановился и сказал мне:
- Вы красивый мужчина, господин Казанова.
- Это у меня общее с гренадерами вашего величества.
- Он повел плечом и приподнял слегка шляпу. Я удалился, убежденный в том, что не понравился ему. Но дня через два милорд маршал сказал мне:
- Его величество говорил мне о вас; он намеревается дать вам здесь место.
- Буду ждать повелений его величества.
- Однако Кальзабиджи получил от монарха позволение восстановить лотерею и снова открыл свои бюро; к концу месяца он получил прибыль в сто тысяч талеров. Затем Кальзабиджи выпустил тысячу акций, каждая ценой в тысячу талеров. В начале никто не хотел их брать, но когда распространился слух о его новом успехе, капиталисты набежали толпой. Лотерея шла своим чередом в течение нескольких лет, в конце которых она погибла по вине директора, издержавшего вдвое больше своего вероятного дохода. Я впоследствии узнал, что Кальзабиджи убежал в Италию и там умер.
- Во время моего пребывания в Берлине я впервые увидел его величество в придворном костюме, коротких панталонах и черных шелковых чулках. Это было по случаю брака его сына, наследного принца, с брауншвейгской принцессой. Все были очень удивлены видом вошедшего в зал короля, одетого в этот костюм. Один старик, мой сосед, уверял меня, что прежде никогда не видал короля иначе, как в военной форме и ботфортах...

Однажды после обеда я прискал в Потсдам. Я явился туда в ту минуту, когда король осматривал свою гвардию. Солдаты были великолепны. Каждый из них был по меньшей мере шести футов роста. Очень любопытны их маневры: эта масса голов, рук, ног принадлежала, казалось, одному телу; батальон двигался как один человек — автомат не двигался бы правильнее.

Там я видел дворцовые апартаменты чрезвычайной роскоши. В самой маленькой комнате, за ширмой, я заметил простую железную кровать: это была королевская постель. Не было ни халата, ни туфель; лакей по моей просьбе вынул из шкафа и показал мне ночной колпак, надеваемый великим Фридрихом, когда у него был насморк. Обычно его величество сохранял на голове шляпу даже тогда, когда спал, — привычка, должно быть, очень неудобная. Недалеко от кровати находился диван и стол, заваленный книгами и бумагами; в камине я заметил скомканные и полусгоревшие бумаги. Мне сказали, что месяц тому назад в этой комнате случился пожар и одна рукопись наполовину сгорела: это было описание Семилетней войны. Конечно, король снова написал рассказ об этой войне, потому что он был напечатан после его смерти.

Я ничего не могу сказать о любовных похождениях короля: к прекрасному полу он чувствовал отвращение и антипатию, которых нисколько не скрывал. Моя хозяйка рассказала мне по этому поводу любопытный факт, когда я однажды спросил ее, почему окна дома напротив гостиницы были заколочены.

— Так приказал король, — отвечала она. — Несколько лет тому назад его величество, проходя по улице, заметил у одного из этих окон Регину, очень красивую танцовщицу в пикантном negligé (она была в рубашке). Фридрих немедленно приказал заколотить эти окна, а хозяин все ждет смерти короля, чтобы их открыть.

Возвращаясь к истории сделанного мне предложения. Дело касалось места наставника в померанском кадетском корпусе, только что открытом. Кадетов всего было пятнадцать человек, а наставников пять, по три ученика на наставника. Жалование равнялось пятистам талерам, со столом и квартирой: значит, только самое необходимое. Правда, вся работа ограничивалась присмотром за учениками.

Прежде чем принять это место, единственное достоинство которого заключалось в доступе ко двору, я спросил у милорда маршала позволения осмотреть заведение. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что заведение находилось позади конюшен! Оно состояло из четырех или пяти залов без всякой мебели и двадцати маленьких конат, в каждой из которых стояли стол, кровать и лавка вместо стульев. В этих комнатах кадеты и жили. Воспитанники, юноши от двенадцати до шестнадцати лет, одетые в плохие мундиры, упражнялись в военном искусстве в присутствии нескольких человек, принятых мною за лаксес: это были учителя. В эту минуту было объявлено о приезде короля. Я был одет с иголочки, по моде, с кольцами и перстнями

на всех пальцах, с двумя золотыми часами и крестом. Его величество удостоил меня улыбкой и, взяв меня за воротник, спросил:

— Что это за крест?

— Орден Золотой шпоры.

— Кто вам дал его?

— Его святейшество папа.

Спрашивая меня, Фридрих посматривал то в одну, то в другую сторону; вдруг его глаза гневно заблестели, он начал кусать свои губы и ударил палкой по соседней койке, на которой я заметил ночную рубашку.

— Где учитель? — спросил король.

Счастливым смертным появляется, и король осыпает его бранью, которую здесь я не могу привести из скромности. Понятно, что после этого я отказался от места. Когда я увидел милорда маршала, он сказал мне:

— По крайней мере, не отказывайтесь, не увидав короля и не поговорив с ним.

Я намеревался отправиться в Россию; барон Трейдель дал мне несколько рекомендательных писем. Оставалось только проститься с королем. Я его нашел перед дворцом среди множества офицеров, шляпы которых были украшены перьями и золотыми галунами. Фридрих, как и в первый раз, когда я его увидел, был в простом мундире и ботфортах, без эполет, но на его груди красовался знак, осыпанный, как мне показалось, алмазами. Он производил смотр. Я прошел перед фронтом небольшого отряда, стоящего на коленях с ружьем наизготове и старавшегося достичь возможной степени окаменения. Король удостоил меня заметить издали; он подошел ко мне и воскликнул:

— Ну, когда же вы отправитесь в Петербург?

— Дня через четыре, если ваше величество позволит.

— С удовольствием; счастливого пути. Что вы рассчитываете делать в России?

— Увидеть императрицу.

— Вы рекомендованы ей?

— Нет, ваше величество, я рекомендован лишь одному банкиру.

— Это даже лучше. Если на обратном пути вы будете в Берлине, то повидайте меня и расскажите о своих впечатлениях. Прощайте.

При моем отъезде из Берлина у меня было двести дукатов — сумма, достаточная на дорогу, но в Данциге* я имел неосторожность проиграть ее, что не позволило мне остановиться в пути. У меня было рекомендательное письмо к фельдмаршалу Левальду, управителю Кенигсберга. Я представился ему, и он мне дал письмо к господину Воякову, в Ригу. До сих пор я путешествовал в дилижансе, но вступая в Россию, я почувствовал, что тут мне необходимо иметь вид вельможи, и нанял четырехместную карету в шесть лошадей.

* Данциг — бывшее немецкое название города Гданьск в Польше.

На границе какая-то личность остановила меня и потребовала уплаты за вещи, которые я вез с собой. Я ответил ему, как греческий философ, что ношу все с собой (увы, это было слишком справедливо!). Он все равно настаивал на осмотре моих чмо-данов. Я приказал кучеру ударить по лошадям, но неизвестный остановил их; кучер, полагая, что имеет дело с таможенным чиновником, не смел противиться ему. Тогда я выскочил из кареты с пистолетом в одной руке и палкой в другой; неизвестный понял мои намерения и принялся бежать. Мой лакей, лотарингец по происхождению, так и не тронулся с козел во время этой истории, несмотря на мои приказания. Когда дело кончилось, он сказал, что хотел предоставить мне всю честь победы.

Мой въезд в предместье Митавы* произвел эффект. Хозяева постоянных дворов почтительно кланялись мне, как бы приглашая остановиться у них. Мой кучер повез меня в самую лучшую гостиницу, стоящую напротив замка. Заплатив ему, я оказался собственником всего лишь трех дукатов.

На следующий день, рано утром, я поехал к господину Кайзерлингу с письмом от барона Трейделя. Госпожа Кайзерлинг удержала меня на завтрак. Молодая полька, прислуживающая нам за завтраком, была необыкновенно красива. Я не мог налюбоваться этой мадонной, неподвижно стоявшей около меня с опущенными глазами и с блюдечком в руке. Вдруг мне пришла мысль по меньшей мере странная в моем положении. Я вынул из жилетного кармана свои три дуката и ловко положил их на блюдечко, отдавая ей чашку.

После завтрака канцлер оставил меня. Возвратившись, он сказал мне, что видел герцогиню Курляндскую, которая приглашает меня на бал к себе в тот же вечер. От этого приглашения я содрогнулся и решил отказаться, сказав, что не имею подходящего платья.

Возвратившись в гостиницу, я был извещен хозяйкой, что камергер герцогини дожидается меня в соседней комнате. Эта личность сказала мне, что бал ее сиятельства будет балом-маскарадом и подходящий костюм я легко найду в городе. Он прибавил, что первоначально планировался обычный бал, но теперь его обратили в маскарад вследствие того, что приехал знатный иностранец, вещи которого были еще в дороге. Сказав это, камергер удалился по всем правилам этикета.

Мое положение было печально: как прикажете не явиться на бал, который был изменен ради меня? Я ломал себе голову, чтобы отыскать выход, когда еврей-торгаш явился с предложением разменять золотые фредерики на дукаты.

- У меня нет ни одного фредерика.
- Но у вас ведь найдется по крайней мере несколько флоринов?
- И флоринов нет.

* Митава (с 1917 — Елгава, Латвия) — столица Курляндского герцогства — феодального государства в 1561—1795, образованного при распаде Ливонского ордена. С 1710 году Курляндия стала вассалом России, а в 1795 была присоединена к Российской империи как Курляндская губерния.

— Вы были в Англии, как мне сказали, и у вас, наверное, имеются гинси?

— Их тоже нет; все мои деньги в дукатах.

— У вас их, конечно, много?

Этот вопрос был задан евреем с улыбкой, и это заставило меня предположить, что еврей очень хорошо знал, в чем дело. Затем он тотчас же прибавил:

— Я знаю, что вы легко освобождаетесь от денег, а при жизни, которую вы ведете, несколько сот дукатов хватает вам ненадолго. Мне нужно четыреста рублей на Петербург; можете ли вы выдать мне перевод на эту сумму по цене двухсот дукатов?

Я сразу же согласился и выдал ему перевод на греческого банкира Папанельполо. Любезность еврея происходила единственно вследствие трех дукатов, данных мною служанке. Нет ничего легче, а потому и труднее, чем добыть денег: все зависит от манеры, как приняться за дело. Не сделай я легкомысленного поступка, я бы так и остался без денег.

Вечером Кайзерлинг представил меня герцогине и ее супругу, знаменитому Бирону, прежнему любимцу русской императрицы Анны. Это был согнутый, лысый старик. При внимательном рассмотрении можно было убедиться, что в молодости он был очень красив.

На балу танцы продолжались до утра. Красивых женщин было много, и я надеялся быть представленным некоторым из них во время ужина, но на этот раз мне не повезло. Герцогиня взяла меня под руку, и таким образом я очутился за столом, где сидели одни лишь старухи.

Спустя несколько дней я оставил Митаву и направился в Ригу с рекомендательным письмом к Карлу Бирону, жившему там. Герцог дал мне одну из своих карет, в которой я доехал до этого города. Перед отъездом он спросил, какой подарок мне будет приятнее: перстень или его стоимость деньгами. Я высказался за деньги, что составило четыреста талеров.

В Риге принц Карл принял меня отлично: он предложил мне свой стол и свой кошелек; дело не касалось жилья, потому что и сам принц жил в небольшом помещении, но все-таки он нашел для меня очень удобную квартиру.

В первый раз, когда я обедал у принца, я встретился с Кампиони, танцором. По уму и манерам он был гораздо выше своего положения. Среди других приглашенных были: какой-то барон Сент-Элен из Савойи, игрок, развратник и плут; его жена — отцветавшая красота; адъютант и молодая особа, очень хорошенькая, сидевшая по правую руку принца. Эта дама имела грустный вид, ничего не ела и пила только воду. Кампиони знаком дал мне понять, что она была любовницей принца.

После обеда Кампиони повел меня к себе и представил своему семейству. Его жена, англичанка, показалась мне очень милой женщиной, но не было никакой возможности смотреть на нее после того, как я увидел ее дочь — свеженькую красивую девочку тринадцати лет, которой можно было дать восемнадцать. Мы совершили прогулку с этими дамами. Кампиони отошел со мной в сторону.

— Вот уже десять лет, как я живу с этой женщиной. Бети, которая вам так нравится, не моя дочь; мои родные дети со мной не живут.

— Куда же вы их дели — плод вашей любви к первой жене?

— Они делают то же, что делаю до сих пор я и что так смешно в мои лета: они танцуют.

— Я думал, что здесь нет театра.

— Я открыл танцевальную школу.

— И это дает вам достаточно средств к существованию?

— Я играю у принца; иногда я проигрываю, но в большинстве случаев остаюсь в выигрыше. Однако мое положение скверно: я сделал долг, а мой кредитор не знает приличий, требуя уплаты долга, и с минуту на минуту меня могут посадить в долговую тюрьму. Дело в шестистах рублях — не шутка, как видите.

— Как же вы заплатите?

— Делать мне нечего — никому не заплачу. Скоро начнутся холода, и я сбегу в Польшу. Барон Сент-Элен, которого вы видели у принца, тоже намеревается сняться с якоря. Вот уже три года, как он проповедует терпение своим кредиторам, которых очень много: мы сбежим вместе. Принц, принимающий нас, очень нам полезен, потому что его дом — единственное место в городе, где можно играть не боясь скандала, но на денежную помощь от него нельзя рассчитывать — он и сам в долгах. Его любовница обходится ему очень дорого и делает принца несчастным — она не говорит с ним вот уже два года из-за того, что он не хочет на ней жениться. Принц с радостью отделался бы от нее; он предложил ей в мужья одного офицера, но дама желала бы по меньшей мере капитана, а все капитаны, что находятся здесь, отвечают, что им более чем достаточно и одной жены.

Я пожалел бедного Кампиони — вот и все, что я мог для него сделать. Английский банкир барон Коллинз, с которым у меня были дела, рассказал мне впоследствии, что Кампиони сбежал через месяц после нашего разговора, а Сент-Элен сделал то же самое на следующий день. Коллинз, которому Сент-Элен был должен тысячу рублей и которого называл другом, показал мне прощальное письмо этого господина. Письмо было написано в веселом духе; прощаясь, Сент-Элен писал, что как честный человек он ничего с собой не увозит, даже своих долгов, которые оставляет там, где их понаделал.

Я оставил Ригу пятнадцатого декабря и направился в Петербург. Туда я приехал спустя шестнадцать часов. Расстояние между этими городами приблизительно такое же, как между Парижем и Лионом. Я позволил ехать на козлах одному бедному лакею-французу, который прислуживал мне без всякого вознаграждения во время всего пути. Спустя три года я не был особенно удивлен, увидав его рядом со мной за столом у господина Черышова: он мне сказал, что стал гувернером сыновей в этом доме. Но не будем забежать вперед: у меня еще много есть чего рассказать о Петербурге, прежде чем говорить о лакеях, ставших гувернерами у князей.

Россия

Петербург порастил меня своим странным видом. Мне казалось, что я вижу колонию дикарей среди европейского города. Улицы длинные и широки, площади громадны, дома обширны; все ново и грязно. Известно, что этот город был построен Петром Великим, а его архитекторы подражали европейским городам. Тем не менее в этом городе чувствуется близость пустыни и Ледовитого океана. Нева, спокойные волны которой омывают стены множества строящихся дворцов и церквей, не столько река, сколько озеро.

Я нанял две комнаты в гостинице, окна которой выходили на главную набережную. Моим хозяином был немец из Штутгарта, недавно поселившийся в Петербурге. Легкость, с которой он объяснялся со всеми этими русскими, удивила бы меня, если бы я не знал, что немецкий язык очень распространен в этой стране. Одно лишь простонародье говорит на местном наречии.

Мой хозяин, видя, что я не знаю, куда себя девать в этот вечер, сообщил мне, что во дворце будет бал, куда приглашено до шести тысяч человек и который будет продолжаться в течение шестидесяти часов. Я принял предложенный им билет и, надев маскарадный костюм "домино", отправился в императорский дворец.

Общество было уже в сборе, а танцы в разгаре; везде виднелись буфеты со всякого рода яствами; способными насытить всех голодных. Роскошь мебели и костюмов поражали своей странностью: вид был удивительный. Я размышлял об этом, как вдруг услышал произнесенную кем-то фразу: "Посмотрите, это императрица; она думает, что ее никто не узнает!".

Я принялся следить за указанным "домино" и вскоре убедился, что это была действительно императрица Екатерина. Все говорили то же самое, делая, однако же, вид, что не узнают ее. Она гуляла среди толпы, и это, видимо, доставляло ей удовольствие; по временам она садилась позади группы и прислушивалась к непринужденным разговорам. Императрица, конечно, могла таким образом услышать что-нибудь непочтительное в свой адрес, но, с другой стороны, могла также услышать и правду о себе — счастье, редко выпадающее на долю монархов. В нескольких шагах от императрицы я заметил мужчину огромного роста, в маске: это был Орлов.

Еще не рассветало, когда я вернулся в свою гостиницу. Я лег спать с намерением проснуться только к часу богослужения, которое должно было состояться в полдень в церкви Кармелитов. Выспавшись хорошо, я несколько удивился, заметив, что еще ночь. Я снова заснул и на этот раз проснулся при солнечном свете. Я приказал позвать парикмахера и наскоро оделся: часы показывали одиннадцать. Лаксэй спросил меня, буду ли я завтракать. Будучи голоден, я, тем не менее, ответил:

— После
— Сегодня
— Как
— Сегодня,
часов.
И правда, я
день в моей ж
Вместо цер
мо. Рекоменда
его бывшей л
принят превос
у него. В его
кухня, изобил
ленная игра в
женатым на
В тот же
высшего свет
похвальбы. П
освобождали
кий барон Ла
та, соратник
неприятное
время корон
открыть лот
ством; вслед
вина пала
Так как
нескольких
тысяч рубл
взволнован
отменной
— Есть
играл на с
— А ч
— Чес
крайней м
что тот, к
выигравш
делает ег
— Так
от ставки
— Ни
почти все
но это б
света, от
смеющи
У Ме
офицера
вых. С
ка.

- После обедни.
- Сегодня нст обедни, — отвечал лакей.
- Как "нст обедни"?! В воскресенье? Вы шутите.
- Сегодня, сударь, понедельник. Вы спали подряд тридцать

часов.

И правда, я проспал воскресенье. Это, кажется, единственный день в моей жизни, который я действительно потерял.

Вместо церкви я отправился к генералу Ивановичу-Мелиссимо. Рекомендательное письмо к нему было от госпожи Лольо, его бывшей любовницы; благодаря этой рекомендации я был принят превосходно. Он раз и навсегда пригласил меня обедать у него. В его доме все было на французский манер: прекрасная кухня, изобилие вин, оживленный разговор и еще более оживленная игра в карты. Я быстро подружился с его старшим сыном, женатым на княжне Долгорукой.

В тот же день я сел за фараон; общество состояло из лиц высшего света, проигрывавших без досады и выигрывавших без похвалы. Поведение гостей, так же как и их высокое положение, освобождало игравших от придирок полиции. Банкиром был некий барон Лефорт, сын племянника известного адмирала Лефорта, соратника Петра. С этим молодым человеком случилось неприятное приключение, и потому он был в немилости; во время коронации императрицы в Москве он получил привилегию открыть лотерею, основным капитал которой был дан правительством; вследствие ошибок управления лотерея прогорела, и вся вина пала на него.

Так как я играл осторожно, то весь мой выигрыш состоял из нескольких рублей. Князь *** потерял на моих глазах десять тысяч рублей за один удар, но, казалось, нисколько не был этим взволнован. Видя это, я выразил Лефорту свой восторг по поводу отменной выдержки, столь редкой у игроков.

— Есть чему удивляться! — ответил мне банкир. — Князь играл на слово и не заплатит; он так всегда делает.

— А честь?

— Честь не заинтересована в карточных долгах: таковы, по крайней мере, нравы у нас. Существует как бы договоренность, что тот, кто проигрывает на слово, волен платить или не платить; выигравший рискует быть смешным, требуя уплаты, которую не делает его противник.

— Такой обычай должен был бы дать право банкиру отказаться от ставки того или иного лица.

— Ни один банкир не осмелится сделать это: проигравший почти всегда уходит не заплатив; самые честные оставляют залог, но это бывает редко. Здесь собираются молодые люди высшего света, открыто играющие в так называемую фальшивую игру и смеющиеся над теми, кто выигрывает.

У Мелиссимо я познакомился также с молодым гвардейским офицером по фамилии Зиновьев, близким родственником Орловых. Он представил меня английскому посланнику, лорду Маккартнею. Этот посланник — молодой, богатый, любезный и

красивый — влюбился в одну фрейлину. Их связь обнаружилась. Императрица простила фрейлину, но настояла на отозвании посланника.

Госпожа Лольо дала мне также письмо к княгине Дашковой, находившейся тогда в немилости и жившей в своих владениях. Я отправился к ней за три тысячи верст от столицы. Княгиня была в трауре после смерти мужа. Она предложила рекомендовать меня графу Панину. Я узнал, что Панин часто приезжал к княгине Дашковой, и находил непонятным, как императрица могла допустить, чтобы ее министр находился в интимных отношениях с женщиной, находящейся в ссылке. Тайна объяснилась впоследствии: я узнал, что Панин был отцом княгини*; до тех пор я думал, что он был ее любовником.

Княгиня Дашкова состоит теперь президентом Петербургской академии наук. Кажется, что Россия есть страна, где женщины и мужчины поменялись ролями: женщины управляют, женщины председательствуют в ученых обществах, женщины участвуют в администрации и дипломатии. Не достает лишь одного в этой стране, одной привилегии этим красавицам: быть во главе войска.

В день Крещения я присутствовал на Неве, на странной церемонии — благословлении речной воды. Нева тогда была покрыта льдом в четыре фута толщиной. Эта церемония привлекает огромную толпу, потому что после богослужения там крестят новорожденных, погружая их нагими в прорубь...

В Мемеле** госпожа Брөгончи дала мне письмо к одной венецианке, госпоже Роколини, приехавшей в Петербург с намерением поступить на сцену Большого театра в качестве певицы. Эта девица, ничего не понимающая в пении, не поступила на сцену. Тут она познакомилась с одной француженкой, женой купца по имени Прот. Роколини, которую в Петербурге называли синьора Виченца, бывая у Прот, вскоре познакомилась со всем ее обществом и вошла в моду.

Увидав Роколини, я сразу же узнал ее: лет двадцать тому назад я знал ее в Венеции. Я, однако, не решился напомнить ей о себе, боясь дать ей понять, что знаю, как она стара. Думаю, что и она узнала меня. У ней был брат по имени Монтальти, который намеревался убить меня однажды вечером на площади св. Марка. Впоследствии я узнал, что Роколини была душой заговора, направленного против моей жизни.

Она встретила меня одновременно и как новое лицо, и как старого знакомого, пригласив меня к себе на следующий день. — Если вы любите красивых женщин, — сказала она, — то я покажу вам настоящее чудо в этом отношении.

Действительно, Прот была в числе приглашенных, и никогда еще я не видел более красивой женщины, а моя слабость к прекрасному полу известна. Я стал за ней ухаживать и в конце

* Казанова, очевидно, имел неверные сведения: княгиня Дашкова — урожденная Воронцова.

** Мемель — прежнее название Клайпеды.

концов пригласил ее пообедать со мной в Екатерингофе у отличного болонского ресторатора, которого не забыли еще гурманы, — знаменитого Локателли. Вместе с ней я пригласил Зиновьева, госпожу Колонна, синьору Виценцу и одного музыканта, ее друга. Обед прошел очень весело...

Незадолго до моего отъезда в Москву императрица поручила своему архитектору Ринальди построить на Дворцовой площади большой деревянный амфитеатр, чертеж которого я видел. Ее величество намеревалась дать большую карусель, где бы блистал цвет воинов ее империи. Все подданные монархини были собраны на этот праздник, который, однако же, не имел места: дурная погода помешала этому.

Было решено, что карусель состоится в первый хороший день, но этот день не наступил; действительно, утро без дождя, ветра или снега чрезвычайно редко в Петербурге. В Италии мы рассчитываем на хорошую погоду; в России, напротив, нужно рассчитывать на скверную. Поэтому я всегда смеюсь, когда встречаю русских путешественников, рассказывающих о чудесном небе их родины. Странное небо, которое я, по крайней мере, мог видеть не иначе, как в форме серого тумана, выпускающего из себя густые хлопья снега. Но пора поговорить о моем путешествии в Москву.

Мы выехали из Петербурга вечером; так, во всяком случае, следовало думать вследствие услышанного выстрела из пушки. Без этого мы никак этого не полагали, потому что тогда был конец мая, а в это время года в Петербурге не бывает ночи. В полночь отлично можно писать письмо без помощи свечки. Великолепно, не правда ли? Я готов с этим согласиться, но в конце концов это надоедает. Шутка становится нелепой, когда повторяется слишком часто. Кто может вынести день, продолжающийся без перерыва в течение семи недель?

Я нанял кучера с каретой в шесть лошадей за восемьдесят рублей. Это дешево, если вспомнить, что переезд равняется шестистам двум верстам, что составляет около пятисот итальянских миль. В Новгороде, где мы остановились, я заметил, что мой кучер очень печален. Я расспрашиваю его, и он отвечает мне, что одна из лошадей не хочет есть и вследствие этого, вероятно, мне придется отказаться от продолжения путешествия. Я отправляюсь с ним в конюшню и действительно вижу бедное животное, лежащее без признаков жизни. Мой кучер обращается к лошади и просит ее в самых ласковых выражениях снизойти до еды; потом начинает ласкать ее, берет за голову, целует ей ноздри, но лошадь по-прежнему остается неподвижной.

Тогда кучер начинает рыдать, а я хохочу как сумасшедший, поскольку вижу, что намерением чувствительного кучера было тронуть лошадь зрелищем его печали. Через четверть часа кучер излил все свои слезы и решил прибегнуть к другим средствам: прежде его душили слезы, теперь он приходит в бешенство. Кучер наделяет несчастное животное самыми страшными ругательствами и, вытащив лошадь из конюшни, привязывает ее к

столбу и начинаст бить. После этого он ведет ее снова в конюшню и предлагает ей сена: лошадь принимается есть. Таким образом, мир заключен, и мое путешествие становится возможным.

Только в России палка имеет такие результаты. Теперь, как меня уверяют, палка уже не стала так сильно влиять: русские перестали в нее верить. К их несчастью, они привыкают к французским нравам, деморализуются. Да остерегутся они этого! Как далеки они теперь от того доброго старого времени Петра Великого, когда палочные удары наделались методично. Полковник подвергался кнуту генерала, и сам колотил капитана, возвращавшего удары поручику, который, в свою очередь, передавал их капралу; один лишь солдат не мог их никому передавать, но взамен этого имел возможность получать их от всякого.

В Москве я остановился на хорошем постоялом дворе. После обеда — а пообедать после путешествия весьма необходимо — я взял наемную карету и отправился развозить рекомендательные письма, имевшиеся у меня от разных лиц. В промежутках между визитами я осматривал город, но запомнил только то, что постоянный звон колоколов чуть не оглушил меня. На следующий день мне были отданы все визиты, сделанные мной. Всякий желал угостить меня обедом, но особенно был любезен Демидов.

Тот, кто не видал Москвы, не видал России, а тот, кто знает русских только по Петербургу, не знает настоящих русских. Здесь считают иностранцами жителей новой столицы. Действительной столицей России долгое время будет еще Москва; старый москвит ненавидит Петербург и при случае готов произнести против него приговор Катона* против Карфагена.

Оба города соперничают не только своим положением и значением, но и по другим причинам — как религиозным, так и политическим — города являются врагами. Москва держится прошлого: это город преданий и воспоминаний, город царей, дочь Азии, весьма удивленная тем, что находится в Европе. Патриархальность придает городу особенный колорит.

За неделю я осмотрел все: церкви, памятники, фабрики, скверные библиотеки — скверные потому, что народонаселение, стремящееся к застою, не может любить книги.

Что же касается общества, то оно показалось мне более приличным и цивилизованным, чем петербургское. В особенности очень любезны московские дамы; они ввели обычай, который бы следовало ввести и в других странах: достаточно поцеловать им руку, чтобы они поцеловали вас тотчас в щеку. Трудно пред-

Катон, Марк Порций (234—149 до н. э.) — государственный деятель и писатель Древнего Рима. Будучи сторонником новых завоеваний и территориальных расширений, требовал разрушения Карфагена — сильного торгового конкурента Рима, заканчивая свою каждую речь в сенате словами: "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam" (А кроме того, я утверждаю, что Карфаген должен быть разрушен. *Лат.*).

ставить себе число хорошеньких ручек, которые я перецеловал во время моего первого пребывания там.

За столом прислуживают плохо и беспорядочно, но зато блюда многочисленны. Это единственный в мире город, где богатые люди держат действительно открытый стол. Для того чтобы прийти на обед, не нужно быть приглашенным, достаточно быть известным хозяину. Бывает также, что друг приводит многих своих знакомых: их принимают так же хорошо, как и других. Не бывает случая, чтобы русский сказал: "Вы являетесь слишком поздно". Они не способны на такую невежливость.

В Москве целый день готовят пищу. Там повара частных домов заняты так же, как и рестораторы Парижа, а хозяева дома подвигают так далеко чувство приличия, что считают себя обязанными есть на всех этих трапезах, которые зачастую продолжают без перерыва до самой ночи. Я никогда бы не обзавелся домом в Москве: мой кошелек и мое здоровье одинаково были бы разорены.

Русский народ — самый обжорливый и самый суеверный в мире. Св. Николай почитается здесь больше, чем все святые, вместе взятые. Русский не молится Богу, он поклоняется св. Николаю, изображения которого встречаются здесь повсюду: я видел их в столовых, кухнях и других местах. Посторонний, являясь в дом, прежде всего должен поклониться изображению святого, а потом уже хозяину.

Я видел москвитов, которые, войдя в комнату, где случайно не было изображения святого, переходили из комнаты в комнату, ища его. В основе всего этого лежит язычество. Страннее всего то, что русский язык есть татарское наречие, между тем как богослужение происходит на греческом языке, так что верующий в продолжении всей своей жизни повторяет молитвы, в которых не понимает ни одного слова. Перевод считался бы делом нечестивым*...

По приезде в Петербург первый мой визит был к графу Панину; он был в то время наставником великого князя Павла, наследника престола. Панин спросил меня, имею ли я намерение уехать из Петербурга, не будучи представленным императрице. Я ему ответил, что чрезвычайно сожалею, но это счастье для меня недоступно за неимением лица, которое бы меня представило ей. Тогда граф показал мне рукой на сад, где ее величество имеет привычку прогуливаться по утрам.

— Но каким образом и в каком качестве мне представиться?

— Да просто так.

— Я — неизвестный для императрицы...

— Вы ошибаетесь; она видела вас и обратила на вас внимание.

* Мы приводим это место как образчик тех изгладов, которые существовали в восемнадцатом столетии по отношению к России. Оно характерно также и по отношению к Казанове: авантюрист, очевидно, лжет сознательно и нахально, уверенный в том, что его не уличат во лжи. *Примеч. пер.*

— Я, во всяком случае, не посмею подойти к ее величеству без помощи кого-либо.

— Я буду тут.

Мы условились относительно дня и часа, и в назначенное время я уже прогуливался один, рассматривая расположение сада. Аллеи были наполнены множеством статуй самой жалкой работы. Это были горбатые Аполлоны, худошавые Венеры, Аму-надписи к фигурам были сильно напутаны. Я вспоминаю улыбающуюся безобразную фигуру, которая носила имя Гераклита, и другую плачущую физиономию, обозванную Демокритом*. Старец с длинной бородой назывался Сафо**, а старуха получила имя Авиценна***.

Я еле сдержал свою улыбку, подходя к императрице. Ей предшествовал Орлов в сопровождении многих дам. Граф Панин шел рядом с Екатериной.

После первых приветствий она спросила меня, как я нахожу сад. Я ей повторил то, что ответил королю прусскому на подобный же вопрос.

— Что же касается подписей, то их поместили, чтобы обманывать невежд и для развлечения тех, кто имеет хоть какое-то понятие об истории.

— Ни подписи, ни статуи ничего не стоят. Мою бедную тетюшку**** обманули. Надеюсь, что в России вы видели менее смешные вещи.

— Ваше величество, то, что может возбудить смех в вашем государстве, не может быть даже и сравнимо с тем, что приводит в восторг иностранцев.

В разговоре я имел случай упомянуть о короле прусском и выразить свое уважение к нему. Екатерина пригласила меня пересказать ей разговор, который я имел с ним. Я все пересказал.

В то время все говорили о празднике, который желала дать императрица, празднике, о котором я уже упомянул. Дело касалось турнира, на котором должны были появиться лучшие воины ее государства. Екатерина спросила, бывают ли такие праздники в Италии.

— Конечно, тем более что климат Венеции благоприятствует

* Гераклит Эфесский (ок. 530—470 до н. э.), Демокрит (ок. 460—ок. 370 до н. э.) — древнегреческие философы-материалисты.

** Сафо (Сапфо) (конец VII—VI вв. до н. э.) — древнегреческая поэтесса, жившая на острове Лесбос.

*** Авиценна (Ибн Сина) (980—1037) — ученый и поэт народов Средней Азии и Ирана, сыгравший огромную роль в развитии медицины, естествознания и философии.

**** Имеется в виду императрица Елизавета Петровна (1709—1761), тетка Петра III, мужа Екатерины, убитого во время дворцового переворота 1762 года, в результате которого Екатерина пришла к власти.

подобным увсселениям; прекрасные дни там так же часты, как они редки здесь, хотя иностранцы находят, что здесь год моложе, чем в других местах.

— Да, это правда; ваш год на одиннадцать дней длиннее*.

— Не было ли бы реформой, достойной вашего величества, — возразил я, — ввести в ваше государство григорианский календарь? Ваше величество знает, что он везде принят. Даже Англия в последние четырнадцать лет сократила год на одиннадцать дней февраля, что составило ей экономию многих миллионов. Другие европейские страны с удивлением наблюдают, что старый стиль еще существует в империи, монархия которой в то же время является представительницей церкви и где существует академия наук. Считается, что Петр Великий, приказавший считать год с первого января, уничтожил бы и старый стиль, если бы не считал себя обязанным придерживаться примера Англии, которая поглощала торговлю его государства.

— И к тому же, — возразила императрица, — Петр не был ученым.

— Он был больше чем ученый: это был великий ум, необыкновенный гений. Какое понимание обстоятельств! Какое умение управлять ими! Какая решительность! Какая смелость! Он преуспел во всех своих предприятиях, потому что умел избегать ошибок и искоренял злоупотребления.

Я продолжал еще хвалить Петра, в то время как императрица уже отвернулась от меня. Я полагал, что она не без удовольствия слушала похвалы, расточаемые мной ее предшественнику.

Обеспокоенный странностью, которая окончила этот разговор, я обратился позже к графу Панину, уверившему меня, что я очень понравился императрице и она ежедневно осведомляется обо мне. Он советовал пользоваться случаями видеть ее.

— К тому же, — прибавил он, — так как вы ей понравились, то она вызовет вас, и если вы желаете поселиться здесь, то получите место.

Не зная, какое занятие могло быть приятно мне в стране, которая мне не нравилась, я, тем не менее, был польщен хорошим отношением ко мне со стороны императрицы, не говоря уже о том, что благодаря этому обстоятельству я имел доступ ко двору. Поэтому я всю пользовался предоставленной мне привилегией и каждое утро отправлялся в сад ее величества. Однажды мы встретились, и она поздоровалась со мной очень любезно.

— То, что вы желали для чести России, уже сделано, — сказала Екатерина. — С сегодняшнего числа все письма, адресованные за границу, и все официальные акты, имеющие историческое значение, будут иметь даты как по новому, так и по старому стилю одновременно.

— Осмелюсь заметить вашему величеству, что теперь старый

* Разница между юлианским и григорианским календарем составляла для XVIII века одиннадцать дней, для XIX — двенадцать.

стиль опаздывает только на одиннадцать дней, но в конце столетия разница будет больше.

— Я и это предвидела. Последний год нынешнего столетия, не являющийся в других странах високосным вследствие григорианской реформы, точно также не будет високосным и у нас*. Кроме того, ошибка составляет одиннадцать дней, что вполне соответствует числу, на которое ежегодно увеличиваются эпакты**; это позволяет нам сказать, что ваши эпакты равняются нашим с разницей лишь одного года. Вы установили равноденствие на двадцать второе марта, мы — на десятое, но по этому поводу астрономы не высказываются. Вы и правы и не правы, ибо дата равноденствия подвижна: она бывает одним, двумя, или тремя днями позже или раньше.

Я был поражен, говоря себе: "Вот настоящая лекция по астрономии". Найдя, наконец, возможные возражения, я сказал:

— Могу только восторгаться словами вашего величества, но как быть с праздниками Рождества Христова?

— Я ожидала этого возражения; Рим прав, и вы хотите сказать, что у нас Рождество празднуется не во время зимнего солнцестояния, как это должно было бы быть. По моему мнению, это возражение не имеет значения; к тому же справедливость и политика заставляют меня мириться с этой незначительной не-правильностью. Я не хочу вычеркивать одиннадцать дней из календаря и лишить тем самым трех миллионов жителей — в том числе и себя — дня их рождения и именин. К тому же против меня можно было бы сказать, что я уничтожаю решения Никейского собора***.

Аргумент был неоспоримый. Понятно, что нельзя идти против решений Никейского собора. По мере того как говорила императрица, мое удивление росло, но вскоре я заметил, что все, о чем она говорила, было до известной степени подготовлено и заучено, так что можно было удивляться одной лишь ее памяти. И действительно, я узнал на следующий день, что императрица имела в кармане небольшое руководство по астрономии, с помощью которого она могла блистать эрудицией сколько угодно...

В ту эпоху, о которой я говорю, императрица Екатерина была еще молода, высокого роста, довольно полна, с открытым выражением бледного лица. Я был очень тронут ее добротой, которая привлекала к ней сердца всех и которой так недоставало королю прусскому.

Когда рассматриваешь жизнь Фридриха, невольно удивляешься чрезвычайной смелости, с которой он вел все свои войны, но вскоре приходишь к заключению, что он был бы побежден без

* Это решение Екатерины, не дожившей до последнего года восемнадцатого столетия, не осуществилось. 1800 год был в России високосный, и разница между двумя стилями увеличилась до двенадцати дней.

** Число дней, на которые солнечный год длиннее лунного. *Примеч. пер.*

*** Юлианский календарь был принят христианской церковью Никейским собором в 325 году.

счастливых случайностей. Фридрих всегда рассчитывал на случай; это был, если можно так сказать, настолько же смелый, насколько и ловкий игрок. Открыв же историю Екатерины, вы увидите, напротив, что она мало рассчитывала на блестящие удары, но с успехом осуществила предприятия, которые прежде считались невыполнимыми; кажется, что вся ее гордость заключалась в том, чтобы уверить всех, как это легко делается.

Императрица постоянно говорила со мной о календаре. Все это нисколько не подвигало моих дел. Я решил еще раз предстать перед ней, рассчитывая на другой сюжет разговора. Заметив меня, Екатерина сделала знак, чтобы я подошел.

— Кстати, — сказала она, — я забыла спросить вас, есть ли у вас какие-либо возражения против моей реформы?

— По отношению к календарю?

— Да.

— Осмелюсь сказать вашему величеству, что сам реформатор заметил небольшую ошибку, но эта ошибка так ничтожна, что ее придется исправить только через восемь или девять тысяч лет.

— Мои соображения совпадают с вашими; но если это справедливо, то Григорий XIII* напрасно признал ошибку, ибо законодатель не должен знать ни слабости, ни бессилья. Не смешно ли думать, что если бы реформатор не уничтожил високосный год в конце столетия, то через пятьдесят тысяч лет у нас оказался бы лишний год! Наследник апостола Петра, как у вас называют папу, встретил среди верующих своей церкви такую покорность, которую напрасно искал бы здесь, где все преданы старым обычаям.

— Я не сомневаюсь, что воля вашего величества восторжествовала бы над всеми затруднениями.

— Я и сама так думаю, но как бы были опечалены члены моего духовенства, если бы я заставила их вычеркнуть из календаря множество праздников, назначенных на эти одиннадцать дней? У католиков есть только один святой для каждого дня, а у нас не так. Вы, кроме того, заметите, что самые старые государства настойчиво придерживаются своих первобытных учреждений; народ прав, считая их хорошими, если их не изменяют. В этом отношении я вполне одобряю обычай на вашей родине, по которому год начинается первого марта, — это признак древности Италии. Но удобно ли это?

— Вполне удобно: благодаря двум буквам, прибавляемым нами к дате в январе и феврале, недоразумение невозможно.

— Говорят также, что вы не делите на две части день по двенадцать часов в каждой?

— Действительно, наши сутки начинаются с началом вечера.

— Странно! Но если вы это считаете удобным, то мы не согласны с вами.

* Григорий XIII — римский папа [1572—1585], произведший в 1582 году реформу календаря.

— Ваше величество позволит мне думать, что наш обычай предпочтительнее вашего: нам не нужно стрелять из пушки, чтобы возвестить о заходе солнца.

— Прекрасно, но у нас есть большое преимущество: знать несомненно, что наступили полдень или полночь, когда стрелка наших часов показывает двенадцать.

После этого Екатерина коснулась других венецианских обычаев и заговорила между прочим об азартных играх и лотерее.

— И мне предлагали, — сказала она, — устроить в моей империи лотерею. Я согласилась, но с условием, что ставка будет не больше одного рубля, чтобы оградить кошелек бедного, который, не зная тонкостей игры и обманчивого соблазна, представляемого ею, мог бы думать, что по терне легко выиграть.

Таким был мой последний разговор с Великой Екатериной, бесподобной монархиней, которую я никогда не забуду.

В Варшаве

По приезде в Варшаву я остановился у Кампиони, который был тогда во главе танцевальной школы. На следующий день я стал развозить рекомендательные письма, полученные мной в Петербурге. Я начал с визита князю Адаму Чарторьскому; он был в своем кабинете в обществе тридцати или сорока лиц. Прочитав рекомендательное письмо, князь принялся хвалить лицо, от которого оно было, и пригласил меня на ужин.

Я принял приглашение и отправился к польскому послу во Франции, графу Сулковскому, человеку значительных сведений, большому дипломату, мозги которого были переполнены различными проектами вроде проектов аббата Сен-Пьера. Он очень обрадовался, увидав меня, и, желая со мной поговорить, удержал меня на обед. Я целых четыре часа просидел за столом, играя роль не сколько приглашенного, сколько ученика, которого экзаменуют. Граф Сулковский говорил мне обо всем, за исключением того, о чем я сам мог говорить. Его слабостью была политика: граф решительно подавил меня своим превосходством в этом отношении, и я отправился к князю Адаму с целью забыть трескотню дипломата.

Там я нашел большое общество: генералов, епископов, министров, Виленского воеводу и, наконец, самого короля*, которому князь представил меня. Его величество много расспрашивал меня об императрице Екатерине и о лицах ее двора. Я был очень счастлив, что мог рассказать кое-какие подробности, живо ин-

* Имеется в виду Станислав Август Понятовский (1732—1798), последний польский король [1764—1795], один из фаворитов Екатерины II, с чьей помощью он был избран королем. После его отречения от престола в 1795 году Польша вошла в состав Российской империи.

интересовавшие короля. За ужином я сидел по правую сторону монарха, и он не переставал со мной говорить. Король польский был малого роста, но хорошо сложен, с выразительным лицом; он говорил хорошо, и в его разговоре было много ума и блеска.

На следующий день князь Адам повез меня к воеводе русскому. Я нашел этого знаменитого человека окруженным лицами его свиты, одетыми в национальные костюмы, в больших сапогах, кафтанах, с бритыми головами. Этот-то воевода и был главной причиной беспорядков в Польше. Недовольные положением, которое он и его брат, литовский канцлер, имели при дворе, они стали во главе заговора, который должен был низвергнуть с престола саксонского короля* и заместить его при поддержке России молодым Станиславом Понятовским, который был назван Станиславом Августом.

Несмотря на мое примерное поведение, не прошло и трех месяцев со времени моего приезда в Варшаву, как я очутился в больших затруднениях. Счеты поставщиков падали на меня со всех сторон, а денег у меня не было. Но судьба доставила мне двести дукатов. Некий господин Шмидт, которому король не без причины предоставил помещение в замке, пригласил меня на ужин. Там я познакомился с остроумным епископом Красинским, аббатом Джиджиотти и двумя-тремя другими лицами, нелишенными знания итальянской литературы.

Король, бывший всегда в хорошем расположении, когда находился в обществе, знавший к тому же классиков так, как ни один король, стал говорить о некоторых римских поэтах и прозаиках. Я с удовольствием слушал, как он то и дело ссылаясь на рукописи схоластов, существовавших лишь в воображении его величества. Но слушал я не говоря ни слова, занимаясь едой. Дело, наконец, коснулось Горация; всякий цитировал то или другое выражение. Все одобряли его философию. Удивленный моим молчанием, аббат Джиджиотти спросил меня:

— Если господин Казанова не согласен с нами, то почему бы ему не высказать своего мнения?

— Если вам угодно знать мое мнение о Горации, — сказал я, — то должен сознаться, что для меня существуют поэты, знавшие лучше его обычаи и дух дворов. Некоторые из его поэм, восхваляемые вами за их вкус и светскость, являются, в сущности, довольно грубой сатирой.

— Но что может быть выше соединения в сатире изящества с правдой?

— Это было легко для Горация, у которого была только одна цель, даже в сатирах: льстить Августу**. Этот монарх обессмертил себя покровительством писателям своего времени: вот что сделало популярным его имя среди позднейших монархов; они стали присваивать себе его имя и отказываться от своего.

* Имеется в виду Август III (1696—1763), польский король и саксонский курфюрст.

** Август (Augustus), Гай Октавий (69 до н. э.—14 н. э.) — римский император, внучатый племянник Юлия Цезаря, усыновленный им.

Я уже говорил, что польский король принял имя Августа при восшествии своем на престол. Мои слова обратили на себя внимание его величества, и он спросил у меня, кто же те монархи, что отказались от своих имен и приняли имя Августа. — Первым был король шведский, — отвечал я, — называвшийся Густавом.

— Но какую связь видите вы между Густавом и Августом?

— Одно есть анаграмма другого*.

— Где вы это нашли?

— В одной рукописи.

Король расхохотался, вспомнив, что и он ссылался на рукописи. Затем он спросил меня, не помню ли я каких-либо стихов Горация, в которых сатира приодета в светские и серьезные формы. Я тотчас же ему ответил:

— *Coram rege sua de pouperlatu tacentes plus quam poscentes ferent.*

— Да, это правда, — сказал король, улыбаясь.

Госпожа Шмидт попросила епископа объяснить ей значение этих латинских слов.

— Тот, кто не выказывает свою бедность перед монархом, получает больше, чем тот, кто просит, — перевел епископ.

Дама ответила, что это место нисколько не кажется ей сатирическим. Я молчал, боясь сказать слишком многое. Даже король старался замять разговор, начав рассуждать об Ариосто. Он выразил желание прочитать его вместе со мной, на что я согласился, поклонившись.

Спустя несколько дней я встретил короля, и он, протягивая руку для поцелуя, всунул мне бумажку, которая помогла мне уплатить долги: там было двести дукатов.

С тех пор я стал ежедневно присутствовать при одевании короля. Мы, кажется, обо всем переговорили, за исключением Ариосто; он довольно хорошо понимал итальянский язык, но не говорил на нем. Всякий раз, вспоминая достоинства этого монарха, я не могу понять, каким образом он наделал так много ошибок, главная из которых та, что он пережил свою родину.

Не все мои знакомства в Варшаве были такого высокого полета. Так, у меня побывала с визитом Бинетти, приехавшая из Лондона со своим мужем, танцором Пиком. Они ехали из Вены в Петербург. Король сказал мне, что желает ангажировать ее на неделю и предложил ей тысячу дукатов. Я тотчас же поехал с этим известием к Бинетти, которая не поверила своим ушам. Прибытие князя Понятовского, которому было поручено сделать ей это предложение от имени короля, убедило ее.

За три дня Пик устроил балет. Томатис, директор театра,

* Анаграмма — слово или словосочетание, образованное перестановкой букв, составляющих другое слово. Версия Казановы ошибочна. Шведский король Густав I Ваза (*Gustaf I Vasa*) (1496—1560), при котором была восстановлена национальная независимость Швеции, до своего избрания королем в 1523 году был Густавом Эриксоном (*Gustaf Eriksson*) из рода Ваза.

взял на себя декорации, костюмы и оркестр. Эти новоприбывшие имели такой успех, что их ангажировали на год, и это весьма не понравилось Катаи, другой танцовщице: Бинетти не только затмила ее, но и отбила у Катаи ее поклонников. Вскоре у Бинетти оказалось роскошное помещение и множество поклонников, среди которых были граф Мочинский и камергер граф Браницкий, друг короля.

Публика разделилась на две партии — катаистов и бинеттистов. Понятно, что я принадлежал к последним, но не мог слишком явно выказывать этого, боясь наделать себе врагов в стане Чарторыских, горячих поклонников Катаи. Один из них, князь Любомирский, был ее любовником, и я оказался бы дураком, если бы предпочел дружбу балерины этим высоким связям. Бинетти упрекала меня в этом и заставила обещать, что я не буду бывать в театре.

Ее главный поклонник, Ксаверий Браницкий, камергер, был уланским полковником. Ему было не более тридцати двух лет от роду; он служил во Франции и совсем недавно приехал из Берлина, где был польским посланником при дворе Фридриха. Бинетти, ненавидевшая Томатиса, уговорила Браницкого отомстить за нее этому господину, который как директор театра постоянно причинял ей неприятности. Вероятно, Браницкий обещал ей это, но читатель сейчас увидит, что за дело он принялся несколько странно.

Двадцатого февраля Браницкий отправился в оперу. Начался уже второй акт, когда он вошел в ложу Катаи. Там находился Томатис. Как один, так и другая, увидав входящего камергера, предположили, что он поссорился с Бинетти. Браницкий был очень любезен и у двери ложи предложил даме руку. Томатис следовал за ними. Я был в вестибюле, когда камергер сел в карету Томатиса вместе с Катаи и крикнул директору, чтобы он следовал за ними в другой карете. Тот ответил, что ездит только в своей карете. Браницкий приказывает кучеру ехать; Томатис останавливает его. Камергер, вынужденный выйти, приказывает своему лакею дать пощечину Томатису. Сказано — сделано. Бедный Томатис до такой степени смутился, что и не подумал тем же ответить лакею. Он бросился в свою карету и уехал. Предвидя печальный исход всей этой истории, я пришел домой почти в таком же состоянии духа, как и Томатис.

История быстро распространилась по городу, и Томатис не смел никуда показываться. Он жаловался королю, но и сам король не мог настоять на удовлетворении, так как Браницкий сказал, что он только отвечал на нанесенное ему оскорбление. Томатис говорил мне, что нашел способ отомстить Браницкому, но это стоило бы ему слишком дорого. Он вложил в театр до сорока тысяч цехинов, которые, несомненно, потерял бы, если бы был вынужден уехать из Польши.

Что же касается Бинетти, то она торжествовала. Когда я увиделся с нею, она сказала, что принимает самое горячее участие в деле Томатиса, которого лицемерно называла своим другом,

но ее радость была слишком сильна, и она не могла ее скрыть. Лицемерие Бинетти оттолкнуло меня от нее, тем болсе, что я смутно понимал, что и мне она готовит нечто подобное. Но я не имел в перспективе потери сорока тысяч цехинов, и потому мне нечего было бояться ее поклонника, которого, к тому же, я никогда не встречал у короля. Необходимо прибавить, что в Польше Браницкого все ненавидели, так как полагали, что он предан России. Один лишь король сохранил к нему остаток дружбы, но поведение его величества по отношению к своему камергеру определялось политическими соображениями.

Я знал, что мое положение не дает повода ни к какой клевете: я воздерживался от игры и от всякого рода интриг, усидчиво работая для короля в надежде стать его секретарем. В день св. Казимира при дворе был большой прием, на котором присутствовал и я. Вставая из-за стола, король попросил меня быть на спектакле. Поскольку предполагалось играть впервые национальную драму на польском языке, а этот опыт несколько меня не интересовал, то я стал извиняться; но король настаивал, и мне пришлось последовать за его величеством.

Почти весь вечер я провел в его ложе, и когда король уехал после второго акта, я отправился за кулисы поздравить Казаччи, пьемонтскую балерину, очень понравившуюся королю. По дороге я остановился у ложи Бинетти, дверь которой была открыта; не успели мы обменяться двумя-тремя словами, как вошел Браницкий. Я поклонился ему и удалился — поступок, за который впоследствии я себя упрекал.

Казаччи была в восторге от похвал, принесенных мною, но любезно упрекала меня в недостатке внимательности с моей стороны; и действительно, это был мой первый к ней визит. Мы говорили об этом, как вдруг Браницкий, очевидно с намерением следивший за мной, быстро вошел в ложу в сопровождении некоего Бининского, полковника его полка.

— Сознаться, господин Казанова, что я являюсь некстати. Вы ухаживаете за этой дамой?

— А разве, граф, она недостаточно любезна?

— Она до такой степени любезна, что я объявляю вам, что влюблен в нее и не потерплю никакого соперника.

— В таком случае я скромно ретируюсь.

Граф гордо и несколько презрительно взглянул на меня.

— Вы благоразумны, господин Казанова. Итак, вы мне уступаете место?

— Немедленно, граф. Кто может быть настолько груб, чтобы соперничать с человеком вашего достоинства?

Кажется, я сопровождал свою фразу улыбкой, которая не понравилась Браницкому. Он отвечал:

— Я считаю трусом всякого, кто оставляет занятую позицию при первой угрозе.

Я не совладал с первым движением и схватился рукой за шпагу, но, вовремя спохватившись, ограничился презрительным

пожатием плеч и вышел из ложи. Не успел я сделать и четырех шагов по коридору, как услышал слова "Трус венецианец".

— Граф Браницкий, я докажу где и когда вам угодно, что трус венецианец не боится польского вельможи.

На этот раз я решил не отступать и стал ждать Браницкого на улице, рассчитывая на то, что заставлю его драться, но прождал напрасно — никто так и не явился. После получасового ожидания я, весь дрожа от холода, сел в первую попавшуюся мне карету и отправился к воеводе русскому, у которого ужинал король.

Размышляя о моем приключении, я поздравил себя, что моя счастливая звезда избавила меня от появления графа. Мы, может быть, подрались бы — чего я, конечно, желал; но вероятно также и то, что Бининский, его приспешник, вонзил бы свою саблю в меня: последствия оправдывают мое подозрение. Под внешностью светскости и мягкости поляки сохранили какую-то дикость. Как в порывах их дружбы, так и в проявлениях злобы виден еще сармат* или скиф. Они как будто не понимают, что правила чести запрещают действовать против врага массой. Было очевидно, что граф так настойчиво преследовал меня только с намерением поступить со мной подобно тому, как он поступил с Томатисом. Пощечина, правда, не была дана, но я, тем не менее, чувствовал себя оскорбленным, и дуэль между нами была решительно необходима. Но как это сделать? Дело было весьма трудное.

Воевода принял меня со своей обычной любезностью и предложил мне играть. Видя, что я все время теряю, он спросил меня, где я витаю.

— Очень далеко отсюда, — отвечал я.

— Когда играют с видным лицом, — сказал воевода, — неприлично быть рассеянным.

Он бросил карты и удалился.

Сконфуженный этим обстоятельством, я хотел уже уйти, но тут дали знать о прибытии короля. Известие оказалось неверным: его величество не мог приехать. Это весьма огорчило меня, так как я решился изложить все дело его величеству. Ужин прошел печально. Я сидел по левую сторону от воеводы, который не говорил со мной. К счастью, о моем приключении рассказал князь Любомирский, защищая меня.

— Браницкий, — сказал он, — был пьян; лицо, подобное вам, не может чувствовать себя оскорбленным грубостью вельможи.

С этой минуты воевода опять стал со мной любезным и, когда все стали из-за стола, отвел меня в сторону. Я рассказал ему обо всем, что случилось.

— Теперь я не удивляюсь вашей рассеянности, господин Казанова. Мне искренне жаль вас — дело серьезное.

* Сарматы — кочевые ирано-язычные племена, населявшие с VI века до н. э. Поволжско-Приуральские степи, а позднее Северный Кавказ и Причерноморские степи.

— Не найдете ли вы возможным, ваша светлость, дать мне совет?

— Не спрашивайте у меня советов; вам остается лишь следовать вашим собственным представлениям о чести.

Дело было ясное. Я решился сделать следующее: убить Браницкого или быть убитым им, если он примет вызов; в противном случае вонзить ему кинжал в грудь, хотя бы пришлось за это поплатиться головой.

На рассвете я отправил графу следующую записку: "Ваше сиятельство оскорбили меня вчера, не знаю, по какому поводу. Думаю, потому, что ваше сиятельство ненавидит меня; вследствие этого я весь к вашим услугам. Потрудитесь же, граф, приехать за мной. Чтобы покончить с этим делом, я обязуюсь следовать за вами в такое место, где моя смерть, по законам страны, не будет считаться убийством и где мне будет позволено, если судьба будет мне благоприятствовать, убить вас, не нарушая тех же законов. Это предложение должно доказать вашему сиятельству, что я составил себе самое высокое мнение о ваших благородных чувствах и благородном характере".

Через час мне ответили:

"Принимаю ваше предложение. Потрудитесь указать мне час, когда я могу застать вас дома. Выберите оружие, и кончим все это как можно скорее".

Обрадованный успехом, я написал графу, что буду ждать его завтра в шесть часов утра, и сообщил о длине своей шпаги.

Спустя час я очень удивился, увидев входящего в мою комнату Браницкого. Свою свиту он оставил в прихожей и, войдя, запер на ключ мою дверь. Затем он сел на мою постель, где я лежал, занятый письмом. Все это показалось мне странным, и, не понимая, к чему все это делается, я схватил свои карманные пистолеты.

— Я явился не с тем, чтобы убить вас в кровати, — сказал он, — но чтобы объявить вам, что не имею привычки откладывать дуэль до другого дня. Итак, мы будем драться или сегодня, или никогда.

— Сегодня, граф, невозможно. Сегодня день почты, и я обязан кое-что окончить для его величества.

— Вы это окончите после дуэли. Вы боитесь остаться на месте? Успокойтесь. В противном случае у вас есть извинение: мертвые не боятся упреков.

— А мое завещание?

— Разве у вас есть что-либо завещать? И на этот раз успокойтесь, у вас есть еще пятьдесят лет на завещание.

— Но я не понимаю, почему вы отказываетесь отложить дуэль на завтра.

— Разве вы не понимаете, что отложенная на завтра дуэль никогда не состоится. Король прикажет арестовать вас сегодня же.

— Вы его, значит, уведомили?

— Не шутите! Нет, конечно, я не такой человек, чтобы

уведомлять его, но я знаю, как это делается здесь. Одним словом, я не хочу, чтобы вы вызывали меня понапрасну, и готов дать вам удовлетворение. Но или сегодня, или никогда.

— Извольте, я согласен. Дуэль с вами слишком ценна для меня, и я не откажу себе в этом удовольствии. Потрудитесь же приехать за мной после обеда.

— Я рассчитывал ехать с вами сейчас же.

— Ни в коем случае. Мне нужно собраться с силами.

— Прекрасно. А я всегда дерусь натошак — у каждого свой вкус. Но зачем вы прислали длину своей шпаги? С неизвестными я дерусь только на пистолетах.

— Неизвестными?! В каком смысле? Десятки лиц в Варшаве засвидетельствуют вам, что я не разбойник. Я не буду драться на пистолетах; это мое право, вы сами оставили за мной выбор оружия.

— Это правда, но вы слишком порядочный человек, чтобы не принять пистолетов с той минуты, как я предложил их вам. К тому же пистолеты не так опасны — в большинстве случаев они не попадают.

— Но вы же не намерены покончить на пистолетах?

— Если никто не попадет, то потом мы можем фехтовать сколько вам угодно.

— Извольте, я готов согласиться на это. Итак, вы приедете с двумя пистолетами, которые будут заряжены в моем присутствии, и за мной будет выбор оружия. Если не последует результата после первого выстрела, мы будем драться на шпагах до первой крови; и ничего больше, если вам угодно.

Граф сделал утвердительный знак. Я продолжал:

— Вы обещаетесь также привести меня в такое место, где я буду защищен от преследований?

— Разумеется. Обнимите меня: вы хороший человек. А теперь — молчание; до свидания в три часа.

Как только он меня оставил, я запечатал бумаги короля в конверт и позвал Кампиони, которому полностью доверял.

— Вот пакет, — сказал я, — вы мне отдадите его вечером, если я буду еще жив; в противном случае вы передадите его королю. Вы легко догадаетесь, в чем дело; знайте также, что я никогда не прощу вам малейшую нескромность в этом отношении.

— Понимаю: вы будете обесчещены, если я открою рот, потому что скажут, что вы поручили мне известить о дуэли лиц, могущих воспротивиться ей. Будьте покойны: все мои желания заключаются в том, чтобы вы вышли здоровы и невредимы из этого неприятного дела; не оберегайте вашего противника, это может стоить вам жизни.

— Знаю. Теперь давайте обедать.

Я заказал роскошный обед и послал за тонкими винами к Шмидту. Кампиони поддерживал меня, но как человек озабоченный. Что же касается меня, то я никогда не чувствовал подобного аппетита: я отлично поел, пил много, и все-таки моя голова была свежа. В два с половиною часа я подошел к окну,

чтобы увидеть прибытие камергера. Я ждал недолго. Не было еще и трех часов, как подъехала его карета. Браницкий был в сопровождении своих адъютантов и генерала в полной форме — это был свидетель.

Я занял место в карете рядом с Браницким. Он сказал, что мне может понадобиться кто-либо. На это я ответил, что имею только двух слуг и они будут совсем не на месте среди его свиты; поэтому я предпочитаю вполне довериться ему, убежденный, что в случае чего он придет мне на помощь. В ответ граф горячо пожал мне руку.

Место нашей встречи, вероятно, было обозначено раньше, так как мы уехали без всякого с его стороны приказания. Я не спрашивал его об этом, но поскольку в карете воцарилось молчание, я счел своей обязанностью прервать его.

— Рассчитываете ли вы провести лето в Варшаве?

— Это было моим намерением вчера, но что я могу сказать сегодня? Может быть, вы воспрепятствуете этому.

— Надеюсь, что это дело ни в чем не помешает вашим делам.

— Желаю того же и вам. Вы были военным, господин Казанова?

— Да, граф. Могу ли я спросить, зачем этот вопрос?

— Да просто для того, чтобы поддержать разговор.

Мы ехали больше четверти часа; потом карета остановилась у ворот парка. Мы торопливо вышли и пошли по аллее, в конце которой находилась скамейка с каменным столом; один из гусаров положил на этот стол пистолеты. Затем, вынув из кармана пороховницу и пули и зарядив пистолеты, он положил их на столе крестом.

Браницкий пригласил меня выбрать пистолет. Но генерал воскликнул:

— Как, вы намерены драться?!

— Конечно.

— Здесь это невозможно: вы находитесь в старостате.

— Ну так что?

— Здесь опасно; я не могу быть вашим свидетелем. Вы обманули меня, граф: я возвращаюсь в замок.

— Не задерживаю вас, — ответил Браницкий. — Но прошу никому не проговориться. Я должен дать удовлетворение господину Казанове.

Тогда, обращаясь ко мне, генерал опять повторил:

— Здесь вам нельзя драться.

— Если меня привезли сюда, то я буду драться здесь, — отвечал я. — Я буду защищать себя везде, даже в церкви.

— Напрасно. Обратитесь к королю: он рассудит вас; но драться невозможно.

— Я ничего не имею против посредничества его величества, если граф предварительно сознается, что раскаивается в том, что оскорбил меня.

При этих словах Браницкий злобно посмотрел на меня и отвечал, что он приехал драться, а не мириться. Тогда, обращаясь

к генералу, я взял его в свидетели того, что я испробовал все, чтобы избежать дуэли. Генерал в отчаянии удалился. Браницкий вторично сказал мне:

— Выбирайте.

Я распахнул шубу и взял один из пистолетов. Браницкий взял другой и произнес:

— Ваш пистолет превосходен.

— Я испробую его на вашем черепе, — отвечал я хладнокровно.

Мне показалось, что граф побледнел; бросив свою шпагу одному из присутствующих, он открыл грудь. Я сделал то же. Ширина аллеи не позволила нам отойти друг от друга более чем на десять или двенадцать шагов. Увидев, что он остановился, я пригласил его стрелять первым. Граф несколько секунд целился, но, не считая себя обязанным ждать, пока он прицелится, я выстрелил на всякий случай одновременно с ним.

Браницкий покачнулся, потом упал; я бросился к нему. Но каково же было мое удивление, когда я увидел, что его люди с саблями в руках бросились на меня! К счастью, граф воскликнул:

— Назад! Не смейте трогать Казанову!

При этих словах все отступили, и я мог приподнять своего противника правой рукой — в левую руку я и сам был ранен. Его понесли на постоялый двор, находившийся в ста шагах от парка. Граф не отрывал глаз от меня и, казалось, не понимал, откуда появляется кровь, марающая мои белые панталоны. На постоялом дворе его положили на матрас и осмотрели рану, которая самому графу казалась смертельной. Пуля вошла с правой стороны, возле седьмого ребра, и вышла слева, так что он был прострелен насквозь. Все это было далеко не успокоительно; можно было предположить, что пуля задела брюшину. Браницкий сказал мне:

— Вы убили меня, поэтому спасайтесь. Вы находитесь в старостате, а я главный сановник короля. Вот вам для охраны знак Белого Орла и кошелек, если у вас нет денег.

Я горячо поблагодарил Браницкого, вернул ему кошелек и уверил его, что если я заслужил смерть, то приму ее; я не скрыл от него все огорчение, которое причинил мне конец нашей дуэли. Потом, поцеловав его, я быстро вышел с постоялого двора, где никого не было. Все разъехались за доктором, священником, родственниками и друзьями. Я был один — раненый, без оружия, на дороге, покрытой снегом и совершенно мне неизвестной.

Я имел счастье встретить крестьянина, ехавшего в тележке. Крикнув ему: "Варшава!", я показал ему дукат. Он понял, посадил меня в тележку, и мы помчались. Спустя несколько минут я встретил мчавшегося близкого друга умирающего, Бининского, с саблей в руках. Он ехал по направлению к постоялому двору; если бы Бининский меня заметил, то, несомненно, убил бы меня, как читатель сейчас увидит; к счастью, он не обратил внимания на тележку.

Приехав в Варшаву, я бросился к князю Адаму, но никого не застал; тогда я направился во францисканский монастырь.

Брат-привратник, ужаснувшись виду крови на моем платье и, вероятно, приняв меня за преступника, желавшего скрыться, хотел захлопнуть дверь, но я его ударил, он упал, и я вошел. На его крик прибежали другие братья; я потребовал, чтобы они приняли меня, угрожая в противном случае убить их. К счастью, настоятель заступился за меня и отвел в келью, имевшую вид тюремной камеры; все дело заключалось в том, чтобы оказаться на первых порах в безопасности.

Я сейчас же послал за Кампиони, доктором и моими слугами. Еще до их прибытия в мою келью ввели воеводу подляшского, странного господина, который, услышав о моей дуэли, явился рассказать мне о подобном же деле, случившемся с ним в молодости. Затем явились воеводы калишский и виленский; они упрекали монахов в том, что те приняли меня за преступника. Монахи, желая оправдаться, ссылались на то, как я поступил с их привратником; это рассмешило воеводу. Я не был расположен разделять их веселость, тем более что рана начала давать о себе знать. Одним словом, меня перенесли в хорошо меблированную комнату.

Рана была серьезной: пуля, раздробив мне указательный палец, вошла в руку, где и застряла. Прежде всего нужно было вынуть пулю, причинявшую мне невыносимую боль. Жендрон, плохой хирург, вынул пулю, сделав отверстие с противоположной стороны, так что моя рука оказалась раненной насквозь. Но таково человеческое тщеславие: я упорно скрывал свои страдания и спокойно рассказывал присутствовавшим подробности дела; но как далеко было мое сердце от того спокойствия, которое виднелось на моем лице!

О Бининском первым дал мне сведения князь Любомирский. Узнав об исходе дуэли, Бининский поскакал, точно бешеный, клянясь убить меня везде, где бы ни встретил. Сначала он отправился к Томатису, где были князь Любомирский и граф Мочинский. Томатис не мог ему сказать, где я нахожусь, и этот бешеный выстрелил в него из пистолета; Мочинский бросился на него, но Бининский схватил саблю и сделал ему рану возле рта.

— А с вами ничего не случилось? — спросил я князя.

— Нет, — отвечал Любомирский. — Он схватил меня за платье и, приставив пистолет к груди, заставил сопровождать его до лошади, потому что он не без оснований опасался, что люди Томатиса убьют его. О вашей дуэли ходит множество слухов; говорят, между прочим, что уланы решили отомстить вам за своего начальника. Хорошо еще, что вы здесь; великий маршал приказал окружить монастырь драгунами и схватить вас, но эта мера имеет лишь целью спасти вас от уланов, которые намерены атаковать монастырь.

— А как здоровье Браницкого?

— Он погиб, если пуля коснулась брюшины; доктора именно этого и боятся. Граф находится у канцлера, там же и король. Свидетели уверяют, что ваша угроза пустить ему пулю в лоб стоила графу жизни и спасла вашу. Эта угроза вынудила его

занять невыгодное положение и прикрывать свой череп; иначе его пуля попала бы вам в сердце, потому что он прекрасно стреляет.

— Существуют и другие обстоятельства, не менее благоприятные для меня, — то, что я повстречался на дороге с этим бешеным Бининским, и то, что я на месте не уложил графа, поскольку в противном случае его люди убили бы меня. Я очень огорчен всем, что случилось, но если Томатис не получил раны, то, значит, пистолет этого бешеного был заряжен только порохом.

В эту минуту явился офицер, принесший мне записку, написанную королем воеводе русскому. “Дорогой дядя, — писал король, — Браницкий умирает; однако я не забыл и Казанову: сообщите ему, что он в любом случае помилован”.

Я облил слезами это драгоценное письмо и попросил оставить меня одного, так как нуждался в покое. Через час Кампиони возвратил мне пакет, доверенный ему; он мне повторил рассказ Любомирского.

На другой день я получил множество визитов и предложений о помощи со стороны врагов Браницкого. Каждый открывал мне свой кошелек, но я не хотел ничего принимать. Это обнаружило, во всяком случае, большую твердость характера, потому что пять или шесть тысяч дукатов не безделица. Кампиони находил мое бескорыстие смешным; впоследствии я пришел к убеждению, что он был прав, и раскаялся о своей роли спартиата*. Единственной вещью, которую я принял, был сервиз на четыре персоны, присланный мне князем Чарторыским. Дело заключалось в том, чтобы иметь возможность угощать кое-каких друзей, но сам я ни до чего не дотрагивался, да и доктор настаивал на диете.

В первый же день моя рука опухла, рана почернела; мой хирург, полагая, что это признак антонова огня**, решил отрезать мне руку — об этом я узнал из дворцовой газеты, корректура которой просматривалась самим королем. Множество лиц приехало ко мне выразить свое сожаление по этому поводу, думая, что операция уже состоялась; в ответ я показал им, смеясь, свою руку. При этом появились три хирурга.

— Зачем вас трое, господа?

— Нам нужно проконсультироваться. Вы позволите?

— С удовольствием.

— Вы разрешите осмотреть вашу рану?

Мой постоянный хирург тотчас же открыл рану, рассмотрел ее и начал по-польски беседовать со своими коллегами. Результатом беседы было то, что мне решили отрезать руку; эти господа сообщили мне об этом на латинском языке — на той латыни, на которой говорят доктора в пьесах Мольера “Мещанин во дворянстве” и “Лекарь поневоле”. Чтобы ободрить меня, эти эскулапы принялись объяснять мне все детали ампутации с уди-

* Спартиаты — полноправные граждане Спарты, древнегреческого государства, отличавшиеся своим аскетизмом.

** Антонов огонь — устаревшее название гангрены.

вительной развязностью. Они были веселы и клялись, что после ампутации выздоровление немедленно начнется. Я им отвечал, что, поскольку моя рука принадлежит мне, имею право отказаться от операции, которую я назвал нелепой.

— Но антонов огонь уже появился в вашей руке; не пройдет и двенадцати часов, как она охватит всю руку, и тогда ее придется отрезать у самого плеча.

— Ну и отрежете у самого плеча, а пока я не желаю операции.

— Если вы знаете больше нас, то, конечно, и рассуждать нечего.

— Я вовсе не знаю больше вас, и потому прошу оставить меня в покое.

Мой отказ вызвал негодование у всех, кто интересовался мной. Князь Адам написал мне, что король удивлен недостатком храбрости у меня. Его поддерживал и князь Любомирский.

— Невозможно предположить, — говорил он мне, — чтобы трое лучших хирургов столицы ошибались в подобном случае.

— Конечно, они не обманываются, но хотят обмануть меня.

— Зачем?

— Это трудно объяснить; боюсь, что вы найдете во мне человека слишком подозрительного.

— Все-таки скажите.

— Видите ли, по-моему, операция, на которой эти господа настаивают, не более как известное утешение, предложенное Браницкому.

— Вы странный человек.

— Во всяком случае я хочу отложить операцию; если сегодня вечером гангрена распространится, то я завтра утром велю отрезать себе руку.

К вечеру приехали еще четыре хирурга: еще один консилиум, еще одна перевязка. Моя рука посинела. Они уехали, уверив меня, что операцию нельзя откладывать ни на минуту, на что я ответил им:

— Приезжайте со своими инструментами завтра утром.

После их отъезда я приказал никого не пускать ко мне завтра. Этим средством я сохранил руку.

На свежий воздух я вышел в первый день пасхи, держа руку на повязке. Что же касается полного выздоровления, то оно наступило только через восемнадцать месяцев. Все ранее порицавшие меня теперь восхваляли мою твердость.

Во время моего выздоровления мне нанесли визит, очень меня позабавивший. Это был визит одного иезуита, присланного ко мне краковским епископом.

— Я получил приказание епископа, — сказал он, — отпустить грех, совершенный вами.

— О каком грехе вы изволите говорить?

— Разве вы не дрались на дуэли?

— И вы полагаете, что из-за этого я нуждаюсь в отпущении грехов? На меня напали, я защищался; во всем этом я не вижу греха. Тем не менее отпустите мне грех, если монсиньор желает этого; но я никогда не соглашусь с тем, что я согрешил.

— Итак, вы отказываетесь от исповеди?

— Если бы я и хотел исповедаться, то не смог бы.

— Позвольте сделать одно предположение.

— Делайте.

— Я говорю предположительно: вы дрались на дуэли и, предположительно, желаете получить отпущение.

— Прекрасно; это значит, что я получаю отпущение, если это была дуэль; если нет — так нет.

— Вы меня поняли.

Он пробормотал какую-то молитву и благословил меня.

Спустя несколько дней после моего первого выхода из дому король послал за мною. Заметив меня, он дал мне поцеловать свою руку, что я и сделал, преклонив колени. Его величество обратился ко мне со следующим вопросом (сцена, продуманная наперед):

— Почему ваша рука на повязке?

— Ваше величество, у меня ревматизм.

— Советую вам, милостивый государь, на будущее время избегать таких случайностей.

После аудиенции я отправился к Браницкому. Он очень интересовался моей раной и ежедневно посылал узнать о моем здоровье. Одним словом, я считал своей обязанностью нанести ему визит, тем более что король назначил его обер-егермейстером. Эта должность обязывала людей, придерживающихся светских обычаев, поздравить его; она не столь почетна, как должность камергера, но зато гораздо доходнее. Говорят, что король назначил графа на эту должность только тогда, когда убедился в том, что он хороший стрелок.

В прихожей графа меня встретили восклицания негодования. Офицеры и лакеи разинули рты, увидев меня. Я попросил адъютанта доложить обо мне, что он сделал весьма неохотно.

Браницкий сидел в своей постели бледный как полотно. Он поприветствовал меня рукой. Я сказал ему:

— Граф, я пришел просить у вас прощения за то, что не сумел стать выше пустяка, на который не следовало обращать внимания. Поэтому я прошу вас защищать меня перед вашими друзьями, которые, не зная благородства вашего характера, могут подумать, что вы — мой враг.

— Господин Казанова, объявляю вам, что я буду врагом всякого, кто не сумеет оценить вас. Бининский в изгнании — король лишил его дворянства; я жалую его, но должен признать справедливость наказания. Вы не нуждаетесь в моем покровительстве, у вас есть покровительство его величества. Сядьте, и будем друзьями, — прибавил он, взяв меня за руку. — Вы поправились, не правда ли? Вы не дались в руки хирургам, и прекрасно сделали. Вы им сказали, что они надеются понравиться мне, отрезав вам руку; эти господа судят о сердце других по их собственному. Но скажите, пожалуйста, каким образом моя пуля могла ранить вашу руку, когда я стрелял вам в живот?

— Вы легко поймете, если позволите воспроизвести положение, которое я тогда занимал.

— Мне кажется,— сказал граф после моего объяснения,— что вы должны были держать руку не впереди себя, а позади.

— Последствия доказали, что я был прав.

— Но, милостивый государь,— воскликнула красивая дама, сидевшая рядом с графом,— вы хотели убить моего брата — вы целились ему в голову.

— Убить? Нет, сударыня, мне, напротив, нужна была жизнь графа, чтобы он защитил меня от его людей, которые без этого убили бы меня на месте.

— Однако, вы ему сказали: “Я испробую этот пистолет на вашем черепе”.

— Это говорится, но никогда не делается.

— Вы мне дали хороший урок,— сказал Браницкий, смеясь.— Видно, что вы много упражнялись в стрельбе.

— Почти не упражнялся; это мой первый несчастный выстрел. Могу, однако, сказать, что рука у меня твердая и глаз верный. Но как ваша рана, граф?

— Я поправляюсь, но на это потребуется немало времени. Мне говорили, что в день дуэли вы хорошо пообедали.

— Я полагал, что это мой последний обед.

— Ну, а если бы я пообедал, то наверняка лежал бы теперь в могиле, потому что пуля коснулась бы брюшины.

Впоследствии я узнал, что в день дуэли Браницкий причастился...

От него я отправился к великому маршалу графу Риклонскому, королевскому судье: он защитил меня от уланов. Маршал принял меня довольно строго, спросив, что мне угодно.

— Я желал бы поблагодарить вас за ваше вмешательство, а также обещать вам быть благодарнее в будущем.

— Очень рад. Что же касается вашего помилования, то этим вы обязаны не мне, а королю. Если бы не его величество, то я бы с легкостью казнил вас.

— Неужели вы бы забыли многие обстоятельства, извинявшие меня?

— Какие? Разве вы не дрались на дуэли?

— Дрался.

— Этого довольно; закон ясен.

— Да, но только относительно дуэли, предложенной и принятой в тех условиях, о которых говорит закон, а я дрался ради собственной защиты. Думаю, что узнав дело, вы бы не казнили меня.

— Право, я уже и не знаю, что сделал бы. Но зачем об этом говорить? Все кончено. Если его величество помиловал вас, значит, вы заслужили этого. Окажите мне честь отобедать у меня сегодня. Я бы желал доказать, что уважаю вас.

Устроив дело таким образом у судьи, я отправился к воеводе русскому. Он принял меня с распростертыми объятиями.

— Я приказал приготовить вам помещение у себя,— сказал он.— Моя жена очень любит ваше общество, но, к несчастью, помещение будет готово только через шесть недель.

— Этим временем я воспользуюсь, чтобы проехаться до Киева, к воеводе. Его зять, староста граф Брюль, очень рекомендовал мне это маленькое путешествие.

— Поезжайте, вы недурно сделаете. Ваше отсутствие успокоит многих врагов, появившихся у вас вследствие дуэли. Да сохранит вас Бог на будущее время от подобного дела здесь. Так легко не отделаетесь. А пока будьте осторожны и не выходите из дому по ночам.

Так, среди обедов и ужинов, прошла неделя. Меня заставляли повторять малейшие подробности дуэли даже в присутствии короля, который делал вид, что ничего не слышит. Однажды, когда я, может быть, в десятый раз повторял свой рассказ, его величество вдруг прервал меня.

— Господин Казанова, вы дворянин?

— Нет, ваше величество, не имею этой чести.

— Ну, а если бы венецианский дворянин оскорбил вас, потребовали бы вы от него удовлетворения?

— Нет, потому что он не принял бы вызова. Мне бы пришлось ждать случая.

— Какого?

— Встретить моего врага за границей; там я бы велел избить его до смерти.

Читатель, может быть, захочет узнать, увиделся ли я с Бинетти. Я видел ее лишь один раз у господина Мочинского, но она исчезла, как только увидела меня. Я сказал Мочинскому:

— Какое странное поведение! За что сердита на меня, эта дама?

— За что? Разве вы не знаете, что ваша дуэль, которую она устроила, была причиной ее ссоры с Браницким? С тех пор Браницкий ни разу не был у нее.

— Можно только похвалить поведение графа. Эта дама, возможно, воображала себе, что граф Браницкий поступит со мною так же, как он поступил с бедным Томатисом.

Вскоре я предпринял маленькое путешествие в сопровождении Кампиони. У меня было двести дукатов: половину этой суммы подарил мне воевода русский, другие сто я выиграл. Но я не буду рассказывать об этом путешествии и перейду сразу к причинам, заставившим меня выехать из Варшавы навсегда.

Когда я вернулся в Варшаву, в центре внимания была госпожа Жофрен, любовница короля; ее везде принимали самым роскошным образом. Не претендуя на подобное, я, в то же время, был очень удивлен холодным приемом, оказанным мне в Варшаве. Все точно сговорились, встречая меня одной и той же фразой:

— Мы думали, что не увидим вас больше; зачем вы возвратились?

— Чтобы уплатить долги, — отвечал я им холодно.

Самая изысканная любезность, которую мне расточали прежде, сменилась бесцеремонной холодностью. Правда, я еще получал приглашения, но уже никто не говорил со мной за столом. Я встретил воеводу русского, и он почти не удостоил меня поклоном;

увидел я также и короля, но его величество даже не посмотрел на меня. Спросив князя Суласковского о причине такой перемены, я получил следующий ответ:

— Это следствие национального характера; мы очень непостоянны. Вы же знаете пословицу: "*Sarmatorum virtus veluti extripsos*"*. Вы бы могли устроить себе здесь отличное положение, если бы воспользовались случаем, но теперь слишком поздно; вам остается только одно...

— Уехать, — прервал я. — Постараюсь сделать это скорее.

Вскоре я получил анонимное письмо от благожелателя, из которого узнал, что сказал король на мой счет. "Его величество узнал, — говорилось в письме, — что ваше изображение было развешено в Париже за то, что вы, будто бы, украли значительную сумму из кассы лотереи; кроме того, вас обвиняли в различных мошенничествах в Англии и Италии; наконец, вы принадлежали к труппе странствующих комедиантов".

Таковы были обвинения, возводимые на меня. Что я мог отвечать? Все это — клевета, которую легче выдумать, чем опровергнуть. Конечно, я желал уехать из Варшавы немедленно, но у меня не было необходимых денег. Поэтому я написал в Венецию, чтобы мне их прислали. Но случилось обстоятельство, ускорившее мой отъезд.

Однажды утром ко мне явился тот самый генерал, который был секундantom Браницкого во время нашей дуэли. Он явился от имени короля с повелением мне выехать из Варшавы в течение недели. Возмущенный этим приказом, я поручил ему ответить королю, что не имею возможности выполнить повеление, а если меня вышлют силой, то я буду протестовать против такого произвола перед целым светом.

Генерал спокойно отвечал мне:

— Милостивый государь, я имею повеление не передавать ваш ответ, а лишь только объявить вам распоряжение короля. Действуйте как вам угодно.

Я немедленно написал большое письмо королю, где объяснял ему, что честь не позволяет мне покинуть Варшаву, так как я имел несчастье наделать долгов.

Я попросил графа Мочинского передать это письмо королю, и на другой день граф привез мне тысячу дукатов от имени его величества, извинявшегося за то, что он издал повеление, не зная об отсутствии у меня денег. Граф прибавил:

— Если его величество настаивает на вашем отъезде, то только исходя из ваших интересов. Он желает видеть вас как можно скорее за границей, так как ему известно, что вы ежедневно получаете вызовы, на которые имеете благоразумие не отвечать. Тем не менее верно, что лица, делающие эти вызовы, решили отомстить вам за то, что они называют вашим пренебрежением к ним, и король желает быть покоен по отношению к вам.

Я проникся самой горячей благодарностью к королю, попросив

* У сарматов нет добродетелей, они их только демонстрируют. Лат.

графа поблагодарить его величество и сказать ему, что его приказы будут немедленно исполнены. Граф предложил мне свою карету, которую я принял, и на прощанье попросил меня писать ему. На другой день я уплатил свои долги и выехал в Бреславль*.

В Испании

Исколесив в очередной раз всю Европу, я опять вернулся в Париж. Город, как и все мои знакомые, сильно изменился: появились новые постройки, во многих кварталах улицы и дома как-то помолодели и приукрасились, чего не скажешь о моих старых знакомых. "Этот мир,— говорит Монтень,— есть вечное движение". Я нашел богатыми тех, кого прежде видел бедными, и наоборот.

Я посетил госпожу Рюмень, затем своего брата и, конечно, был принят отлично. Вскоре я имел честь быть представленным княжне Любомирской и, так как я намеревался отправиться в Испанию, прежде чем побывать в Португалии, с благодарностью принял ее предложение снабдить меня рекомендательным письмом к графу де Аранда**, в то время всемогущему министру. Карачиолли, которого я встретил в Париже, дал мне несколько писем к различным придворным лицам в Лиссабоне.

Не знаю, какой рок преследовал меня в европейских столицах, но судьбой было решено, что из Парижа я выеду подобно тому, как был вынужден выехать из Вены и Варшавы.

Тогда в Париже давались концерты в так называемой оранжерее Тюильри. Я одиноко прохаживался по залу, когда услышал свое имя, произнесенное молодым человеком. Я имел глупое любопытство послушать, что обо мне говорят, и услышал, как этот молодой человек выражался самым оскорбительным для меня образом. Он позволил себе сказать, что я стоил ему миллион ливров, украденных мною у госпожи д'Юрфэ. Я немедленно подошел к клеветнику и сказал:

— Вы мальчишка, которому я бы отвечал пинком, если бы мы были в другом месте.

Молодой человек встал, бледный от бешенства; он бы бросился на меня, если бы дамы, в чьем окружении он был, не удержали его. Я немедленно вышел и, судя о его храбрости по вспыльчивости, прождал его четверть часа у дверей, но, так и не дождавшись, отправился домой.

На другое утро мой лакей сказал мне, что некий кавалер

* Бреславль — древнеславянское название польского города Вроцлава.

** Аранда, Педро Пабло Абарка де Болеа, граф де (1719-1798) — испанский государственный деятель и дипломат, возглавлявший правительство при короле Карле III. В 1767 году добился изгнания иезуитов из страны и ограничил деятельность инквизиции.

Сен-Луи явился вручить мне повеление короля. Мне повелевалось покинуть Париж в двадцать четыре часа. Его величество вместо всяких резонов удостоивал прибавить, что ему так угодно.

— Я уеду, — отвечал я спокойно Бюго (кавалером Сен-Луи оказался Бюго), — и поспешу доставить его величеству это удовольствие. Если, однако, случай захочет того, что я не смогу выехать в двадцать четыре часа, то его величество сделает со мною все что ему угодно.

— Эти двадцать четыре часа — лишь формальность; подпишите приказ, и можете уезжать, когда найдете нужным. Однако дайте честное слово, что не будете показываться ни на спектаклях, ни в общественных местах.

— Обещаю вам это, чтобы доставить удовольствие королю. Подписав приказ, я отправился с Бюго к моему брату, которого Бюго хорошо знал, и рассказал ему обо всем, что со мной случилось.

— Зачем этот приказ? — спросил брат. — Ведь ты и без того едешь через два дня? И вследствие чего все это случилось?

— Говорят об угрозах побить одного молодого человека, — отвечал Бюго, — который хотя и молод, но не привык получать побои...

Добрая госпожа Рюмень собиралась отправиться в Версаль и просить об отмене повеления, но все это было совершенно излишне, так как я и без того решил уехать. Однако Париж я оставил только двадцатого ноября, хотя повеление получил шестого. По крайней мере со мной поступили вежливо: французская полиция благовоспитана. Я уезжал из Парижа без всякого сожаления, отлично себя чувствуя, да и в моем кармане был перевод на Бордо на восемь тысяч ливров.

Приехав в Бордо, я поменял свой перевод на другой в Мадриде, на ту же сумму. В Сен-Жане я продал свою карету и взял в качестве проводника до Памплоны погонщика мулов. В Памплоне другой погонщик взялся проводить меня до Мадрида. Эта манера путешествовать, напоминающая странствование рогатого скота, была не очень удобна. Первую ночь я был вынужден провести на скверном постоялом дворе, хозяин которого, показывая мне нечто вроде хлева, сказал:

— Вы можете спать здесь и использовать сено вместо матраца, если найдете его; вам здесь будет тепло, если найдутся дрова, чтобы затопить печку.

— И, вероятно, — прибавил я, — я смогу сварить что-нибудь, если найду какую-нибудь пищу.

Истина заключается в том, что несмотря на деньги, я ничего не смог достать. Всю ночь я провел на ногах, сражаясь с москитами.

Само собой разумеется, что эти печальные постоялые дворы запирались только на задвижку, и на следующий день я заявил своему проводнику, что больше не желаю ночевать на таких постоялых дворах, открытых для всякого прохожего, где невозможно защититься от ночного нападения.

— Во всех постоянных дворах Испании вы не найдете ни одного замка, — отвечал он.

— Уж не таково ли желание короля?

— Королю нет дела до всего этого, но святая инквизиция имеет право входить в комнаты путешественников во всякое время дня и ночи.

— Да что же ищет ваша проклятая инквизиция?

— Все.

— Это слишком много; приведите пример.

— Вот вам целых два. Инквизиция особенно желает знать, едят ли скромное в постные дни и не спят ли мужчины и женщины в одной комнате; она оберегает спасение наших душ...

— И для этого приказывает не запира́ть двери, — прибавил я. Днем я встречал другие неудобства. Если нам встречался священник, несший святые дары умирающему, то я был вынужден вставать на колени, иногда прямо в грязь. Великий вопрос занимал тогда всех правоверных обеих Кастилий*: можно или нельзя носить штаны с гульфиком. Отрицательный ответ возмущал, и тюрьмы были переполнены несчастными, осмелившимися носить подобную одежду, ибо эдикт, запрещавший ношение таких штанов, имел обратную силу. Дошло до того, что наказывали даже портных, сшивших эти штаны. Тем не менее народ, несмотря на монахов, продолжал носить штаны с гульфиком, провозглашенные безнравственными святой инквизицией. Чуть было не вспыхнула революция по поводу гульфиков; это была бы очень счастливая революция в Испании, потому что за нею, может быть, последовали бы другие революции; к тому же это позабавило бы Испанию в течение целых десяти лет. Инквизиция, желая избежать революции, опубликовала и расклеила на стенах церквей эдикт, запрещавший носить штаны всем, за исключением одних лишь палачей.

По прибытии в Мадрид меня обыскали самым тщательным образом. Сперва убедились, что у меня нет запрещенных штанов, перетряхнув мое белье; затем перерыли все вещи и перелистали мои книги, вернее, книгу, потому что в Испанию я привез только "Илиаду" на греческом. Этот язык со своими дьявольскими буквами показался подозрительным таможенным чиновникам. Они набожно перекрестились, увидя эту книгу, понюхали ее, попробовали на вкус и в конце концов конфисковали, хотя и возвратили ее мне через три дня в кофейне на улице Крус. Другая церемония, тоже мне весьма не понравившаяся, случилась по поводу моего табака. Чиновник, ненашедший, за исключением "Илиады", ничего подозрительного, вздумал попросить у меня понюхать табак (в моей табакерке был парижский табак).

— Милостивый государь, этот табак запрещен у нас, — заявил он и выбросил табак, отдав мне пустую табакерку.

* Имеется в виду две исторические области Испании — Старая и Новая Кастилии.

Я был не очень доволен своим помещением на улице Крус — к сожалению, в нем не было камина. Холод сильнее чувствуется в Мадриде, нежели в Париже, несмотря на разницу в широте, поскольку Мадрид расположен выше всех столиц в Европе по отношению к уровню моря. Испанцы до такой степени боятся холода, что при малейшем северном ветре не выходят иначе как в плащах.

Испанец, так же как и англичанин, — враг иностранцев, и по той же причине — вследствие чрезвычайного, исключительного тщеславия. Женщины менее тщеславны, к тому же, чувствуя несправедливость этой ненависти, мстят за иностранцев, любя их. Увлечения испанских женщин иностранцами слишком известны, но действуют они осторожно, потому что испанец ревнив не только по темпераменту, но и по расчету и из гордости.

Я уже говорил, что в моей комнате не было камина. Не будучи в состоянии выносить ужасный жар *brasero**, я хотел завести у себя печку. После долгих поисков я нашел работника, который взялся сделать для меня железную печку. Если теперь в Мадриде есть печки, то этим город обязан мне, потому что я был вынужден научить рабочего делать их.

Правда, мне указали на площадь Пуэрта-дель-Соль как на место, где можно погреться; туда направляются жители, завернутые в свои плащи, и греются на солнце; но я хотел греться, а не жариться...

Мне нужен был также слуга, понимавший по-французски. Я нашел одного из тех оборванцев, которых здесь называют пажами; за каждой порядочной женщиной шествует такой паж, когда она выходит из дому. Это был мужчина лет тридцати, хорошо сложенный, гордый, как и все испанцы; он бы ни за что не унизился до того, чтобы сидеть позади моей кареты или нести сверток по улице.

Затем я подумал о письме, данном мне княжной Любомирской к графу де Аранда, который был тогда всемогущим президентом Кастильского совета. И действительно, не кто иной, как он, изгнал иезуитов из Испании. Граф наводил ужас на весь народ, и поэтому его ненавидели, но это его не беспокоило. Аранда был государственным человеком больших способностей, очень предприимчивым, деятельным и, кроме того, любившим развлечения. Что же касается его внешности, то я никогда еще не встречал более ужасного, отвратительного безобразия.

— Зачем вы приехали? — спросил он холодно, осматривая меня с ног до головы.

— С целью изучения, монсиньор.

— У вас нет другой цели?

— Никакой, кроме цели предложить свои слабые способности к услугам вашего сиятельства.

— Вы и без меня проживете. Если вы будете строго исполнять предписания полиции, вас никто не тронет. Что же касается

* Жаровня. Исп.

употребления ваших способностей, то адресуйтесь за этим к посланнику вашего правительства, господину Мочениго; он должен рекомендовать вас, потому что мы вас не знаем.

— Надеюсь, что ответ венецианского посланника будет для меня благоприятен; однако я не могу скрыть от вас того, что я не в милости у инквизиторов моей родины.

— В таком случае вам нечего ожидать, потому что вы можете быть представлены королю только вашим посланником. Изучайте Испанию сколько угодно и будьте тише воды, ниже травы — вот вам мой совет.

Неаполитанский посланник, к которому затем я поехал, сказал мне то же самое. Маркиз Морас, к которому адресовал меня Карачиолли, дал мне тот же совет, а герцог Лассада наговорил мне еще больше ужасов и прибавил, что, несмотря на все свое желание, ничем не может мне быть полезен. Он советовал мне поехать к венецианскому посланнику и приобрести его покровительство.

— Не может ли он, — прибавил герцог, — скрыть то, что он знает на ваш счет?

С этой целью я написал письмо в Венецию, к Дзидоло, попросив у него несколько рекомендаций к посланнику. После этого я отправился к Мочениго, венецианскому посланнику в Испании, и был принят его секретарем Сондерини, умным и талантливым человеком, который, однако, не смог скрыть своего удивления моей смелостью.

— Разве вы не знаете, господин Казакова, что вам запрещено появляться на венецианской территории? Ведь дом посланника — венецианская территория.

— Я знаю это, но сообразовалите рассматривать мой приезд как проявление моего уважения к господину посланнику и как акт благоразумия. Согласитесь, что мне небезопасно оставаться в Мадриде, не будучи представленным посланнику. Однако если посланник не найдет возможным принять меня только потому, что я в ссоре с инквизицией, к тому же по причинам, неизвестным ему, то я буду вправе удивиться этому, ибо господин Мочениго — представитель республики, а не инквизиторов. А так как я не совершал никакого преступления, которое сделало бы меня недостойным покровительства республики, то, думаю, ее представитель обязан предложить мне это покровительство, если я его потребую.

— Отчего вы все это не напишете посланнику?

— Прежде я хотел бы знать, примет ли он меня; если посланник отказывается принять меня, то я напишу ему.

— Мне кажется, что вы правы; но согласится ли с вами посланник? Этого я не знаю. Во всяком случае напишите ему.

Я тут же письменно изложил посланнику все, о чем говорил секретарю.

На другой день ко мне приехал граф Мануцци, очень красивый молодой человек. Он был прислан посланником сказать мне, что политические причины не позволяют ему принять меня публично,

но ему будет очень приятно побеседовать со мной частным образом.

Имя Мануцци было мне небезызвестно; когда я заметил об этом графу, он отвечал мне, что очень хорошо помнит меня по рассказам своего отца, который, как он говорил, весьма меня уважал. Это подсказало мне, что граф был сыном того Мануцци, который был главной причиной моего заключения в "Пьюмби". Свои воспоминания я оставил при себе — они не могли быть приятны ни мне, ни молодому графу. Я знал, что его мать была служанкой, а отец, прежде чем стать шпионом, был простым работником, и потому спросил Мануцци, носит ли он титул графа в присутствии посланника.

— Конечно, — отвечал он, — у меня есть патент на этот титул.

Мануцци вышел, уверив меня, что сделает все от него зависящее, а это было много, так как он находился в самых близких отношениях с Мочениго.

Вернувшись, Мануцци сказал мне:

— Не забудьте, что завтра в полдень вы у меня пьете кофе; будет и господин Мочениго.

Посланник принял меня очень любезно. Он высказал свое сожаление по поводу того, что не может быть открыто моим покровителем, признавая, что мог не знать, в чем я провинился перед инквизиторами. Это означало следующее: я боюсь наделать себе врагов, показываясь рядом с вами. Я ему ответил:

— Я надеюсь вскоре представить вам письмо, которое от имени самих инквизиторов уполномочит вас принять меня.

— Прекрасно; как только вы мне доставите это письмо, я представлю вас всем министрам.

В первый раз, когда я отправился в театр, я увидел против сцены большую ложу с решеткой, занятую отцами-инквизиторами, которые цензуруют театральные пьесы и наблюдают не только за актерами, но и за зрителями. Вдруг я услышал, как часовой у дверей воскликнул: "Боже!", и в ту же минуту все, не различая пола и возраста, пали ниц и находились в таком положении, пока не утих звон колокольчика, раздававшегося на улице. Этот колокольчик извещал, что около дверей театра проходит священник со святыми дарами для умирающего. Впоследствии я расскажу еще более странные факты.

После спектакля, надев "домино", я отправился на маскарад. Мне хотелось побольше увидеть и узнать, но мое любопытство стоило мне дорого. Нужно, однако, сознаться, что этот первый вечер, проведенный на маскараде, стоил мне гораздо меньше, чем последующие вечера, проведенные там, и этим я обязан разговору, который я имел с одним стариком, встреченным мною в буфете.

— Вы потеряли вашу даму?

— У меня нет дамы.

— Однако мне кажется, что вы не прочь потанцевать.

— Действительно, я люблю танцевать.

— Но если вы сюда являетесь один, то никогда не будете танцевать; все дамы, которых вы здесь видите, имеют своих партнеров, которые не позволяют им принимать предложений других.

— В таком случае я должен отказаться от этого удовольствия: в Мадриде я не знаю ни одной дамы из приличного общества, которая захотела бы сопровождать меня на маскараде.

— Вы ошибаетесь. Здесь вы найдете очень хорошеньких дам, и даже легче, чем это может сделать житель Мадрида, потому что вы иностранец. С тех пор как наш министр, граф де Аранда, разрешил эти веселые собрания, они сделались страстью всех женщин и девиц города. Кроме зрительниц, находящихся в ложах, здесь не менее трехсот танцующих дам; но вы не знаете, что не менее четырех тысяч молодых девиц грустят в настоящую минуту в своих комнатах.

— Эти дамы и девицы, я понимаю, не могут явиться сюда одни.

— Полиция запрещает это.

— Но разве позволительно первому встречному пригласить одну из них?

— Ни один отец, ни одна мать не откажет вам, если вы прямо попросите позволить их дочери сопровождать вас на бале.

— Странный обычай.

— Главное заключается в том, чтобы предложить девице костюм, маску, перчатки и предоставить в ее распоряжение карету.

— Но если мне откажут?

— Вы поклонитесь и станете искать в другом месте. Но будьте покойны: вам не откажут.

Заинтересованный странностью подобного обычая, я обещал воспользоваться советом этого старика и спросил его адрес, чтобы известить его о результатах моих поисков. Он мне ответил:

— Вы найдете меня каждый вечер в этой ложе в первом ярусе; впрочем, если позволите, я вас сейчас же представлю даме, которая занимает эту ложу.

Я назвал себя и последовал за ним. В ложе я был встречен очень любезно; в ней сидели две дамы и один старик. Одна из дам, сохранившая еще следы былой красоты, спросила меня, в каком обществе я бываю. Я ответил, что, будучи иностранцем, я не бываю нигде.

— Приходите ко мне, — отвечала она мне по-французски. — Меня зовут синьора Пичона.

У этой дамы, по-видимому, был большой круг знакомых, потому что она прибавила:

— Меня знают все.

К концу маскарада танцевали фанданго, танец, о котором я, казалось, имел понятие, потому что видел его в Италии и Франции, но все это было лишь бледной копией оригинала, который можно увидеть только в Испании. Там все позы, движения, жесты холодны, а здесь все дрожало, все говорило сердцу. Это зрелище произвело на меня чрезвычайное впечатление.

Каждый кавалер танцует против своей дамы, сопровождая движения звуками кастаньет; жесты кавалера указывают сначала на желание, жесты дамы выражают согласие; потом кавалер оживляется и становится сладострастным, дама впадает в истому, потом в восторженное состояние. Понятно, что зрители всегда весьма заинтересованы этим танцем.

Мой восторг был замечен синьорой Пичона.

— Вот вы и заинтересованы, — сказала она, — но что было бы, если бы вы увидели фанданго в исполнении цыган... Я выразил свое удивление тем, что инквизиция позволяет этот танец. Она ответила:

— Черные отцы запретили фанданго, но граф де Аранда разрешил танцевать его — он боялся восстания.

Это напомнило мне весьма справедливые слова Монтескье*: «Вы можете изменить законы народа, ограничив его свободу, но бойтесь касаться его удовольствий».

На другой день я стал искать учителя фанданго и нашел его в лице актера, который одновременно с танцами дал мне несколько уроков испанского языка. Через три дня я безукоризненно танцевал фанданго и начал думать о том, как бы отыскать себе даму. Я не мог обратиться к девице высшего света, потому что мне бы отказали. С другой стороны, меня вовсе не интересовали ни замужние женщины, ни женщины легкого поведения.

Был день св. Антония. Я вошел в церковь, желая посмотреть на богослужение и по-прежнему думая о знакомстве. И вдруг я заметил молодую девушку с опущенными глазами, выходящую из исповедальни. Судя по ее фигуре, она должна была танцевать фанданго или как ангел, или как демон, и я решил завести с нею знакомство. Было видно, что она не принадлежала к богатой семье, но она была красива, грациозна и прилична. После исповеди она отправилась причащаться, и мне пришлось долго ждать. Наконец она вышла из церкви, повернула на улицу и же храбро стучу в дверь.

— Кто там?

— Мирный человек.

Таков в Мадриде обычай отвсчать. Кредитор, являющийся к вам, полицейский, приходящий вас арестовать, всегда ответят вам: мирный человек. Дверь отворилась, и я увидел эту молодую особу с мужчиной и женщиной — ее родителями. Я сказал отцу: — Синьор, я иностранец, очень люблю балы, но у меня нет партнерши.

Отец посмотрел на жену, жена на дочь, а дочь посмотрела на меня. Я продолжал:

— Поэтому, синьор, я пришел с покорнейшей просьбой позволить мне быть кавалером вашей дочери. Я честный человек, и после бала привезу ее к вам.

* Монтескье, Шарль Луи, барон де Ла Бред де Секонда (1689—1755) — французский политик, мыслитель, писатель, социолог и историк.

— Синьор, — ответил мне отец, — мы не имеем удовольствия вас знать, и мне неизвестно, захочет ли моя дочь сопровождать вас.

Девушка покраснела, как вишня, и тотчас же ответила:

— Я буду очень рада сопровождать их на бал.

Тогда отец, которого звали дон Диего, спросил мою фамилию и адрес, обещая подумать и дать ответ до полудня. Через несколько часов он явился ко мне и сказал, что от имени своей дочери принимает приглашение, но с условием, что мать будет ожидать конца бала в моей карете.

Беседуя с ним, я узнал, что он занимается изготовлением обуви.

— Отлично, — сказал я. — Снимите мерку и сделайте мне пару башмаков.

— Это невозможно, синьор; я дворянин, идальго, и поэтому упал бы в собственных глазах, если бы снял мерку с вашей ноги.

— Но как же в таком случае вы делаете обувь?

— Если бы я был башмачником, то затруднение действительно было бы; но я не башмачник.

— А кто же вы?

— Чеботарь. Я не прикасаюсь к ногам кого бы то ни было, за исключением таких же дворян, как я сам.

— В таком случае, идальго, не снимайте с меня мерки, но почините мне старые башмаки. Ваша милость согласна на это?

— Согласен; я их так чудесно починю вам, что они покажутся вам новыми.

— Вы хороший мастер?

— Наше ремесло передается от отца к сыну в течение пяти поколений, и берем мы недорого. Починка вам обойдется в один экю.

После этого старик оставил меня, не захотев принять приглашение посидеть со мною. Почтенный чеботарь, с презрением относившийся к башмачникам, которые, в свою очередь, не обращали никакого внимания на его дворянство! Это напомнило мне французских лакеев, презирающих камердинеров своих господ.

На другое утро моя партнерша получила от меня "домкино", маску и перчатки. Вечером я был у ее дверей с наемной каретой: меня ожидали с нетерпением. Мать сопровождала нас, завернувшись в широкий плащ, и почти сразу же заснула.

Когда мы с доньей Игнасией (так звали мою партнершу) вошли в зал, кадрили уже составились. В продолжении двух часов мы не пропустили ни одного контрданса, а затем я предложил поужинать. Все это произошло без всяких бесед. В одиннадцать часов барабан известил нас, что будут танцевать фанданго. Этот страстный танец, все движения которого олицетворяют собою страсть, развязал мне язык и заставил меня объясниться в любви самым оригинальным способом: это была невозможная смесь французских, итальянских и испанских слов.

Игнасия все отлично поняла, вероятно потому, что глаза мои говорили то, о чем недоговаривал язык. Она дала мне понять,

что прежде чем отвечать мне, она должна подумать, а записка, зашитая под подкладку "домино", известит меня о ее чувствах; я должен был послать за "домино" на другой день утром.

Подойдя к карете, мы увидели, что мать по-прежнему спала. Наше приближение разбудило ее, и она воскликнула:

— Как, уже? Я не успела даже хорошенько заснуть!

Благодаря темноте кареты я продолжал держать в своих руках белые ручки доньи Игнасии. В некотором расстоянии от дома мать Игнасии приказала кучеру остановиться и дошла с нею до дому пешком, во избежании всяких сплетен...

(Пропускаем историю любви Казановы к донье Игнасии).

Против дома, в котором я жил, находился красивый дом богатого и знатного вельможи. Я не назову его — может быть, он еще жив. У одного из окон первого этажа я часто замечал белую маленькую ручку, приподымавшую занавески. Мое воображение воспламенилось, как это всегда бывает; я вообразил себе, что ручка принадлежит одной из тех кастильянок, которые славятся своими черными глазами, белизной лица и тонкой талией.

И действительно, я оказался прав: однажды днем занавеска приподнялась, и я заметил очень красивую молодую женщину, бледную, с меланхолическим выражением лица. Я с восторгом смотрел на это лицо, но меня не замечали, хотя окно по-прежнему было открыто и синьора стояла у окна. Я прижимаю свою руку к сердцу, потом подношу ее к губам и принимаю позу человека, пораженного восторгом, но на ее девственном лице не вижу ни волнения, ни симпатии.

В течение целой четверти часа я проделываю все для того, чтобы на меня обратили внимание; вдруг лицо незнакомки оживает, взор сверкает, мне кажется, что она в сильном волнении, но затем она опускает занавеску. Удивленный этим неожиданным результатом, я спрашиваю себя, не боязнь ли быть замеченной заставила ее удалиться.

Была уже ночь, всегда блестящая и звездная в Испании; на улице тихо; вдруг я вижу закутанного в серый плащ мужчину, который проходит через маленькую калитку. Калитка принадлежала соседнему дому, из чего можно было заключить, что визит этот был не к моей незнакомке. И все-таки, как объяснить себе это внезапное исчезновение незнакомки именно в тот момент, когда господин в плаще показался у ее окон?

Я терялся в предположениях, когда, к моему крайнему удивлению, через четверть часа занавеска снова поднялась и молодая синьора, еще более бледная, чем прежде, облокотилась на балюстраду. На этот раз она настойчиво на меня смотрит, и я возобновляю свои страстные жесты; мне кажется, что я вижу на ее лице легкую улыбку. Наконец я решаюсь сделать очень знаменательный жест — мне отвечают; другим знаком меня предупреждают о молчании и тайне, а затем показывают ключ и записку; после этого занавеска снова опускается,

В мгновение ока я на улице; становлюсь под самым окном незнакомки, ключ и записка падают в мою шляпу. Войдя к себе, я читаю следующие строки, написанные по-французски:

“Дворянин ли вы? Храбры ли вы, и можно ли вам довериться? Хочу в это верить. Итак, приходите в полночь; с помощью этого ключа вы отворите маленькую резную дверь соседнего дома; я буду там. Глубокая тайна, и не приходите раньше полуночи”.

Записку я покрыл поцелуями и поднес ее к сердцу; хотя занавеска была опущена, я подозревал, что за мной наблюдают: новый знак, посланный мне рукой синьоры, дал мне понять, что на мой приход рассчитывают. Я был в восторге и совершенно забыл о донье Игнасии.

У меня оставалось два часа на туалет, и я с особенным вниманием занялся им. Тем не менее несмотря на свое упоение, кое-что меня беспокоило. Поведение молодой особы несколько не казалось мне подозрительным, к тому же оно слишком льстило моему самолюбию, но я с ужасом говорил себе: “Если отец или какой-либо родственник поймает меня в этом доме, то я буду убит. Над этим надо подумать”.

Мысль об опасности одну минуту была так сильна, что я с удовольствием отказался бы от предстоящего свидания, если бы не была задета моя честь. Действительно, я дал слово, и его приняли: отступить было невозможно. Я положил в карман свой пистолет, вооружился венецианским кинжалом, трехгранное лезвие которого имело около шести дюймов длины, и в тот момент, когда часы пробили полночь, отворил маленькую дверцу. В полной тьме я ожидал появление синьоры, и вскоре легкий голос тихо спросил:

— Вы здесь?

Потом зашуршало женское платье, меня взяли за руку и повели. Мы шли по длинному коридору, огромные окна которого выходили в сад. Вид моей незнакомки совершенно меня успокоил: никогда еще более благородное выражение не оживляло более красивого лица. Я все еще был взволнован, но теперь уже от опьянения и счастья...

Мы стали подниматься по лестнице, богато украшенной резьбой; потом я очутился в комнате с черными панелями и с серебряными украшениями, между которыми виднелся фамильный герб: это была комната моей незнакомки. Две свечи освещали комнату; и в глубине я заметил кровать, скрытую под занавесом со всех сторон. Незнакомка, которую я буду называть Долорес, пригласила меня сесть рядом с ней; я упал перед нею на колени и покрыл ее руки поцелуями.

— Вы меня любите?

— Люблю ли я вас?! Вы можете в этом сомневаться?! Мое сердце, моя жизнь, все, чем я владею, — все принадлежит вам.

— Теперь я не сомневаюсь. Итак, вы клянетесь на этом распятии, что исполните то, о чем я вас попрошу?

— Клянусь.

— Вы благородный человек; идите за мной.

Она улекла меня по направлению к кровати. Я хотел открыть занавес, но она остановила меня: никогда еще взгляд не выражал столько страдания, печали и отчаяния.

— Что с вами? — спросил я, прижимая ее к своему сердцу. — Вы дрожите?

— О, не из страха. А вы не дрожите? Нет? Ну, так смотрите.

Она быстро приподняла занавески: на кровати лежал труп красивого молодого человека; беспорядок в платье и его положении заставлял думать, что он был убит именно в ту минуту, когда меньше всего можно было ожидать этого.

— Что вы сделать?! — воскликнул я.

— Я поступила по справедливости; он был моим любовником, и я убила его. Я, может быть, умру вследствие этого, но я должна была поступить именно так, а не иначе. Выслушайте, одно слово оправдывает меня: он меня обманул!

— Но это ужасно!

— Вы дворянин, и обещали мне сохранить тайну, подумайте об этом; вы только что поклялись исполнить то, о чем я вас попрошу.

— Что же вам угодно от меня?

— Устраните этот труп; река находится за стеной этого дома; бросьте его туда, умоляю вас; я не могу его видеть!

И она бросилась на колени передо мной. Какая сцена! Она — с обращенным на меня взором, с отчаянием в сердце, но необыкновенной красоты; я — пораженный ужасом, в красивом костюме; а этот труп — между нами.

— Сударыня, — сказал я ей спокойно, потому что чрезвычайная опасность сделала меня невозмутимо-хладнокровным, — вы требуете мою жизнь — берите ее!

— Эти слова прекрасны; еще несколько минут тому назад я не любила тебя, а теперь уже люблю... Но, — прибавила она печально, — теперь я недостойна вас.

И, рыдая, она бросилась на кровать.

Каждая лишняя секунда могла меня погубить; поэтому я сказал ей:

— Не отчаивайтесь; но надо поспешить.

Я храбро приподнял труп, но вид плаща, которым она закрыла его, напомнил мне человека, которого я видел несколько часов назад, когда он проскользнул в калитку, и я психанул от ужаса и отвращения. Тогда Долорес, как бы обеспокоенная опасностью, которой я подвергаюсь ради нее, сделала попытку остановить меня.

— Не надо, — воскликнула она, — вы погибли, если вас встретят.

— Но ведь и вы погибли, если труп останется здесь.

И взяв эту опасную ношу, я отправился к двери. Долорес последовала за мной со свечой в руках. В мгновение ока я вышел на улицу, затем достиг берега реки. Бросив в воду труп, я упал в изнеможении. Все мое платье было в крови, но это я заметил только тогда, когда пришел в себя. Я торопился скрыть эти следы убийства и всю ночь провел в страшном беспокойстве, думая только о том, как бы бежать из Мадрида в ближайшее время.

На другой день я не выходил из своей комнаты; будучи на чеку, я из окна наблюдал за прохожими. Я также боялся и за Долорес; ее занавеска не подымалась.

На другой день я был приглашен на обед к Менгсу*, куда я отправился с целью окончательно проститься, так как рассчитывал скоро уехать из города. Но в два часа, когда я подходил к дому Менгса, какой-то плохо одетый человек подошел ко мне и сказал:

— Вы иностранец, живущий в доме кофейни на улице Крус; остерегайтесь, потому что алькальд** Месса и алыгвасилы следят за вами.

Это известие чрезвычайно напугало меня.

— Благодарю вас за предостережение, — отвечал я, — но мне нечего бояться, так как я ничего дурного не сделал. Кто вы?

— Я алыгвасил. Мы знаем, что вы скрываете у себя запрещенное оружие. Кроме того, алькальд убежден, что знает различные обстоятельства, которые дают ему право арестовать вас и посадить в тюрьму до судебного разбирательства.

При этих словах я побледнел; алыгвасил заметил это и сказал:

— Не пугайтесь; если вы невиновны, то воспользуйтесь данным мною предостережением.

— Вы хороший человек; возьмите этот дублон.

Он взял деньги и перекрестился. Алыгвасил был совершенно прав: кроме моего кинжала и пистолетов, у меня было другое оружие, спрятанное под ковром в моей комнате, — там были шпага и ружье. Я вернулся к себе для того, чтобы захватить эти предметы. Затем я отправился к Менгсу, где считал себя в безопасности, так как его квартира находилась в королевском дворце.

Менгс дал мне убежище на ночь, но попросил найти на следующий день другое убежище, поскольку не хотел быть скомпрометированным.

— К тому же, — прибавил он, — раз вы говорите, что вам не в чем себя упрекнуть, кроме как в том, что вы имели запрещенное оружие, то вполне можете не обращать внимания на предостережение алыгвасила: всякий человек — хозяин у себя, и волен иметь у себя даже пушки, если ему это угодно.

— Я уверен, что в предостережении алыгвасила есть много справедливого, — отвечал я Менгсу. — Если я попросил у вас убежища на эту ночь, то только для того, чтобы избежать удовольствия спать эту ночь в тюрьме; тем не менее я согласен, что мог бы оставить у себя свое оружие.

— Зачем же вы избегаете свою квартиру? Вы не мнительны и не трусливы.

В эту минуту мой хозяин с улицы Крус явился сказать нам,

* Менгс, Антон Рафаэль (1728—1779) — немецкий живописец, видный деятель и теоретик классицизма, работавший с 1761 года главным образом в Испании. Его автопортрет находится в Государственном Эрмитаже.

** Городской судья в Испании.

что алькальд Месса с двенадцатью альгвасилами пришел в мою квартиру произвести обыск. Алькальд приказал отворить двери и, пошарив везде, наложил печати на все замки; затем он арестовал моего пажа, заявив, что без него я бы не избежал рук правосудия; но, прибавил он, ему известно о моем пребывании у кавалера Менгса.

Пусть читатель представит себе ужас, овладевший мною при рассказе моего хозяина; я забросал его вопросами об алькальде и альгвасилах. Хозяин повторил, что присутствовал при обыске и алькальд не отыскал ничего подозрительного. Я спросил хозяина уклончиво, не встревожилась ли полиция вследствие какого-нибудь преступления, случившегося в городе, и не был ли произведен обыск также и в других местах. Он мне ответил, что обыск был и в других квартирах, но ни о каком преступлении он не слышал.

Менгс советовал мне отправиться к графу де Аранда и объяснить ему несправедливый поступок алькальда, арестовавшего моего пажа; поскольку Менгс продолжал интересоваться судьбой моего лакея, несколько не беспокоясь обо мне, я сказал ему с раздражением:

— Этот паж — изменник; он донес на меня, известив полицию о том, что у меня имеется запрещенное оружие, потому что только он знал об этом.

Я провел ночь у Менгса; в восемь часов утра он вошел ко мне с офицером, который сказал мне:

— Вы кавалер Казанова; потрудитесь добровольно следовать за мной до кордегардии около Буэн-Ретиро.

— Я отказываюсь от этого.

— Я знаю, что не имею права прибегнуть здесь к силе, так как этот дом есть собственность его величества. Но должен вас предупредить, что не пройдет и часа, как кавалер Менгс получит приказ изгнать вас отсюда, и тогда вы будете под конвоем препровождены в тюрьму. Но вы можете этого избежать, и потому я советую вам последовать за мною немедленно.

— Так как я не могу сопротивляться, то последую за вами, но позвольте мне написать два или три письма.

— Я не имею права ждать вас или позволить вам писать; к тому же в тюрьме вы можете писать сколько угодно.

Затем офицер, обращавшийся, впрочем, со мной очень вежливо, потребовал запрещенное оружие, которое алькальд напрасно искал в моей квартире. Я вручил оружие офицеру и, обняв Менгса, который, казалось, был очень опечален, сел в карету.

Меня повезли в тюрьму Буэн-Ретиро, которая была раньше королевским дворцом; там Филипп V* часто жил со своим семейством во время великого поста. Меня посадили в общий зал, внизу, и мои мучения начались.

Прежде всего, я чуть не задохся от скверного воздуха этого

* Филипп V (1683—1746) — испанский король, внук французского короля Людовика XIV, основатель испанской ветви Бурбонов.

места, где сорок заключенных находились под надзором двадцати солдат. Тут я увидел четыре или пять кроватей и несколько скамеек, но не замстил ни столов, ни стульев. Я дал эки одному солдату, чтобы он достал мне бумаги и перьев. Он, улыбаясь, взял деньги, ушел и не вернулся; другой солдат, у которого я спросил о первом, рассмеялся мне прямо в лицо.

Среди других заключенных я увидел тут и своего пажа; я стал упрекать его, но, как это всегда бывает, он настаивал на своей невинности. В толпе я узнал также одного плута, Морацани, который не раз являлся ко мне во время обеда и которому я несколько раз давал деньги; он сказал мне, что находится в тюрьме уже два дня и нечто вроде предчувствия говорило ему, что и меня он здесь увидит.

— Но, — прибавил он, — в чем вас обвиняют?

— Об этом-то я и хотел спросить вас.

— Вы не знаете? И я нахожусь в таком же положении; но это не помешает отправить нас под конвоем в какую-нибудь крепость, где мы будем работать на казну.

— Надеюсь, что мне не вынесут приговор, не выслушав меня.

— Не надейтесь; завтра алькальд явится допросить вас, и ваши ответы будут записаны: так, по крайней мере, поступили со мной. Меня спрашивали, на что я живу; я отвечал, что временно живу у своих друзей, ожидая поступления в гвардию его величества. На это мне ответили, что его величество даст мне место и мне не нужно ни о чем хлопотать. Вот суть моего дела. Это место я теперь получил. То же самое случится и с вами, если ваш посланник не заступится за вас.

Я сдержал свой гнев и бросился на соседнюю кровать, но вскоре был вынужден встать из-за множества насекомых. Морацани снова подошел ко мне и сказал:

— Хороши, однако, мы с вами! У вас, по крайней мере, есть деньги, а у меня нет ни гроша, и вот уже два дня, как я питаюсь одним лишь хлебом и чесноком. Когда вам придет в голову одним лишь хлебом и чесноком. Когда вам придет в голову пообедать, пригласите меня — вы сделаете доброе дело; за небольшую плату один из этих солдат добудет нам все, что нужно.

— Я не дам никому ни гроша; меня уже успели обокрасть.

Морацани начал шумно негодовать, но все остальные расходились. Мой паж пришел сказать мне, что умирает с голоду, и попросил у меня денег. Я ответил плуту, что ничего ему не дам и что он больше у меня не служит.

Часа в три лакей Менгса принес мне обед на три персоны; но из эгоизма, в котором я себя упрекаю, я ни с кем не захотел разделить его. Я съел, сколько мог, то есть очень мало, и приказал разделить его. Я съел, сколько мог, то есть очень мало, и приказал остальное унести. Морацани умолял меня оставить хоть вино, но я прогнал его; меня пожирала тревога, я весь был страдание и гнев.

Вечером ко мне приехал Мануцци; он был в сопровождении офицера, арестовавшего меня. После выражения сожалений Мануцци сказал мне:

— По крайней мере вы ни в чем не нуждаетесь, потому что у вас есть деньги.

— Напротив, я во всем нуждаюсь: я не могу даже написать друзьям.

— Какое безобразие! — воскликнул офицер.

— Как бы вы поступили с солдатом, — спросил я его, — который украл деньги, данные ему заключенным на покупки?

— Он был бы присужден к галерам; назовите мне этого солдата.

Все молчали; я вынул три экю и пообещал отдать их тому, кто назовет вора. Морацани немедленно назвал его, и другие заключенные подтвердили справедливость его слов. Офицер записал фамилию солдата, удивляясь тому, что я издержал три экю, чтобы получить один. Затем мне принесли бумагу, перья, свечку, и, когда эти господа ушли, я принялся писать.

Не вставая с места и несмотря на свое неудобное положение, — все уже легли спать, а некоторые даже легли на мою бумагу — я написал четыре письма: первое — министру юстиции, в котором я жаловался на алькальда; второе было адресовано Мочениго.

“Ваша обязанность, — писал я в этом письме, — взять под свое покровительство несчастного соотечественника, несправедливо преследуемого. Вы ссылаетесь на то, что повеление вашего правительства запрещает вам вступить за меня; если вы и теперь еще не знаете причин моей ссоры с инквизиторами, то я вам скажу: инквизиторы преследовали меня исключительно потому, что госпожа Соцци предпочла меня монсиньору Кондильмеру, который из ревности посадил меня в “Пьомби”.

Я написал также герцогу Лассада, умоляя его заступиться за меня непосредственно перед самим королем. Последнее, и самое едкое, письмо было адресовано мною графу де Аранда. Вот оно, если память мне не изменяет:

“Монсиньор, в настоящую минуту меня убивают, и убивают в тюрьме. Не имею возможности не верить в то, что вы — причина этой медленной смерти, так как я совершенно напрасно объявил своим палачам, что приехал в Мадрид с рекомендательными письмами к вашему сиятельству.

Какое преступление я совершил? Пусть мне скажут. Обращаюсь к вашему чувству гуманности: какое удовлетворение можете вы мне дать за все те мучения, которые я выношу? Покажите же освободить меня или же нанесите последний удар — это, по крайней мере, избавит меня от самоубийства”.

Я снял копии с этих четырех писем и запечатал оригиналы для передачи их на другой день слуге Мануцци.

Ночь была ужасна: не сомкнувши глаз, я провел ее, сидя на скамейке. В шесть часов явился Мануцци; я с восторгом обнял его, заливаясь слезами, и умолял его отвести меня на минуту в кордегардию, потому что был ни жив ни мертв. Он сразу же повел меня туда и приказал подать мне шоколаду. Затем Мануцци прочел мои письма и, казалось, ужаснулся их содержанию. Этот молодой человек, не испытывавший еще страданий, не знал, что в жизни бывают такие моменты, когда невозможно побороть в

себе негодование. Однако он поклялся, что мои письма будут в точности переданы по адресам в течение дня; он прибавил, что Мочениго должен быть у графа де Аранда и посланник твердо обещал поговорить насчет меня с министром.

Днем ко мне явились донья Игнасия и ее отец. Их вид чрезвычайно расстроил меня, и на этот раз я плакал от умиления. Игнасия тоже плакала; что же касается доча Диего, то он произнес целую речь, очень милую по содержанию, но напыщенную по форме. Из его речи я узнал, что: он не навестил бы меня, если бы не был убежден в моей невинности; все смотрели на меня как на жертву подлой клеветы; и, наконец, я вскоре получу полное вознаграждение за нанесенное мне оскорбление. Окончив свою речь, добряк крепко обнял меня и незаметно всунул мне в жилетный карман сверток дублонов, говоря мне на ухо:

— После отдадите.

Я был преисполнен благодарности к нему и отвечал так же ему на ухо:

— Возьмите назад свои дублоны; у меня есть деньги, но я не решаюсь их вам показать, потому что мы окружены ворами.

Он забрал свои дублоны и ушел, заставив меня пообещать, что я явлюсь к нему сразу, как буду освобожден. Дон Диего не назвал своего имени в тюрьме; он был хорошо одет и имел на этот раз вид вполне дворянина. Таков кастильский характер — смесь больших недостатков с большими достоинствами; но необходимо прибавить, что все пороки испанцев имеют в своем источнике их склад ума, между тем как их достоинства — дело их сердца.

После обеда я был извещен о прибытии алькальда. Меня повели в соседнюю комнату, где я увидел стол с бумагами; тут же находилось и мое оружие. С алькальдом было два писца; он пригласил меня сесть и правильно отвечать на задаваемые мне вопросы.

— Не забывайте, — прибавил он, — что всякое ваше слово будет записано в протоколе.

— В таком случае потрудитесь допрашивать меня на итальянском или французском языках, потому что я очень плохо выражаюсь по-испански и так же плохо понимаю этот язык. Я бы не желал сказать какую-нибудь бессмыслицу.

Алькальд рассердился и что-то выкрикивал в течение целой четверти часа. Я плохо понимал, что он мне говорил, но упорствовал в своем решении. Тогда он дал мне перо, предлагая написать по-итальянски имя, профессию и причины, заставившие меня приехать в Мадрид. Я взял перо и написал следующее:

“Я, Джакомо Казанова, венецианец, по склонностям — ученый, по привычкам — независимый и настолько же богатый, что не нуждаюсь ни в чьей помощи. Путешествую из удовольствия. Я известен венецианскому посланнику, графу де Аранда, маркизу Морас и герцогу Лассада. Я с доверием приехал в Испанию и не думаю, что нарушил какой-либо закон этой монархии; тем не менее я арестован и заключен в тюрьму вместе

с разбойниками: правда, это было делом людей, более меня достойных такой судьбы.

Не зная за собой никакой вины, я должен заявить тем, кто меня преследует, что они не имеют никакой власти надо мною, за исключением того, что могут выслать меня из Испании, что, впрочем, я готов исполнить немедленно.

Меня обвиняют в том, что я скрывал у себя запрещенное оружие. Я отвечаю, что это оружие я вожу с собой повсюду в течение пятнадцати лет: причина этому та, что я много путешествую и во всякой стране бывают разбойники. К тому же таможенные чиновники у ворот видели это оружие и оставили его мне. Если теперь его конфискуют, то только из желания найти предлог преследовать меня".

Я отдал эту бумагу алькальду, который сейчас же приказал ее перевести. Прочитав то, что я написал, он в бешенстве встал, воскликнув: "Вы раскаетесь в этом!", и приказал отвести меня в общий зал.

Вечером ко мне приехал Мануцци и сообщил, что обо мне был разговор между графом де Аранда и посланником. Мочениго очень хвалил меня, хотя и сознался, что не может заступиться за меня по причине моей ссоры с инквизицией. Затем посланник сообщил министру все, что знал обо мне. Граф де Аранда признал, что со мною поступили гадко, но, тем не менее, не видел причины, из-за которой этот умный человек потерял голову, и прочитал посланнику письмо, которое я написал ему.

— Почти то же самое, — прибавил граф, — он пишет дону Эммануилу Рода и герцогу Лассада; согласитесь, что приличным людям не пишут в таком тоне.

— Еще бы! — прервал я рассказ Мануцци. — Каждому положению соответствует свой стиль. Посмотрите, в каком положении я нахожусь: в грязном зале, без кровати, без стула, окруженный разбойниками; не достаточно ли этого, чтобы вывести человека из терпения?! Но ваш рассказ успокоил меня, ибо я вижу, что мне готовы отдать справедливость.

Уходя, Мануцци счел возможным уверить меня, что завтра я буду уже свободен. Вторую ночь я провел так же, как и первую: падая от желания уснуть, но боясь закрыть глаза из страха потерять свои деньги, часы, табакерку и — даже больше — жизнь.

Часов в семь утра явился старший офицер с двумя адъютантами и сказал мне:

— Его сиятельство граф де Аранда сожалеет о том, как с вами поступили; об этом он узнал только из вашего вчерашнего письма.

— Его сиятельство не знает всего, — ответил я и рассказал офицеру историю кражи экю.

Офицер немедленно потребовал к себе капитана, под командой которого находился этот солдат, и рассказал ему о случившемся, приказав заплатить мне экю из собственного кармана. Капитан исполнил это с неудовольствием, и я, улыбаясь, взял монету.

Этим старшим офицером был граф Рохас, полковник полка,

стоящего в ка
что к концу д
— Вас не ос
что его полице
за эту алькальд
вами. Он сли
жил у вас. я
Итак, я
мог сказать?
шей моему
— Надеж
бояться кле
тяготит мен
Полковн
плута. С те
Когда м
укравшим
выразил с
— Его
Затем
в этот же
В ожи
для меня
бросился
Должен
самой не
раскаива
этого ни
ли далек
Счас
предмет
льстило
желал,
в его за
со мно
Мы
чтобы
а офи
выход
неско
наход
котор
гваси
были
волн
—
цел
обр
вор

стоящего в казармах Буэн-Ретиро; он дал мне честное слово, что к концу дня мне будет возвращена свобода и оружие.

— Вас не освобождают сразу только потому, — прибавил он, — что его сиятельство желает, чтобы вы получили удовлетворение за эту полицейскую глупость. Тем не менее я должен вам сказать, что алькальд был введен в заблуждение лживыми свидетельствами. Он слишком доверился наговорам мерзавца, который служил у вас.

Итак, я не обманулся: на меня донес мой паж; но что он мог сказать? Вспоминая странное событие ночи, предшествовавшей моему аресту, я не вполне был спокоен.

— Надеюсь, — сказал я Рохасу, — что на будущее мне нечего бояться клеветы этого мерзавца; сознаюсь, что его присутствие тяготит меня.

Полковник немедленно позвал двух солдат, которые привели плута. С тех пор я ничего о нем не слышал.

Когда меня повели в кордегардию для очной ставки с солдатом, укравшим у меня экую, я заметил во дворе графа де Аранда и выразил свое удивление полковнику, который ответил мне:

— Его сиятельство специально приехал ради вас.

Затем этот почтенный офицер пригласил меня обедать к нему в этот же день.

В ожидании освобождения я возвратился в тюрьму. В зале для меня поставили кровать. И тут я увидел Мануцци, который бросился ко мне на шею: мы обнялись самым сердечным образом. Должен прибавить, что этот молодой человек выказал знаки самой нежной дружбы ко мне, и поэтому я всю жизнь буду раскаиваться за те слухи, которые я распускал о нем; он мне этого никогда не простил. Читатель рассудит сам, не слишком ли далеко зашла месть Мануцци.

Счастливая развязка моего приключения вскоре сделалась предметом оживленных разговоров заключенных. Большинство льстило мне. Морацани оказался самым надоедливым — он желал, чтобы я немедленно написал прошение к графу де Аранда в его защиту, но достиг только того, что я позволил ему разделить со мной обед.

Мы еще не встали из-за стола, как появился алькальд Месса, чтобы отвести меня на мою квартиру: он возвратил мне оружие, а офицер, сопровождавший его, вручил мне мою шпагу. Мой выход из тюрьмы не обошелся без некоторой торжественности: несколько солдат шли впереди кортежа, как я его называю; я находился между алькальдом в полной форме и офицером, о котором я уже упоминал; за нами шло человек двадцать альгвасилов. Эта свита отвела меня на квартиру, с которой уже были сняты печати. Уходя, алькальд сказал мне с некоторым волнением:

— Вы можете быть уверены, что у вас все находится в целости; если бы не ваш слуга, вы бы никогда не имели случая обращаться с чиновниками его королевского величества как с ворами и разбойниками.

— Господин алькальд, — отвечал я, — гнев заставляет делать много глупостей. Забудем все, что произошло: думаю, что вы найдете во мне порядочного человека; согласитесь, что если бы мой голос не был услышан, то я рисковал бы попасть на галеры.

— Это вероятно; но я лично пожалел бы вас.

— Весьма вам благодарен.

Я принял ванну, приделся и отправился к моему башмачнику-дворянину. Он поздравил меня с освобождением, а себя похвалил за проницательность, вследствие которой он был убежден, что мой арест не более как одна из ошибок, столь часто совершаемых полицией. Когда я рассказал ему об удовлетворении, полученном мною, дон Диего уверил меня, что и испанский гранд не мог ожидать ничего лучшего.

Затем я отправился к Менгсу, который не рассчитывал увидеть меня так скоро. Он встретил меня с некоторым замешательством. И действительно, не должен ли он был упрекать себя кое в чем по отношению ко мне? Разве не он выпроводил меня из своей квартиры как человека подозрительного? Я видел косвенное извинение в придуманном им плане относительно заступничества в мою пользу, которое он намеревался сделать.

У Менгса я нашел письмо, которое доставило мне большее удовольствие, чем все его уверения. Это было письмо Дандоло, рядом с которым лежало еще одно, на имя Мочениго. Добрый Дандоло извещал меня, что после получения этого второго письма посланник не будет опасаться не понравиться инквизиции, принимая меня у себя, ибо это письмо исходило непосредственно от инквизиторов.

Менгс советовал мне немедленно отнести это письмо Мочениго, но я был изнурен и удовольствовался тем, что отправил письмо Мануцци, который утром следующего дня пригласил меня обедать к господину посланнику.

— Будет парадный обед, — прибавил он, — и ваше торжество будет тем полнее.

Тем не менее я не совсем был еще спокоен; вероятно, я бы немедленно уехал из Мадрида, и даже из Испании, если бы не свидание с министром, которое рассеяло все мои сомнения.

Граф де Аранда продержал меня в прихожей довольно долго, из чего я заключил, что его сиятельство, не ожидая моего визита, готовился принять меня. Увидев меня, он сразу пошел ко мне на встречу с очень любезным видом и, передавая мне пачку бумаг, сказал:

— Вот ваши четыре письма; советую вам перечитать их теперь, когда вы можете рассуждать хладнокровно.

— Отчего же вы советуете мне перечитать эти письма, ваше сиятельство?

— Отчего?! Разве вы не понимаете, в каком тоне они написаны?

— Извините меня, ваше сиятельство, но человек, решивший, подобно мне, покончить с делом, даже рискуя своей жизнью, не может умерять свои выражения. Я должен был думать, что все,

что со мною случилось, было результатом повелений вашего сиятельства.

— Значит, вы плохо меня знаете; еще неудачнее вы посмотрели на ваше положение и на мое.

— Я понимаю, какое уважение обязан питать к вам при обычных обстоятельствах, но я видел себя вне закона, и поэтому мое раздражение должно быть понятно.

— Может быть; но менее понятно мнение, которое сложилось у вас о моем отношении к вам. Вы несправедливы и плохо поддерживаете репутацию умного человека.

Я поклонился, как бы желая поблагодарить его за этот ироничный комплимент, а граф продолжал более строгим тоном:

— Господин Казанова, вполне ли вы уверены в том, что вам не в чем себя упрекнуть, как вы утверждаете? Что вы ни в чем не нарушили законов его королевского величества?

Манера, с которой были сказаны эти слова, привела меня в трепет; воспоминание о трагическом приключении предстало в моем воображении в кровавых формах. Граф заметил мое замешательство и мягко сказал:

— Успокойтесь; все известно, и все прощено вам, поскольку ваше поведение было честно и благородно; но сознайтесь, что по закону за ваши действия вас можно было повесить. В конце концов, лучшая роль в этом деле принадлежит не вам: вы действовали как истый испанец, но сеньора Долорес вела себя как истая римлянка.

— Что же она сделала?

— Она во всем призналась.

— Даже рискуя погубить меня?

— Это было единственным средством спасти вас; оправдывая вас полностью, сеньора Долорес заставила бы верить в ваше соучастие, потому что вас видели. Кавалер, которого убила сеньора, был довольно плохим человеком; однако подобное преступление заслуживало наказания, и оно было бы ужасным, если бы преступление получило огласку; но тайна, которой оно было покрыто, и, еще более, причины преступления Долорес принуждали к снисхождению. Сейчас она свободна, и ее семья вместе с нею оставила уже Испанию. Что же касается вас, то вы можете быть совершенно покойны. Мне не нужно рекомендовать вам сохранять тайну относительно этого дела: вы первый заинтересованы в этом.

Мне хотелось броситься к ногам графа; мое волнение должно было дать ему полное представление о моей благодарности.

Выйдя от министра, я отправился к господину Рохасу. Под впечатлением только что происшедшего я не скрыл перед ним своих чувств, которыми было переполнено мое сердце по отношению к его сиятельству. Рохас, которому не могли быть известны мотивы моего настроения, сказал мне несколько раздражительно:

— Как?! Вас оскорбляют, а вы благодарите за это?

— Мне была отдана справедливость; я не злопамятен, к тому же чего я мог еще требовать?

— Прежде всего, смещения алькальда, а потом денежного вознаграждения.

— Согласен, что алькальд превысил свои полномочия, но в этом он был более несчастен, чем виновен; что же касается денежного вознаграждения, то мне было бы гадко оценить свои страдания в деньгах.

— Прекрасно; но ваше благородство будет истолковано как слабость; вы находитесь в стране, где все можно говорить безнаказанно, за исключением того, что относится к инквизиции и королю.

Возвратившись к себе, я нашел там Менгса, ожидавшего меня с каретой. Он был приглашен на обед к Мочениго и заехал за мною.

Посланник принял меня с распростертыми объятиями и похвалил Менгса за его гостеприимство, оказанное мне. Менгс покраснел, и я не мог не улыбнуться. За столом речь зашла о моих письмах, и точки зрения, с которых каждый из собеседников рассматривал эти письма, заставили меня подумать о том, до какой степени положение человека влияет на его суждения.

Кроме Менгса и посланника из более известных лиц там были: аббат Бильярди, французский консул; ученый дон Пабло Оливарес и знаменитый Родригес Кампоманес*. С искренностью более любезной, чем строгой, посланник порицал мое письмо к графу де Аранда; Кампоманес принялся меня защищать, говоря, что именно это письмо должно было вызвать у всех уважение ко мне, даже у короля и его министра; Оливарес был того же мнения и поддержал Кампоманеса множеством цитат; Менгс в качестве царедворца перешел на сторону Мочениго; что же касается аббата Бильярди, то он сказал, что посланник прав, как, впрочем, прав и Кампоманес.

Кампоманес, известный на своей родине как человек умный, ученый и смелый, был небольшого роста, очень некрасивый, но который казался красивым в то время, когда говорил. Его красноречие, живое и страстное, было чрезвычайно увлекательно. Враг католической церкви, знающий основательно все ее приемы, он всегда высказывался откровенно против злоупотреблений, которые церковь освящает своим авторитетом. Все пасовало перед едкой иронией его рассуждений. Сколько предрассудков уничтожил этот испанский Вольтер! Ему Испания обязана изгнанием иезуитов, так как именно он открыл графу де Аранда все интриги этого общества и показал ему все нити сети, столь ловко расставленной иезуитами, которая угрожала всему народу.

Кампоманес был слепым на один глаз; граф де Аранда и генерал иезуитов тоже были кривыми. Я свел разговор на борьбу между этими тремя слепыми на один глаз личностями. Кампоманеса считали автором всех тех направленных против иезуитов

* Кампоманес, Родригес, граф (1723—1803) — испанский государственный деятель, экономист, историк, один из видных проводников политики "просвещенного абсолютизма" в Испании.

памфлетов, что наводнили собой тогда все европейские столицы. Его сношения с венецианским посланником давали ему возможность знать о всех мерах, принимаемых нашим сенатом против монахов, — сведения, без которых Кампоманес легко бы обошелся, если бы ему были известны сочинения нашего знаменитого Паоло Сарпи*.

Смелый, настойчивый, умный, Кампоманес считался человеком искренним и бескорыстным в своей оппозиции: его вдохновляла одна лишь любовь к правде и отечеству, поэтому-то он и заслужил уважение самых просвещенных людей; напротив, монахи, патеры, ханжи и чернь ненавидели этого смелого писателя. Инквизиция поклялась стубить его, и все открыто говорили, что Кампоманесу суждено погибнуть в тюрьмах инквизиции: пророчество, которое, к несчастью, исполнилось, или вроде того.

И действительно, года четыре спустя Кампоманес, заключенный в инквизиционную тюрьму, вышел оттуда, произнеся публичное покаяние. Оливарес, его друг и наш теперешний собеседник, заплатил еще дороже: все его состояние было конфисковано, а сам он умер в изгнании. Даже сам граф де Аранда, покровитель этих двух людей, не избегнул бы гнева инквизиции, если бы король, желая избавить его от мести врагов, не отправил его посланником в Париж.

Карл III**, умерший, как известно, сумасшедшим, понаделал вещей, удивительных для испанского короля и, в особенности, для человека слабого характера, капризного и набожного. Он верил как в черта, так и в Бога — вера, которая полностью отдавала его в руки духовника. Однако этот духовник не был иезуитом, ибо не кто иной, как он, предрасположил совесть короля к великому делу изгнания иезуитского ордена.

И в то же время этот духовник, имя которого я, к сожалению, позабыл, был чрезвычайно привязан к инквизиции. Вначале он делал вид, что поддерживает реформационные планы графа де Аранда, но его истинной целью было, как потом показали обстоятельства, погрузить короля в пропасть суеверия и деспотизма. История переполнена подобными примерами попыток реформ, поддерживаемых злейшими их врагами, убежденными в том, что эти попытки обрушатся в конце концов на головы их авторов и иго, снятое на время, с еще большей силой охватит доверчивые народы.

На другой день я явился к дону Эммануилу Рода, человеку большого ума и образования — явление, представляющее редкость везде, но в особенности в Испании. Он очень любил латинскую и итальянскую поэзию, но считал их ниже испанской. Это обыч-

* Сарпи, Паоло (1552—1623) — венецианский ученый и политический деятель, монах нищенствующего ордена сервитов, доктор богословия. За борьбу с папством в 1607 году был отлучен от церкви.

** Карл III (1716—1788) — испанский король с 1759 года. В 1731—1735 годах — герцог Пармы (под именем Карла I). Получил испанский престол после смерти старшего брата Фердинанда VI.

ная слабость у людей самых умных. Предоставляю читателю решить, не подвержен ли я сам этой слабости, заявляя, что не знаю более высокой поэзии и прозы, чем поэзия и проза моей родины. В целом мире я не вижу поэтов, которых можно было бы сравнить с Данте, Петраркой, Тассо и Ариосто (говорю только о современных). Можно даже сказать, что вся великая и строгая европейская литература, за исключением одних лишь греков, принадлежит исключительно Италии.

Римляне блестяще открыли путь, который потом прошли с таким блеском итальянцы Возрождения. Современная Италия имеет то преимущество перед древней, что она блистала в искусствах, почти совершенно неизвестных римской цивилизации. Что может быть выше, совершеннее, прекраснее живописи и музыки моей родины? Фламандская, испанская и французская школы — только отражение нашей школы. Кроме того, Италия произвела величайших архитекторов, скульпторов и — что обычно забывают другие народы — величайших военачальников, список которых открывает Цезарь. Наконец, в точных науках я не знаю более великих имен, чем имена Архимеда и Галилея.

Вот имена, которые я противопоставил дону Эммануилу Рода, отвечавшего на все именем Сервантеса. "Дон Кихот" — конечно, великое произведение, но оно всегда мне казалось мелким по своей цели; тирады романа недостаточно разнообразны, а общая форма монотонна. При всем желании читателю трудно в настоящее время объяснить себе непоколебимое сумасшествие Дон Кихота. Великое правило литературы и искусства находится в одном совете Микеланджело*: "Писатель и художник не должны воспроизводить то, что будет уничтожено временем", а между тем сатирическое произведение Сервантеса постоянно направлено против смешной стороны, которая не пережила его.

Несмотря на мое красноречие, дон Эммануил остался при своем мнении, а я при своем: это обычный результат каждого спора. Во всяком случае, он принял меня очень любезно и выразил свое сожаление по поводу неприятностей, которые я вынес в Буэн-Ретиро; такие же признаки участия я встретил у герцога Лассада и принца де Ла Католика.

В течение трех недель, проведенных мной у Менгса, я имел возможность видеть самых известных людей Испании; поэтому немудрено, что я начал серьезно думать о приобретении себе какого-нибудь места в правительстве, тем более что Полина, моя португальская дама, перестала писать мне.

За несколько дней до Пасхи король со всем двором оставил Мадрид и поселился в Аранхуэсе**. Мочениго пригласил меня сопровождать его туда, так как надеялся представить меня там

* Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — великий итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт, один из крупнейших представителей Возрождения.

** Аранхуэс — город на реке Тахо, близ Мадрида, весенняя резиденция испанских королей.

монарху. Но накануне отъезда я заболел лихорадкой, удержавшей меня в постели. В страстную пятницу, хотя и не совсем еще поправившись, я взял карету и отправился в Аранхуэс; приехав туда, я был ни жив ни мертв. В таком состоянии я получил следующее письмо от Менгса:

“Я должен предупредить вас, что вчера патер моего прихода вывесил у дверей церкви список всех тех из его прихожан, кто не верует в Бога и не исповедовался. Ваше имя находится тут же. Патер сделал мне выговор по этому случаю: он удивляется тому, что под моей кровлей живет язычник. Вам бы следовало задержаться на один день в Мадриде и выполнить свои обязанности христианина. Забота о своей репутации заставляет меня объявить вам, что с настоящей минуты мой дом закрыт для вас. Мои слуги передадут ваши вещи лицу, которое вы пошлете за ними”.

Ознакомившись с этим неприличным посланием, я сказал посланцу, что он может отправляться куда хочет. Но так как он хотел получить ответ на письмо или расписку в получении, я разорвал письмо на клочки и, бросив их ему в лицо, сказал:

— Вот вам мой ответ.

Затем я отправился в церковь Аранхуэса и исповедался какому-то капуцину. На другой день я причастился и взял расписку в выполнении всех формальностей, которую я сейчас же отправил патеру в Мадрид, с просьбой вычеркнуть меня из списка неверующих. Менгсу я написал следующее:

“Я заслужил оскорбление, которое вы мне наносите, так как сделал глупость, оказав вам честь принять приглашение жить у вас. Как бы груб ни был ваш поступок, я вам его прощаю, ибо в этом заключается долг доброго христианина, только что удостоившегося принять святыне таинства. Но позвольте мне вспомнить латинскую пословицу, которую все порядочные люди знают наизусть, но вам совершенно неизвестную: “*Tigris ejicitur quam non admittitur hospes*”^{*}.

Отправив это письмо, я рассказал обо всем посланнику, который поведал мне, что Менгс был уважаем только за свой талант; что же касается его характера, то он был необщителен и полон гордости.

— Он предложил вам убежище из чистого тщеславия и только ради того, чтобы уверить весь Мадрид в том, что с вами обращаются так почтительно единственно из почтения к нему, Менгсу.

Менгс говорил на четырех языках, но на всех говорил неправильно, в чем никак не хотел признаться. Даже его родной язык был ему плохо знаком. Однажды, когда он писал прошение королю, мне стоило большого труда убедить его в том, что его формула неясна: он называл себя “*el mas inclito*”, предполагая, что эти три слова означают “всепокорнейший”, между тем как они означают “самый известный”. В письмах, адресованных к

^{*} Позорно отказывать в гостеприимстве, но еще позорнее изгонять того, кому оно было предложено. *Лат.*

исму, всегда нужно было писать: "Господину кавалеру Менгсу"; без этой дворянской формулы он не отвечал на письма. Он точно так же дорожил тем, чтобы упоминали все его имена, и оправдывал эту претензию странным соображением.

— Меня зовут, — говорил он, — Антон Рафаэль Менгс, а так как я живописец, то тот, кто не упоминает моих имен, отказывает мне в чести помнить, что эти имена — общие с Антонио Корреджо* и Рафаэлем д'Урбино**, достоинство которых я соединяю в себе.

В разговоре у него была несносная привычка рассматривать все предметы с метафизической точки зрения. Менгс считал себя глубокомысленным, потому что постоянно прибегал к словарию абстракций, всегда казавшихся мне банальностями. Его речи были переполнены соображениями тех, кто писал о живописи и скульптуре, в частности, Леснардо да Винчи; но так как он путался в понятиях, то из всего этого выходили самые нелепые результаты.

Подобно всем второстепенным художникам, Менгс имел непреодолимую слабость обожествлять все то, что он делал, постоянно поклонялся себе и своему таланту: в нем все, даже его недостатки, было, по его мнению, красотой. Помню, как однажды я осмелился заметить, рассматривая одну из его картин, что кисть у одной из фигур мне кажется неправильно написанной. И действительно, безымянный палец был короче указательного.

— Какое странное замечание! — ответил он. — Посмотрите на мою руку.

— А вы посмотрите на мою, — возразил я. — Я убежден, что она не отличается от рук других сынов Адама.

— От кого же, вы полагаете, я происхожу? — спросил он.

— Право, не имею понятия, — ответил я. — Рассмотрев вашу руку, я и не знаю, к какой породе причислить вас, но знаю, что вы не принадлежите к моей.

— В таком случае, вы не принадлежите к человеческой породе, потому что нормальная форма кисти мужчин и женщин есть именно форма моей кисти.

— Готов держать пари, что вы ошибаетесь.

Взбешенный, он бросает палитру и кисти, звонит, вызывая своих слуг, и заставляет их показывать руки: представьте себе его бешенство, когда он увидел, что у всех безымянный палец длиннее указательного. Однако он почувствовал комичность своего поведения и закончил сцену следующей шуткой:

— Я очень рад, что в одном, по крайней мере, пункте я — единственный в своем роде.

Тем не менее этот чрезвычайно тщеславный человек, талант которого, по моему мнению, был слишком преувеличен, дейст-

* Корреджо (настоящее имя — Антонио Аллегри, 1489 или 1494—1534) — выдающийся итальянский живописец, уроженец города Корреджо.

** Имеется в виду Рафаэль Санти (1483—1520) — великий итальянский живописец и архитектор, уроженец Урбино, города в Центральной Италии.

вительно имел чувство красоты и совершенства. Однажды он мне это доказал. Дело было по поводу его "Магдалины" — картины действительно прекрасной. В течение целого месяца он мне говорил каждое утро: "Моя картина будет закончена завтра", но, несмотря на то, что он трудился над картиной целыми днями, работа над ней все не заканчивалась. Наконец я спросил его, не ошибся ли он, уверяя меня, что его картина будет окончена на следующий день.

— Нет, не ошибся, потому что из ста зрителей девяносто девять будут считать ее законченной, но для меня важно мнение только того сотога, которого я не могу отыскать. Поэтому эта "Магдалина" никогда не будет окончена, то есть она может быть окончена только фактически, когда я перестану над нею работать. Никакое произведение рук человеческих не может считаться оконченным, потому что ни одно не совершенно. Даже у вашего Петрарки, которого вы так любите, нет совершенного сонета.

— Это правда, — отвечал я и бросился ему на шею.

Как и все художники, Менгс ставил гений живописца гораздо выше гения поэта. Так, например, сравнивая манеру работы поэта, сочиняющего трагедию, с работой живописца, который в одной картине изображает различные сцены этой трагедии, Менгс отдавал предпочтение последнему. Я отвечал ему на это:

— Я, конечно, не решусь сказать, кто выше как гений, Рафаэль или Еврипид*, но что касается исполнения, то осмелюсь заметить, что произведение живописца мне кажется скорее делом рук, чем ума. Изображая контуры и располагая краски, он волен фантазировать как ему угодно, но поэт-трагик не может дать воли своему воображению и удалиться от своего сюжета; он нуждается в своих энергии, уме и силах. Покажите мне поэта, который во время работы способен заказать обед; а ведь вы сами делали это, работая над вашей "Магдалиной".

Когда Менгс чувствовал, что его побивают, он ворчал сквозь зубы, что и сделал после моей тирады. Я бы мог рассказать еще несколько анекдотов о Менгсе, но предпочитаю возвратиться к нити моего рассказа.

В обществе Мануцци я совершил экскурсию в Толедо. В этой столице Новой Кастилии можно видеть знаменитый Альказар — дворец, в котором жили маврские короли. Собор также замечательен; дарохранительница настолько велика по своим размерам, что во время процессий требуется по крайней мере тридцать человек, чтобы ее нести. Каноник, который показывал нам достопримечательности, обратил наше внимание на маленькую вазу из плохой глины.

— Это ваза, — сказал он, — есть ваза Иуды, где хранились тридцать сребреников, за которые он продал нашего Спасителя.

Я хотел взять в руки эту реликвию, чтобы рассмотреть ее получше, но каноник остановил меня, сказав, что даже сам король не смеет прикоснуться к ней.

* Еврипид (ок. 480—406 до н. э.) — древнегреческий драматург.

Затем мы отправились осмотреть кабинет истории естествознания, также известный своими достопримечательностями. Надзиратель показал нам нечто вроде пакета, где хранился, как он сказал, остов дракона.

— Это доказательство того, — прибавил он, — что дракон совсем не мифическое животное.

Он показал нам также фартук франкмасона, полученный им от друга его отца, который был франкмасоном.

— Этот фартук, — сказал он, — свидетельствует о том, что тайное общество существует.

Все эти доказательства не дали мне представления о высоком уме надзирателя.

По возвращении в Аранхуэс посланник представил меня маркизу Гримальди, который долго беседовал со мной о швейцарской колонии, основанной испанским правительством в Сьерра-Морена*. Предприятие не процветало; все колонисты умирали в этой суровой местности. Я сказал маркизу:

— Этот проект неосуществим; колонии лет через двадцать исчезнут до последнего человека вследствие как физических, так и нравственных причин. Из европейских народов швейцарцы более всех привязаны не только к обычаям своей родины, но и к самой почве. Я бы сравнил их с растением, которое при перенесении в другой климат постепенно чахнет и наконец умирает. Эти люди подвержены болезни, которую называют тоской по родине, — болезни, известной также и древним грекам под именем ностальгия. Возможно, лучшим средством вылечить их от этой болезни было бы связывать их брачными узами с колонистами других стран или испанцами; им бы следовало оставлять их священников, но, главным образом, оградить их от придирок инквизиции, потому что у швейцарцев привычки укоренились чрезвычайно глубоко: таков, например, обычай, предшествующий брачной церемонии, который ни в коем случае не может быть одобряем испанской церковью.

Одним словом, я убеждал господина Гримальди отказаться от его швейцарской колонии и составить ее из испанских семейств. Он возразил мне, что народонаселение Испании и без того было уже слабо и ради этого придется опустошить целый кантон и заселить его в ущерб плохо заселенным местностям.

— Совсем нет, — отвечал я, — потому что десять колонистов, которые в Астурии умирают с голода, будут иметь до пятидесяти детей в течение десяти лет; в следующем поколении их будет двести, а в третьем — тысяча.

Началась работа над моим проектом; маркиз уверил меня, что если дело пойдет успешно, то я получу место директора колонии, — вознаграждение, мало мне улыбавшееся, так как в продолжении долгого времени колония будет состоять из одних нищих.

Я был занят редакцией проекта, когда руководитель хора

* Горная цепь из невысоких хребтов на юге Испании.

дворцовой капеллы, венецианец, которому покровительствовал Мочениго, явился ко мне и спросил, нет ли у меня какого-нибудь сюжета, который можно было переложить на музыку. Готовился дворцовый спектакль, а времени оставалось так мало, что не было возможности выписать либретто из Италии.

Я предлагаю ему написать оперу в одном действии; он соглашается; я принимаюсь за работу и за какие-нибудь тридцать шесть часов пишу либретто. На мое либретто капельмейстер сочинил музыку за четыре дня, и мы приступили к репетициям, которые проводились в доме венецианского посольства в присутствии испанских министров и иностранных посланников.

Успех был полный — единственная выгода, которую я получил и за которой гонялся. Благодаря этому я вошел в сношения с некоторыми лицами театра в Аранхуэсе; тогда-то я и познакомился с синьорой Пелличисей, первой певицей, римлянкой по рождению, посредственного таланта, не особенно красивой, но очень умной. Ангажированная в Валенсию, она просила меня помочь ей с рекомендательными письмами в этот город. Я отправил ее к герцогу Аркосу, который дал ей запечатанное письмо банкиру дону Диего; об этом обстоятельстве я буду еще иметь случай кое-что сказать.

Из лиц, с которыми я часто встречался в Аранхуэсе, я должен упомянуть о доне Доминго Барнери, первом камердинере короля. Из его окон я ежедневно наблюдал, как его величество отправлялся на охоту и возвращался оттуда усталый и изнуренный.

Король был хотя и мал ростом, но крепким и подвижным, в противоположность всем испанским королям, которых мы представляем себе энергичными, но флегматичными. У Карла III был любимец, некто Грегорио Сквилас, человек низкого происхождения, единственное достоинство которого заключалось в том, что у него была красивая жена. Как и все, я приписывал госпоже Сквилас все те милости, которыми король осыпал ее мужа, но Барнери разубедил меня в этом.

— Такие слухи действительно ходили, — сказал он, — но это клевета. Король — само целомудрие, он знал только свою супругу, но и свои супружеские обязанности он исполнял скорее как долг, чем как наслаждение. Этот добродетельный монарх ни за что не захотел бы даже ценой жизни замарать свою душу смертным грехом. И, вы не поверите, единственно от того, чтобы не сознаться в этом своему духовнику. Здоровый и сильный, король ни разу за свою жизнь не болел. Охотой он занимается для того, чтобы таким образом дать выход избытку энергии, которой он переполнен.

— Удивительный человек! — воскликнул я.

— Когда королева умерла, привыкнуть к другим условиям жизни было довольно трудно, потому что король не любил ни чтения, ни музыки, ни бесед. Требовались занятия, поглощавшие время. Вот таким образом и установился порядок жизни, которую теперь ведет его величество, и, конечно, будет вести до конца дней своих.

В семь часов король встает и одевается, затем молится;

в восемь часов он слушает обедню и пьет шоколад; после этого он нюхает большую щепотку табака — и это он делает только раз в день. Затем король работает до одиннадцати часов со своими министрами, а по окончании работы плотно обедает. После обеда он наносит визит принцессе Астурийской и отправляется на охоту. На охоте он остается до восьми часов вечера и закусывает там же. Когда его величество возвращается в замок, то в постель его несут на руках, поскольку он засыпает от усталости. Таковы его привычки, от которых он никогда не отступает.

— Печальная жизнь для короля. Отчего же он вторично не женится?

— Он подумывал об одной из дочерей Людовика XIV, принцессе Аделаиде. Ему прислали ее портрет, но, рассмотрев его, он перестал думать об этом браке. С тех пор никто не смеет говорить королю о женитьбе, и в то же время горе тому, кто осмелится предложить ему любовницу.

Карл III стал жертвой своего воздержания; известно, что он умер в сумасшествии. Аскетизм хорош только для священников; по отношению к монарху — это вредное помешательство; оно мало-помалу приводит к сердечной черствости и в конце концов распространяется даже на разум.

Король очень любил инфанта, своего брата, принца замечательно некрасивого, и потому позволил брату иметь любовниц сколько угодно. Этого противоречия Барнери никак не мог себе объяснить. У инфанта тоже было своего рода сумасшествие, уже гнездившееся в мозгу его августейшего брата, но это сумасшествие было гораздо более светским...

По возвращении из Аранхуэса я нанес визит графу де Аранда; он принял меня вежливо, но не особенно любезно. Относительно моих препирательств с Менгсом и отнюдь не веротерпимым патером он мне сказал, что это приключение могло оказаться весьма серьезным делом и его вмешательство было бы совершенно бесполезно.

— Господа инквизиторы, — сказал граф, — не чувствуют особой нежности ко мне. Даже в настоящую минуту их приверженцы надеются устроить меня самыми грозными публикациями.

— Да что же они требуют от вашего сиятельства?

— Пустяки, но я не уступлю. Они хотят, чтобы я снова позволил носить длинные плащи и шляпы с наклонными полями.

— И из-за таких пустяков вам осмеливаются угрожать?

— До такой степени угрожают, что я не советую вам быть у меня в следующее воскресенье, ибо, если верить пасквилю, приклеенному сегодня утром у моих дверей, в этот день мой дом должен быть взорван.

— Мне будет интересно понаблюдать, высоко ли взлетит ваш дом, и поэтому в воскресенье, ровно в полдень, я буду иметь честь засвидетельствовать мое почтение вашему сиятельству.

И действительно, в назначенный день я отправился к графу де Аранда. В его апартаментах было многочисленное общество;

дом, понятно, не взлетел на воздух. Пасквиль, в котором угрожали смертью министру, если он не отменит своих распоряжений относительно плащей, был написан стихами; приведу из них две строки, имеющих особенную энергию по-испански:

*Si me cogen, me horquedaran,
Pero no me cogeran.*

То есть "если они меня схватят, то повесят, но они меня никогда не схватят".

Я вел переговоры с министром относительно колоний в Сьерра-Морена, и дело начало принимать такой благоприятный оборот, — чего я никак не ожидал — что я стал готовиться к отправке на место. Мануцци, по-прежнему оказывавший мне знаки самой тесной дружбы, хотел ехать вместе со мной. Он намеревался взять одну молодую авантюристку, называвшую себя Порто-Карреро и заявлявшую, что она незаконная дочь кардинала с этим именем; кардинала она называла не иначе как *mió padre*. Говорят, что она была любовницей аббата Бильярди.

Между тем моя злая судьба привела тогда в Мадрид барона Фретюра из Льежа, игрока и плута по профессии. Я имел несчастье познакомиться с ним на водах в Спа; узнав, что я собираюсь отправиться в Португалию, он поехал в Лиссабон, надеясь найти меня там и наполнить свой кошелек моими деньгами. В течение моей долгой страдальческой жизни я всегда был жертвой массы интриганов и негодяев. Приехав в Мадрид и узнав, что я нахожусь здесь, барон Фретюр явился ко мне с визитом. Он осыпал меня любезностями и лестью, и я счел своей обязанностью принять его вежливо. Я не думал, что буду скомпрометирован, рекомендуя его кое-кому; к несчастью, я всегда был жертвой мягкости своего характера.

Уже на третий день после приезда Фретюр показал свои когти. Он признался мне, что у него нет ни гроша, и попросил меня открыть ему мой кошелек. Он нуждался, по его словам, в пустяках: сорока пистолях. Я наотрез ему отказал, благодаря его, однако, за доверие, оказываемое мне.

— Вы без денег, дорогой Казанова? Чудесно! В таком случае мы можем предпринять выгодные операции вместе.

Я понял, что он говорит об игре в карты, и сказал ему:

— Я не знаю, может ли быть успешным предприятие, о котором вы говорите, а не будучи уверен, я воздержусь.

— Черт возьми! Мне нечем сделать первую ставку, а хозяин моей квартиры требует уже уплаты. Не можете ли вы поговорить с ним на этот счет?

— Это может только повредить вам.

— Каким образом?

— Хозяин потребует у меня поручительства и, получив отказ, отымет у вас кредит.

Вскоре Фретюр познакомился у меня с Мануцци, и они быстро стали друзьями, чем Фретюр хвастался первому встречному.

Мануцци, игрок по профессии, не дал денег, просимых бароном, но отправил его к одному ростовщику, снабдившему барона деньгами под залог. Оба принялись играть.

В то же время в Мадриде появился и Кверини, чтобы заменить Мочениго, который отправлялся посланником в Париж. Кверини, человек умный и достойный, был весьма расположен ко мне. Прошло всего несколько дней, и я сделался его другом.

Тем временем Фретюр попал в такое положение, что находился в необходимости уехать из Испании. Он играл и все проиграл; хозяин приставал к нему, и Фретюр ждал, что не сегодня-завтра его выгонят, а между тем у него не было ни гроша на дорогу. Мой кошелек, совершенно отощавший, не мог поддерживать добрых намерений моего сердца. Конечно, мы обязаны помогать нашим ближним, но своя рубашка ближе к телу: мое положение было таково, что я не мог ничем пожертвовать. Это положение, и без того критическое, еще более ухудшилось вследствие оплошности, которой я никогда не забуду.

Однажды утром Мануцци влетел в мою комнату; он был бледен и очень взволнован.

— Я в неприятном положении, — сказал он. — Фретюр, которому я запретил являться ко мне, написал мне вчера, что пустит пулю себе в лоб, если я сегодня же не дам ему сто пистолей.

— И это вас волнует?

— Я убежден, что он исполнит эту угрозу.

— А я убежден в противном. Дня четыре назад он обратился ко мне с такими же требованиями и угрозой, и, как видите, до сих пор здравствует. Правда, он вызвал меня на дуэль, найдя это лучшим средством покинуть жизнь, но я отвечал ему, видя его намерения, что мы не равны; с тех пор он оставил меня в покое. Если он вызовет вас, то отвечайте ему как я, или совсем не отвечайте.

— Это невозможно. Вот сто пистолей; пожалуйста, отнесите их ему от моего имени; пусть он подпишет вексель на Льеж, где у него есть имение.

Я согласился исполнить просьбу Мануцци и отправился к барону, которого нашел в отчаянии. Сто пистолей он взял хладнокровно и написал вексель; больше мне ничего не нужно было. В этот же день я обедал у посланника и там отдал вексель Мануцци.

На другой день я отправился к Мануцци, но, к моему удивлению, привратник мне сказал, что его нет дома. Я стал настаивать, и тогда привратник сознался, что получил приказ не принимать меня.

Я возвращаюсь домой в невыразимом удивлении, и в записке, написанной второпях, спросил Мануцци, что ссй сон означает. Лакей отправился в посольство и возвратился с моей нераспечатанной запиской: граф Мануцци приказал не принимать моих писем.

Что такое случилось? Напрасно я долгое время искал разгадку. Наконец является лакей посланника и приносит мне письмо.

В конверте вместе с письмом Мануцци находилось письмо Фретьора, адресованное графу. Этот интриган просил сто пистолей и взамен обязывался указать на тайного врага Мануцци, которого он считал своим другом: это был я, как читатель, вероятно, уже догадался. Конечно, я был виноват в распространении скверных слухов насчет Мануцци, но негодяй Фретьор прибавил многое от себя. Каждая фраза письма Мануцци была оскорблением; свое письмо он заканчивал следующей фразой: "Я требую, чтобы вы уехали из Мадрида в течение недели".

Моя вина была несомненной; я отвечал Мануцци полным признанием и извинением, предлагая ему любое другое удовлетворение, но объявлял ему в то же время, что вовсе и не думаю уезжать из Мадрида. Для уверенности в том, что мое письмо придет по назначению, я приказал лакею написать на конверте адрес и сам отнес письмо на почту в Прадо. Мануцци получил его, но так на него и не ответил.

Досада заставила меня сидеть дома в течение двух дней. На третий день я взял карету и отправился к принцу Католику, но привратник сразу останавливает меня и объявляет на ухо, что у его сиятельства есть причины не принимать меня. Оттуда я отправился к аббату Бильярди: тот же отказ. Я сажусь в карету и еду к Доминго Барнери. Этот принимает меня, но только для того, чтобы заявить мне, что Мочениго везде говорит обо мне как о негодяе, и что я не заслуживаю быть принимаемым приличными людьми.

Все эти кинжальные удары возбудили во мне печальную храбрость идти до конца. Одним словом, мне последовательно отказали в приеме маркиз Гримальди и дон Эммануил Рода. Герцог Лассада, враг посланника, принял меня, но лишь с тем, чтобы просить меня не навещать его.

— Мне очень жаль, — прибавил он, — что я вынужден отказать себе в таком приятном обществе, как ваше, но это жертва, требуемая приличиями.

Оставался один граф де Аранда. Я не особенно надеялся на это свидание, но, однако, его сиятельство принял меня очень любезно; помню даже, что он посадил меня возле себя, — милость, которой я удостоился в первый раз. Это мне придало храбрости, и я рассказал ему о моих приключениях.

— Господин Казанова, вы сделали оплошность, а Мочениго уж слишком далеко подвинул свое мщение. Я с грустью вижу, что нам придется отказаться от наших колонизационных проектов, ибо, когда придет минута представить вас, его величество, узнав что вы венецианец, спросит о вас посланника.

— Но неужели я буду вынужден покинуть Испанию?

— Мочениго требовал это, но я не согласился; к несчастью, ничего больше я не могу сделать для вас при настоящих обстоятельствах. Оставайтесь без боязни среди нас, но я прошу вас молчать о посланнике и его любимце.

С тех пор в течение целого месяца я никого не видал в Мадриде, за исключением моего доброго башмачника и его до-

чери; это был единственный дворянский дом, где я был принят. Несмотря на дружбу Игнасии, пребывание в Мадриде стало тягостным для меня, и я стал собираться в дорогу. Один честный генуэзский книгопродавец, синьор Коррадо, согласился выдать мне вперед тридцать дублонов, не требуя иного поручительства, кроме моего слова, хотя в залог я предложил ему свои часы и золотую табакерку. Это единственный долг, который я так и не уплатил, потому что книгопродавец умер вскоре, не оставив наследников.

Заполучив эти деньги, имея кроме того несколько луидоров и золотых вещей, я направился в Сарагосу. Реформы графа де Аранда еще не достигли этой старой столицы Арагона. Днем и ночью встречались на улицах люди с громадными шляпами на головах, закутанные в черные плащи, спускавшиеся до самой земли, — странный костюм, делавший этих людей похожими на маски или, вернее, на мешки с углем. Под плащом они носили шпагу (*spadino*), наполовину длиннее тех шпаг, которые носят светские люди во Франции и Италии. К этим маскарадным господам публика выказывала большое почтение, хотя они были не более чем бандиты.

Мое пребывание в Сарагосе позволило мне обстоятельно наблюдать церемонию культа Богоматери (*Nuestra Senora-del-Pilar*). Эта церемония представляет собой главным образом шествие со статуями Богоматери огромных размеров.

В Сарагосе все частные общества, все круги высшего света были переполнены монахами. В одном из этих собраний я имел честь быть представленным высокой, толстой даме, генеалогия которой доходила до блаженного Палафокса.

Я собрал странные сведения об отце Пинателли, президенте инквизиционного трибунала. Этот почтенный отец имел неприятную привычку бросать каждое утро в тюрьмы инквизиции несчастных жертв своего сластолюбия. Он считал это как бы искуплением своих грехов; затем он одевался, отправлялся на исповедь, служил обедню и с аппетитом обедал. Таковы были его привычки, которые, очевидно, шли ему на пользу, потому что он был свеж, толст и весел.

Я видел также знаменитые бои быков, образчики которых мне случалось видеть уже в Мадриде. Представьте себе длинное и широкое пространство, окруженное перегородкой, за которой следуют места амфитеатра; это арена. Туда впускают громадного быка, который вбегает в бешенстве с опущенными вниз рогами, затем останавливается, смотря налево и направо, как бы ища глазами своего противника. В ту же секунду выезжает человек на лошади (*picadero*), и когда бешеный бык набрасывается на него, пикадеро отстраняет лошадь, избегает быка и поражает его. Все это совершается с быстротой молнии. Иногда бык падает мертвым под ударом пики ловкого пикадеро, но чаще он бывает только раненным. Тогда он гоняется за своим противником и подымает лошадь на рога: довольно часто случается, что пикадеро бывает убит вместе с лошадью.

Некоторые из пикадеро борются без лошади. Я восторгался необычной ловкостью и смелостью, с которой они сражаются с

быком. Хотя и удерживаемый веревками, опутывавшими его рога, бык бросался то на одного пикадеро, то на другого, но они, увертываясь, никогда не бегут от быка, ибо в противном случае они были бы освистаны зрителями.

Пикадеро имеет лишь одно оружие — пику, к концу которой прикреплен кусок красной или черной материи. Когда бык находится недалеко от него, пикадеро подносит к его ноздрям материю и отбегает в сторону. Животное бросается с опущенными рогами на материю и оставляет противника, который чаще всего прячется за перегородку или же бывает настолько смел, что поражает быка между рогов.

В Сарагосе бои быков намного зрелищнее, чем в столице, поскольку бык совершенно свободен на арене; вследствие этого часто случается, что борьба заканчивается смертью одного из борющихся. Нужно быть испанцем, чтобы находить удовольствие в подобном зрелище; в глазах иностранца оно всегда будет возмутительным.

Эти зрелища привлекают в особенности испанок; в этом случае мне указывали на сарагосских Аспасий*: как бы ни была велика репутация арагонской красоты, я вынужден сознаться, что ни одна из видимых мною Аспасий не могла сравниться по красоте с красивыми женщинами других национальностей.

Сарагоса — укрепленный город. Одна лишь церковь Nuestra Senora-del-Pilar, построенная на окопах, прерывает линию фортификаций. Однако жители считают город неприступным с этой стороны; они глубоко убеждены, что в случае атаки враг может ворваться в город, но в любом случае не в этом месте.

Хотя я и не антиквар, однако люблю старинные памятники, в особенности римских времен; поэтому, отправляясь в Валенсию, я дал себе слово посетить дорогой развалины Сагунта**

Сагунт был построен на возвышенности.

— Я взойду туда, — сказал я своему проводнику, который, намереваясь поспеть в этот день в Валенсию, жалобно вздохнул. В интересах своих мулов он с удовольствием бы уничтожил все древние памятники.

Товарищем по путешествию у меня был маленький аббат, считавший своим долгом пустить в ход свое красноречие в защиту проводника.

— Сеньор, — сказал он, — что вы там будете делать? Кроме развалин вы ничего там не найдете.

— Конечно, но эти развалины говорят мне больше, чем самые красивые современные здания.

Аббат с удивлением посмотрел на меня. Проводник пожимал плечами и невзирая на аббата собирался ругаться, но вдруг увидел, что я сунул руку в карман. Я вынул из кармана экую.

* Аспасия (род. ок. 470 до н. э.) — одна из выдающихся женщин Древней Греции, жена Перикла, вождя афинской рабовладельческой демократии. Отличалась незаурядным умом, всесторонним образованием и замечательной красотой.

** Сагунт — город в Древней Испании на месте современного Сагунто, один из опорных пунктов древних римлян.

— Вот, — сказал я, — поделите между собой это.
— Вы почтенный человек, — сказали оба, кланяясь мне.
— Это значит, что теперь нет никаких препятствий для обозрения Сагунта. К тому же приехать именно сегодня в Валенсию необходимости нет.

Я приступил к осмотру. Амбразуры стен вполне сохранились, хотя их построили еще во времена второй Пунической войны*. Тут я увидел множество надписей, к несчастью недоступных для меня, хотя какой-нибудь ла Кондамин** легко разобрал бы их. Аббат был удивлен волнением, которое обнаруживалось на моем лице.

— Неужели вам ничего неизвестно, — спросил я его, — о великом подвиге, освятившем эти развалины?

— Совершенно неизвестно.

— Вы никогда не открывали книг?

— Я читаю только свой молитвенник.

— Здесь, на этом месте, население древнего Сагунта предпочло погибнуть в пламени, лишь бы не изменить римлянам, отдавая город Ганнибалу.

— Вы ошибаетесь, сеньор, здесь нет Сагунта; это место всегда называлось Мурвиетро.

— Это название происходит от латинского выражения *muri veteres* — “древние стены”, и таким образом устанавливает вполне точно древность, в которую вы не верите. Было бы, конечно, благоразумнее сохранить за городом имя Сагунта, но время — *tempus edax rerum**** — есть чудовище, пожирающее все: *Mors etiam saxis nominibusque*****.

— А нет ли у этого Сагунта, — заинтересованно спросил проводник, — развалин в другом месте?

— С чего вы взяли?

— Тогда бы мы отправились осматривать их, и вы бы мне дали еще экую.

Тут он прибавил, ухмыляясь:

— Если ваша милость так любит Сагунт, то вам надо поселиться в Мурвиетро.

— Сеньор, — воскликнул вдруг аббат, который, казалось, глубокомысленно размышлял, — я не понимаю, что вас могло так заинтересовать в Сагунте. Что же касается меня, то я бы и даром не взял место, потерявшее свое название. Я, может быть, не так учен, как вы, но утверждаю еще раз, что это место всегда называлось Мурвиетро.

— Этого не может быть, потому что такое название было бы бессмыслицей. Как вы объясните, что новому предмету был дан

* Пунические войны (264—146 до н. э., с перерывами) — войны между Римом и Карфагеном.

** Кондамин, Шарль Мари де ла (1701—1774) — французский геодезист и путешественник, составивший первую сравнительно точную карту Амазонки.

*** Всепожирающее время. Лат.

**** Смерть не щадит ни камней, ни названий. Лат.

эпитет старого? Это то же самое, как утверждать, что ваша Новая Кастилия не стара по той простой причине, что ее называют Новой.

— Однако несомненно, что Старая Кастилия древнее Новой.

— Как раз наоборот, господин аббат.

С этой минуты аббат, считая меня, вероятно, сумасшедшим, не обращался больше ко мне. Я искал, хотя и бесплодно, изображение Ганнибала, а также какую-нибудь латинскую надпись в честь императора Клавдия*, но зато имел счастье наткнуться на остатки амфитеатра.

На другой день, рано утром, мы направились в Валенсию. Если аббат упорно молчал, то проводник был болтуном и, в конце концов, добрым товарищем. Он был вором, как и все люди его профессии; я помню, как он пустил в ход все чудеса своего красноречия, чтобы выманить у меня несколько мараведи** за ночь, проведенную на постоялом дворе.

— Но я же дал вам пол-экую,—удивился я его просьбам.

— Это подарок в знак вашей щедрости, а не оплата долга.

Различие показалось мне весьма справедливым, и я раскошелся. Он заставил меня также купить кое-какие безделушки, весьма неудобные, которые я подарил ему тут же.

По дороге мы встретили постоялый двор; я хотел тут остановиться, но проводник сказал с ужасом:

— Проклятый дом! Поедем дальше.

— Почему “проклятый”?

— Потому что тут есть домовый.

— Кто вам это сказал?

— У меня есть глаза.

— Вы видели домового?

— До такой степени, что он съел у меня мула не далее как в прошлом месяце.

— Я думал,—сказал я серьезно,—что домовые не нуждаются в пище.

— Они едят как настоящие черти; однако тот домовый, о котором я говорю, был в свое время красивым мужчиной.

— А-а, значит, вы его знали?

— Конечно! Во время своей земной жизни он был моим родственником Пересом.

— Странно; но зачем Перес бродит теперь на этом постоялом дворе и ест ваших мулов?

— Зачем? Да ведь я вам сказал: потому что это проклятый дом, в котором не веруют в Nuestra Senora-del-Pilar; тут живут американские язычники; их Богоматерь имеет лицо красное, между тем как наша — белое; вы ведь сами знаете это, сеньор.

— Совсем не знаю. Но зачем вы там остановились?

* Клавдий (10 до н. э.—54 н. э.) — римский император из династии Юлиев-Клавдиев, ставленник преторианской гвардии.

** Старинная испанская монета.

— Мне сказали, что лучше провести целую ночь на открытом воздухе, чем у этих проклятых *gitanos**. Перес появился и унес моего черного мула.

— Я уверен, что этот Перес унес мула, сев на него верхом.

— Во время своей жизни он злился на меня, потому что мой дядя в своем завещании оделил меня больше, чем его. И все-таки нельзя сказать, чтобы у Переса не было добрых минут: поверите ли, сеньор, что даже у самой виселицы он думал о своем родственнике Хуанито.

— Значит, он умер?

— Конечно умер, потому что его повесили.

— Хуанито, — сказал я, — вы не все рассказываете. Я уверен, что тело повешенного не было найдено на виселице.

— Как только он испустил дух, пришел черт и унес его на своих рогах. С тех пор Перес сделался домовым и пожирает мулов.

Я спросил аббата, который явно заинтересовался рассказом проводника, что он думает об этом странном веровании. Он отвечал мне серьезно и хладнокровно, что не имеет привычки оспаривать верования.

В тот же день, около одиннадцати часов, мы приехали в Валенсию. Я был вынужден удовольствоваться скверной квартирой, потому что болоньец Морескальки, антрепренер оперы, занял все лучшие квартиры для своих актеров и актрис, которых ожидали из Мадрида. Я пошел навестить его, и мы отправились осматривать город. По дороге я предложил ему зайти в кофейню, но он засмеялся.

— Во всей Валенсии, — сказал он мне, — не существует места, где бы иностранец мог прилично закусить или даже просто отдохнуть. Трактиры грязны; общество, собирающееся там, скверно и отвратительно; вино никуда не годно: настоящий ад, как утверждают сами испанцы, которые, имея у себя дома хорошее вино, пьют в кофейнях только воду.

— Как! — воскликнул я. — В стране, производящей такое чудесное вино, в городе, соседнем с Аликанте и Малагой, нельзя найти сносного вина, и только потому, что торговцы — везде мошенничающие — отравляют его?! Если у них есть какой-либо талант, то он заключается в том, чтобы из хорошего вина добывать скверное.

Валенсия — родина папы Александра VI**, того знаменитого Борджа, которого отец Пето, иезуит, называл *non adeo sanctus****. В качестве туриста я осмотрел в городе все достопримечательное, но далеко не разделил избитых восторгов других туристов; так всегда бывает, когда видишь вещи вблизи и подробно.

* Цыгане. Исп.

** Александр VI, в миру — Родриго Борджа (ок. 1431—1503) — папа римский с 1492 года. Стал папой, подкупив большинство кардиналов. Устранял своих политических противников с помощью яда и кинжала. Правление этого преступного и развратного папы подорвало авторитет католической церкви.

*** Не слишком святой. Лат.

И действительно, Валенсия, находящаяся в чудесном месте на реке Гуадалавьяр, недалеко от моря, окруженная прелестными видами, под всегда голубым и ярким небом; Валенсия, богатая самой роскошной растительностью; Валенсия, где находится резиденция архиепископа с духовенством, доход которого достигает миллиона экю; Валенсия, имеющая многочисленное и почтенное дворянство, женщин, если не самых красивых, то самых остроумных в Испании, — все-таки остается неприятным местопребыванием для иностранца. Даже за большие деньги там нельзя достать самых необходимых вещей: скверные помещения, скверная пища, и никаких развлечений. В редких собраниях дворянства говорят только о глупостях, потому что этот город, где нет университета*, не заключает в себе ни одного образованного человека.

Что же касается самого города, его общественных зданий, церковей ратуши, биржи и арсенала, его пяти мостов на Гуадалавьяре и двенадцати ворот, то все это нисколько меня не интересовало, потому что обозрение этих достопримечательностей обходилось ценой чрезвычайного утомления. Улицы немощены, и в городе нет места для прогулок; правда, выходя за город, получаешь полное вознаграждение, ибо окрестности Валенсии напоминают земной рай.

Единственная вещь, понравившаяся мне в Валенсии, — это средства передвижения. Множество маленьких экипажей в одну лошадь встречается на всех улицах. Их берут или для прогулок за город, или для экскурсий на два-три дня. Эти экипажи ездят до самой Барселоны, которая находится на расстоянии около пятидесяти лье. Не будь местных неудобств, я бы с удовольствием посетил провинции Мурсию и Гранаду**, красота которых, говорят, превосходит красоту лучших местностей Италии.

Испанский народ как-то жалок. В самих благах, которыми наделила тебя природа, ты находишь причины своих несчастий: красота твоей страны и ее богатство являются причинами твоих лени и неспособности, подобно тому, как копи Мексики и Перу питали твою гордость и предрассудки.

Вот мнение, которое на первый взгляд может показаться парадоксальным; нужно, читатель, подумать о нем. Кто сомневается, что Испания нуждается в возрождении, которое может исходить лишь вследствие иностранного нашествия, — единственной вещи, способной разбудить в сердце любого испанца патриотизм, готовый сейчас угаснуть? Если Испания снова займет свое славное место в великой европейской семье, то это случится только вследствие сильного и ужасного потрясения. Один лишь гром может разбудить этих людей...

Уведомленный о скором приезде Пеллинии, я отправился навстречу ей далеко за город. Ее первое представление должно

* Казанова заблуждается. В Валенсии находится один из старейших университетов Европы, основанный в 1500 г.

** Исторические области соответственно на юго-востоке и юге Испании.

было состояться на следующий день, что было не особенно трудно, поскольку можно было давать только те оперы, которые игрались на придворных представлениях. Граф де Аранда не решился дать позволения играть оперы-буфф на иностранных языках: это было бы слишком смелым нововведением, и инквизиция оказалась бы недовольной. Уже и маскарады, даваемые в Scannos del Poral, сильно ей не нравились, причем до такой степени, что через два года их пришлось запретить.

Выйдя из кареты, донья Пелличия отправила банкиру Диего рекомендательное письмо, данное ей герцогом Аркосом. С Аранхуэса она не видала герцога. Мы были за столом, — она, я и ее муж — когда доложили о присзде банкира.

— Сударыня, — сказал он, — считаю за особенную честь то, что герцог адресовал вас ко мне; располагайте мною. Я, кроме того, должен вам сообщить приказы его сиятельства, но, может быть, они вам известны?

— Надеюсь, что рекомендации герцога не будут вам особенно в тягость.

— Нисколько. Его сиятельство достаточно богат. Он приказал мне держать в вашем распоряжении двадцать пять тысяч дублонов.

— Двадцать пять тысяч дублонов?!

— Именно, сударыня. Потрудитесь прочесть сами письмо герцога.

В письме было только три строчки: "Прошу вас, дон Диего, вручить за мой счет синьоре Пелличии по ее первому требованию сумму в двадцать пять тысяч дублонов".

Все мы были очень удивлены этой историей. В Испании, однако, все это в порядке вещей; Испания — страна чудес. Я уже имел пример подобной истории в поступке герцога Медино-Селла по отношению к госпоже Пичоне. В других местах, в Англии например, подобного рода любезности являются следствием тщеславия; в испанском сердце они имеют более чистый источник — желание услужить.

Когда банкир уехал, мы стали рассуждать о письме. Каждый искал причины и не находил их; в сущности, вполне правдоподобных причин нельзя было найти. Пелличия была того мнения, что герцог хотел показать, что из себя представляет его рекомендательное письмо.

— Его сиятельство, — прибавила она, — хотел мне этим доказать, до какой степени он считает меня неспособной злоупотребить подобным доверием; вот почему я предпочту скорее умереть с голоду, чем воспользоваться хотя бы одним из этих дублонов.

Муж полагал, что герцог будет оскорблен отказом, и поэтому лучше принять хотя бы часть этого подарка. Я счел нужным сказать, что середины в этом деле не может быть и потому необходимо или отказаться от всего, или все принять.

— Ну, так я от всего отказываюсь.

— Я убежден, — прибавил я, — что герцог, тронутый подобной

деликатностью, будет считать своей обязанностью осыпать вас своими благодеяниями.

Дней через пятнадцать Пелличия возвратилась в Мадрид, не взяв ни одного дублона, из-за чего банкир был опорочен. Вскоре слухи об этом проникли в Мадрид, и, как это всегда бывает, к ним был припутан довольно грязный комментарий. Король, посмотрев на дело серьезно и уже предвидя полное разорение герцога Аркоса, приказал заявить синьоре, чтобы она немедленно оставила Мадрид. То же повеление было дано и Казаччи из Лукки*, фаворитке другого испанского гранда.

Этот последний, прощаясь с Казаччи, передал ей вексель на сто тысяч ливров, которые она должна была получить в Лионе. Герцог Аркос послал Пелличии сто золотых дублонов на дорожные расходы и запечатанное письмо в банк Santo-Spirito в Риме. Пелличия тем более считала возможным принять этот подарок, поскольку ей были известны вполне почтенные мотивы, которыми руководствовался герцог. Что же касается письма, содержание которого ей было неизвестно, то она узнала его только в Риме, когда управитель банка Беллони отсчитал ей двадцать пять тысяч римских экю.

Впоследствии я узнал, что на следующий день после отъезда Пелличии король, встретив Аркоса в Прадо, советовал ему серьезно вылечиться от страсти, которая чуть не разорила его.

— Ваше величество, — отвечал Аркос, — единственной причиной всего, что свершилось, было лишь то, что вы заставили меня превратить в действительность то, что в начале было простой любезностью. Мы знали друг друга — я имею ввиду себя и донью Пелличию — только самым поверхностным образом, перекинувшись двумя-тремя словами в общественных местах. Я не делал ей никогда никаких подарков.

— Но ведь ты подарил ей двадцать пять тысяч дублонов!

— Да, ваше величество, но в действительности это случилось только позавчера; истина заключается в том, что если бы ваше величество не сочли нужным выслать эту певицу, то она не стоила бы мне ни одного мараведи.

Это был своего рода урок для короля, который таким образом узнал, насколько можно доверять городским слухам...

Однажды я присутствовал на бое быков и обратил внимание на красивую молодую женщину, сидящую неподалеку от меня на скамейке. На мой вопрос о ней сосед отвечал:

— Это знаменитая Нина!

— Почему "знаменитая"?

— Если ее история вам неизвестна, то она слишком длинна для того, чтобы я смог рассказать ее вам здесь.

Спустя несколько минут какой-то прилично одетый господин подошел к моему соседу и сказал ему на ухо несколько слов; сосед объявил мне, что донья Нина желает знать, кто я такой. Тогда, обращаясь к посланцу, я сказал ему, что если эта дама

* Лукка — город в Центральной Италии.

позволит, я буду иметь честь засвидетельствовать ей свое почтение после представления.

— По вашему произношению видно, милостивый государь, что вы итальянец.

— Да, я из Венеции.

— Синьора Нина тоже из Венеции. Она танцовщица, и в нее влюблен граф Риела, главный управитель Каталонии; вот уже несколько недель она живет в Валенсии под особым покровительством графа.

— Почему же она не в Барселоне вместе с его сиятельством?

— Потому что епископ потребовал удалить ее из этого города.

— Это дама широко живет?

— Конечно. Граф выдает ей ежедневно пятьдесят дублонов; но несмотря на все ее безумства, тратить все деньги она просто не в состоянии.

— В Валенсии — конечно.

Польщенный тем, что эта дама меня отличила, я с нетерпением ожидал окончания спектакля.

Когда зрители стали уходить, я отправился к этой прекрасной даме. Она отвечала на мой поклон грациозной улыбкой и фамильярно взяла меня под руку. Я довел ее до экипажа с шестью превосходными мулами; когда я прощался с ней, она пригласила меня к завтраку на другой день.

Понятно, что я не запоздал к назначенному часу. Нина жила в прекрасном доме, "между двором и садом", как говорят французы, обставленном дорогой мебелью, с лакеями в ливреях и неслыханной роскошью повсюду, но все без малейшего вкуса.

Протискиваясь с некоторым трудом сквозь толпу полудюжины элегантно одетых служанок, я услышал громкий голос, доносящийся из соседней комнаты, — это был голос моей красавицы. Она осыпала бранью купца, явившегося к ней с уборами. После первых более чем фамильярных приветствий на итальянском языке она потребовала моего мнения относительно кружев, которые "этот болван испанец", как она его называла, показывая на него пальцем, хотел продать ей как очень дорогие кружева. Я отказывался, ссылаясь на свое невежество в этом деле, и прибавил, что в такого рода предметах дамы — более тонкие судьи, чем мужчины.

— Этот болван придерживается иного мнения, — отвечала она, — так как не хочет со мной согласиться.

Тут купец несколько рассердился и сказал ей довольно грубо, что если эти кружева не нравятся ей, то их можно оставить для других.

— Никто не будет носить подобных тряпок, — возразила Нина, схватив при этом ножницы и разрезав на клочки кружева.

Купец смотрел на нее и улыбался; мужчина, сопровождавший Нину вчера на бое быков, заметил, что жаль уничтожать такие прекрасные вещи.

— А тебе какое дело, музыкант?

Этим музыкантом был некий Молинали, родом из Болоньи, гитарист по профессии и интриган.

— Су
репутаци
— А
пощечин
Моли
употребл
раскохот
сценной,
— Со
Купе
не рассу
цифрой,
— О
Лицо
ствие по
было ч
избегая,
Как
шоколад
удивлен
смеяться
— Н
щаюсь
при мне
образом
зарабат
господи
Стра
своих с
не было
с котор
Паланд
знаком
площад
Пос
себе на
— Я
Эта
тельна
любви
такое
Нина,
не мен
На
в Ита
До уж
котор
двадц
красн
но

— Сударыня, — отвечал он, — в Барселоне вы уже приобрели репутацию взбалмошной; что подумают о вас жители Валенсии? — А тебе что, болван? — и тут же наделила его звучной пощечиной.

Молинару не сдался и обругал ее таким словом, которое не употребляется в приличном обществе. Вы не поверите, но Нина расхохоталась и, обращаясь к купцу, очень удивленному этой сценой, сказала:

— Составь счет.

Купец, человек ловкий и понимающий, что вспыльчивость не рассуждает и не рассчитывает, приукрасил счет надлежащей цифрой, и синьора, подписавши, выгнала купца, крикнув ему:

— Отправляйся к черту или к моему банкиру!

Лицо этого почтенного господина, явно выражающее удовольствие по поводу сделки и неудовольствие по поводу ругательств, было чрезвычайно комично. Молинару вышел вместе с ним, избегая, вероятно, подобных же ругательств.

Как только мы остались одни, синьора приказала подать шоколад. Я не знал, как себя держать, так как был весьма удивлен и в то же время ощущал непреодолимое желание рассмеяться.

— Не удивляйтесь, — сказала мне Нина, — что я так обращаюсь с гитаристом. Это мерзавец, которого граф Риела поставил при мне в качестве шпиона. Я нарочно обращаюсь с ним подобным образом: ругательства, которыми я его наделю, позволяют ему зарабатывать деньги, — без этого что стал бы он доносить своему господину? Его обязанность превратилась бы в настоящую синекуру.

Странная женщина, подобной которой я не встречал еще в своих скитаниях! Она рассказала мне свою биографию, в которой не было ничего интересного, за исключением, может быть, тона, с которым она ее рассказывала. Нина была дочерью некоего Паланди, известного шарлатана, с которым я, должно быть, был знаком; он, если я не ошибаюсь, продавал разные снадобья на площади св. Марка...

После этой исповеди Нина простилась со мной, пригласив к себе на ужин.

— Я очень люблю ужинать, — прибавила она, — мы выпьем.

Эта женщина по наружности была действительно обольстительна, но я всегда считал, что одна красота не может внушать любви. Я никак не мог понять, каким образом мог влюбиться в такое существо вице-король Каталонии? Читатель видит, что Нина, несмотря на свою красоту, не вскружила мне голову; тем не менее в сумерки я из любопытства отправился к ней.

На дворе был уже октябрь, а между тем было так тепло, как в Италии в августе. Синьора была в саду со своим соглядатаем. До ужина Нина рассказывала мне скандальные анекдоты, в которых она играла главную роль, а между тем ей было всего двадцать два года! Наконец мы сели за стол. Блюда были прекрасны, вино — чудесно. Неприличные разговоры возобновились, но, не чувствуя себя в ударе, после ужина я раскланялся.

Провожая меня, Нина сказала:

— Вы чем-то озабочены, точно наперсник в трагедии. Я не люблю, чтобы со мной церемонились, не забывают этого. Завтра вечером я буду ждать вас.

— Никак невозможно. Я уже взял место в карете и уезжаю завтра из Валенсии.

— Ошибаетесь, вы уедете только через неделю, когда я и сама отправлюсь в Барселону.

— Спешные дела...

— Ну так что же? Повторяю вам, вы не уедете. Не возражайте.

Тем не менее я удалился с твердым намерением уехать из Валенсии во что бы то ни стало.

На другой день я явился к ней с визитом, который должен был быть последним. Нина встретила меня с аффектированной грустью.

— Молилари болен,— сказала она.— Мы будем ужинать вдвоем, потом поиграем в карты: говорят, что вы известный игрок,— посмотрим. Потом мы погуляем в саду, а завтра...

— Завтра, сударыня, я вынужден буду уехать.

— Ну-ну.

— Мое место взято на семь часов утра.

— Как бы не так! Я подкупила извозчика; его экипаж в моем распоряжении на целую неделю: вот его расписка.

Все это было сказано с легкой любезной настойчивостью, которая понравилась мне. Что было делать? Однако благоразумие требовало быть настороже, и я сказал ей:

— Ваш шпион донесет графу Риела, что мы ужинали вдвоем.

— Тем лучше.

— Нет, тем хуже.

— Вы, может быть, считаете, что это компрометирует вас, или просто трусите?

— Если я и боюсь, то только за вас; я бы не желал быть причиной разрыва, невыгодного вам.

— Согласна, дело очень деликатное, но успокойтесь: чем больше я бешу старого графа, тем больше он меня любит, и каждое из наших примирений стоит ему очень дорого.

— Значит, вы его не любите?

— Люблю его?! За кого вы меня принимаете? Человека, который меня содержит?!

— Который осыпает вас подарками, выказывает вам всякого рода почтение...

— Этим он удовлетворяет свою страсть.

— Вас будут считать неблагодарной.

— А какое мне дело до мнения других? Я люблю графа... разорять. К несчастью, он так богат, что этого, кажется, невозможно достигнуть.

Она приказала принести карты, и мы стали играть в примеро, азартную игру, до такой степени сложную, что какие-либо расчеты невозможны. Я проиграл двадцать пистолей, которые отдал с неудовольствием вследствие печального состояния моих финан-

сов. Смеясь, Нина взяла деньги и посоветовала мне отыгратъся. Затем мы отлично поужинали.

Весь следующий день я провел с нею, и мы опять принялись за игру в карты. За несколько дней мой кошелек пополнился тремястами пистоллями, а в них я весьма нуждался.

Наконец синьора получила от графа известие, что может без опасности для себя приехать в Барселону. Король приказал епископу считать Нину лицом, служащим в городском театре; она могла провести там целую зиму, соблюдая приличия. Передавая мне это известие, Нина прибавила:

— Теперь вы можете ехать; не забудьте в Барселоне приходить ко мне каждый вечер. Но являйтесь после десяти вечера — это час, когда граф освобождает меня от своего присутствия.

Весьма вероятно, что я бы не воспользовался этим приглашением, если бы не пистолы, которые синьора проигрывала с такой легкостью.

Я выехал из Валенсии днем раньше ее, и въехали мы в Барселону каждый отдельно. Я остановился в гостинице "Санта-Мария". Хозяин гостиницы был извещен о моем приезде, принял меня очень любезно и сообщил мне таинственно, что получил приказ ни в чем мне не отказывать. Этот поступок синьоры был весьма неблагоразумен. Хозяин, правда, имел вид человека весьма опытного в подобного рода проделках, но все-таки Нине покровительствовал граф, который имел в своем распоряжении всю полицию. Было весьма вероятно, что этот вельможа не любит шуток над собой. Сама Нина описывала его как человека с характером порывистым, ревнивым и мстительным.

Хозяин сказал мне, что в моем распоряжении находится карета. Я его спросил, кто об этом позаботился.

— Донья Нина, — отвечал он, улыбаясь.

— Я очень удивлен всем этим. Для моего кошелька это слишком дорого.

— За все уплачено.

— Этого я не допущу.

— Во всяком случае я ничего не возьму с вас.

Это заявление заставило меня задуматься и внушило мне мрачные предчувствия.

У меня было рекомендательное письмо к дону Мигуэлю де Севалос, который на третий день моего приезда представил меня вице-королю. Граф был низкого роста, грубоват по манерам. Принял он меня стоя, чтобы не предлагать мне сесть. Я обратился к нему по-итальянски, а он отвечал мне по-испански, что выходило очень смешно. Зная, что он очень тщеславен, я во время своего визита наделял его титулом светлости. Он много говорил о Мадриде и о развлечениях столицы, из чего я заключил, что Барселона не блещет в этом отношении. Он жаловался на Мочениго, который вместо того чтобы проехать через Барселону, как ему советовал граф, направился прямо на Бордо.

Его светлость пригласил меня к обеду, из чего я понял, что о моем знакомстве с Ниной ему неизвестно. Прошла уже целая

неделя с тех пор, как я не видал синьору, а так как мы условились, что я явлюсь к ней только тогда, когда она предупредит меня, то никак не мог объяснить себе ее молчание.

Наконец я получил от нее записку: Нина назначала свидание после десяти часов. Наше свидание было церемонным: сдержанность, проявленную Ниной, я объяснил себе присутствием ее сестры, женщины лет сорока. В сущности, я не чувствовал никакого влечения к Нине, но считал неловким прекратить свои визиты. Небольшое обстоятельство, однако, должно было заставить меня понять, что эти визиты — рискованное дело. Как-то я спокойно прохаживался по городу, как вдруг ко мне подошел какой-то офицер.

— Милостивый государь, — сказал он мне, — я должен поговорить с вами о предмете, несколько меня не касающемся, но интересующим вас в высшей степени.

— Объяснитесь...

— Вы иностранец и, может быть, мало знакомы с испанскими нравами; поэтому вы не знаете, чем рискуете, бывая каждый вечер у синьоры Нины после ухода вице-короля.

— Чем же я рискую? Графу известно о моих визитах, и, вероятно, у него нет причин быть этим недовольным.

— Вы можете ошибаться. Граф знает, что вы бываете у синьоры Нины; если он не выражает ей свое неудовольствие по поводу этих визитов, то только потому, что боится ее гораздо больше, чем любит. Но знайте, что истинный испанец не может любить не ревнуя. Поверьте мне, в интересах вашей безопасности прекратить эти визиты.

— Благодарю вас за совет, но я не могу последовать ему; это значило бы заплатить грубой неблагодарностью за расположение, выказываемое мне этой дамой.

— Итак, вы будете продолжать свои визиты?

— До тех пор пока граф не найдет нужным дать мне понять, что эти визиты ему не нравятся.

— Граф этого никогда не сделает из гордости.

Четырнадцатого ноября, явившись к Нине, я вижу возле нее какого-то господина подозрительного вида, который показывал ей миниатюрный портрет. Этот господин был не кто иной, как бесчестный Пассано, — имя, находящееся, к несчастью для меня, почти на каждой странице моих мемуаров. Кровь бросилась мне в голову, но я удержался.

Я сделал знак Нине последовать за мною в другую комнату и там попросил ее немедленно прогнать этого господина. Нина отвечала, что это живописец, который желает нарисовать ее портрет.

— Это негодяй, которого я хорошо знаю; прогоните его, или я уйду.

Нина позвала свою сестру и поручила ей это дело. Приказ был исполнен: Пассано ушел в бешенстве, сказав мне, что я раскаюсь. И действительно, я раскаялся, как читатель сейчас увидит.

Двери дома синьоры вели в узкий и темный проход, через

который нужно было пройти, чтобы очутиться на улице. Была полночь. Я простился с дамами и не успел сделать двадцати шагов по этому проходу, как меня схватили за платье. Я освобождаюсь от противника сильным ударом руки, быстро отскакиваю назад, выхватываю свою шпагу и наношу сильный удар другой личности, которая с палкой в руках была готова броситься на меня; затем я быстро перескакиваю через стену и оказываюсь на улице. Выстрел из пистолета почти у самого моего уха заставляет меня бежать, но впопыхах я падаю и, вставая, забываю поднять свою шляпу. Взбешенный, со шпагой в руке прибегаю к себе и рассказываю о случившемся хозяину. В то же время я с удовольствием убеждаюсь в том, что не ранен; до этого было недалеко, потому что мое платье было пронизано двумя пулями.

— Дело скверное,— сказал мне хозяин, покачивая головой.

— Весьма вероятно, что я убил одного из этих разбойников, но, по крайней мере, будет известно, что я сделал это, защищаясь. Посмотрите на мое платье: для вас это — полное доказательство.

— Лучше бы вам оставить Барселону.

— Уж не думаете ли вы, что я лгу?

— Да сохрани меня Бог от этого. Я верю всему, что вы мне рассказали, и потому советую вам бежать.

— Я ничего не боюсь, и потому остаюсь.

Однако утром случилось обстоятельство, не понравившееся мне. Моя постель была окружена сбирами: захватывают мои бумаги, арестовывают меня самого, и вот я в крепости; меня вводят в каземат, приносят мне кровать, возвращают мой плащ, затем замок щелкает, и я остаюсь один на один со своими мыслями.

Я, конечно, увидел связь между ночной атакой и моим заключением в военную тюрьму. Что предпринять? Писать Нине или ожидать? Я останавливаюсь на последнем, приказываю принести мне за деньги хороший обед и съедаю его с аппетитом, несмотря на мои несчастья. В течение двух дней со мной обращаются довольно порядочно. Мой кошелек был мне возвращен, и в нем находилось триста дублонов. Бывают люди и более несчастные.

На третий день, посмотрев в окно, похожее на дыру, просверленную в стене, я вижу во дворе негодяя Пассано, который мне кланяется с иронической улыбкой. Это обстоятельство объяснило мне все. Итак, вот кто донес на меня! Было очевидно, что он сыграл заметную роль в ночном нападении. Но каким образом Пассано мог попасть на двор тюрьмы? Он фамильярно разговаривал с офицером и как будто приказывал солдатам.

Часов в девять вечера офицер с печальным видом входит в мою камеру.

— Потрудитесь следовать за мной, милостивый государь.

— А что такое?

— Вы сейчас все узнаете.

— Но куда вы хотите меня отвести?

— На гласис*.

Я последовал за ним. Холод был довольно сильным, шел мелкий снег, — обстоятельство, редкое в Испании. Как только мы пришли, солдат захотел снять с меня плащ, который я взял на всякий случай. Я не даю, и солдат говорит мне взволнованным голосом:

— В нем вы больше не будете нуждаться.

Эти слова привели меня в трепет. Я поднимаю глаза и вижу против себя, на некотором расстоянии, — ужасное зрелище! — шесть или восемь солдат, вытянутых в линию с ружьями наготове. Черные громадные стены крепости придавали особенный трагизм всей этой сцене. При свете нескольких фонарей я видел, как приготавливались к моей казни, ибо не было сомнения, что меня расстреляют. Я похолодел от ужаса, и в то же время мое сердце трепетало от негодования. Вследствие какого презрения к закону меня хотят казнить без всякого расследования моего преступления?!

Погруженный в эти размышления, я прислонился к стене, как вдруг офицер, который, казалось, был взволнован так же, как и я, подошел и спросил меня, нет ли у меня каких-либо желаний, так как он готов выполнить их. Услыхав эти слова, которые так ясно указывали на то, чем это кончится, я прихожу в бешенство, энергично протестую против убийства, и, возвышая голос, сбываю ответственными перед Богом за мое убийство всех тех, кто совершает его. Одним словом, я закончил тем, что потребовал священника.

Тогда какой-то господин с закрытым плащом лицом подошел к офицеру и сказал ему несколько слов на ухо. Тот взял меня за руку и повел в другую камеру, похожую на погреб, вымощенную камнем и получающую сверху немного воздуха, — истинную могилу, в которой он и оставил меня как бы заживо погребенным, под стражею нового тюремщика.

Этот человек, чья внешность вполне гармонировала с его обязанностями, заявил мне, что заказывать необходимую мне пищу можно только раз в день, ибо никто, за исключением его, не может заходить в мою камеру, которую он назвал Калабоцо.

Это заявление освободило меня от страха за свою жизнь. В моем положении эта отсрочка на двадцать четыре часа была достаточна для моего спасения.

— Я желал бы видеть священника, — сказал я тюремщику.

— Зачем он вам нужен?

— Разве я не должен подготовиться к смерти?

— Никогда священник не входил сюда; эта камера не предназначена для приговоренных к смерти.

— Разве неизвестна вам сцена, предшествовавшая водворению меня сюда?

— Я знаю только, что мне не было дано никаких приказаний, которые обыкновенно даются по отношению к приговоренным к смерти. Лучшее доказательство заключается в том, что руки и

* Пологая земляная насыпь впереди наружного рва крепости. Возводится для улучшения маскировки и защиты укрепления.

ноги ваши свободны и мне приказано снабжать вас за ваши деньги всем, чего вы пожелаете.

— Вы, значит, были предупреждены о моем прибытии?

— Сегодня утром.

Итак, вся описанная мною сцена была лишь комедией; все это, вероятно, устроил Пассано, так как невозможно было предположить, чтобы вице-король был причастен к такой пытке.

— Если, — сказал я тюремщику, — вы получили приказание доставлять мне все, в чем я нуждаюсь, то прежде всего вы мне добудете книг.

— Невозможно! Это запрещено.

— В таком случае дайте мне бумагу, перья и чернила.

— Только бумагу, ибо писать не позволено.

— Не могу ли я иметь, по крайней мере, карандаш для архитектурных рисунков?

— Карандашей — сколько угодно.

— Вы принесете мне и свечку?

— Нет; вот лампа, которая горит день и ночь; этого вам достаточно.

— Все эти запрещения касаются исключительно меня?

— Нет, это правила тюрьмы.

— А ваши обязанности вынуждают вас быть в моем обществе?

— Нет. У меня есть ключи от вашей камеры, и я отвечаю за то, чтобы вы не смогли убежать; вот и все. Кроме того, вы будете находиться под охраной часового, который стоит у дверей; если хотите, вы можете разговаривать с ним через отверстие.

— Что из себя представляет пища заключенных?

— Хлеб и вода, но заключенным позволяется требовать какие угодно блюда при выполнении известных формальностей. Так, я должен осматривать дичь, пироги и тому подобное.

После этого тюремщик ушел, проповедуя мне терпение, как будто оно зависит от нас. Однако слова тюремщика успокоили меня, и, привычный к подобного рода приключениям, я спокойно заснул.

На другое утро я с аппетитом позавтракал в присутствии моего тюремщика, который аккуратно зтыкал вилку во все блюда, чтобы увериться, не скрыты ли там письма. На мое предложение разделить со мной завтрак он отвечал, что характер его обязанностей не позволяет ему принять мое предложение.

В этой башне я прожил сорок три дня. Там я написал карандашом трактат "Полная критика истории Венеции, написанной Амело"; в этом трактате я оставил место для цитат, так как текста разбираемого сочинения у меня не было.

Двадцать восьмого декабря тот же офицер, кто арестовывал меня, заявляется и приказывает мне одеться и следовать за ним. Он сопровождает меня до суда, где какой-то чиновник вручает мне мои бумаги и чемодан; он возвращает мне также три мои паспорта.

— Ваши паспорта действительны, — сообщил мне при этом чиновник.

— Уж не для проверки ли этого обстоятельства меня продержали сорок три дня в тюрьме?

— Только для этого, милостивый государь; но теперь вы оправданы. Однако вам не дозволяется оставаться в Барселоне. У вас есть три дня, чтобы подготовиться к отъезду.

— Я не хочу знать, кто же тот тайный и сильный враг, преследующий меня, но его поведение позорно, согласитесь с этим. Даже явный негодяй имеет право оправдываться, а мне и в этом было отказано.

— Ошибаетесь; вы можете жаловаться в мадридский совет.

— Имеющийся опыт достаточен для меня; да сохранит меня Бог прибегать к испанскому правосудию. Я еду во Францию.

— Доброго пути!

— А на бумаге вы дадите мне приказ о выезде?

— Этого не требуется. Меня зовут Эммануил Бадилло, я секретарь в администрации. Вас проводят в гостиницу "Санта-Мария": там вы найдете все ваши вещи; затем вы будете свободны, а завтра получите паспорт.

Явившись в гостиницу, я получил свои платье и шпагу, так же как и шляпу, которую я уронил во время нападения на меня, — странная находка, тем более что моя комната была открыта только для полиции. Мне передали также пять или шесть писем на мой адрес; они не были вскрыты — еще одно доказательство того, что мое заключение было результатом личной мести. Я хотел рассчитаться с хозяином перед отъездом, но он отвечал мне обычной формулировкой:

— Все оплачено, так же как и ваши предполагаемые издержки в течение трех дней.

— Кто заплатил?

— Вы сами знаете кто.

— О моей истории известно в городе?

— Да.

— Что говорили?

— Разное; вы рассердитесь, если я вам все перескажу.

— Рассержусь? Какое мне дело до общественного мнения?!

Дураки задают ему тон, и только дураки боятся его.

— В таком случае я вам скажу, что уверяют, будто выстрел из пистолета произвели вы и убили какого-то кролика, чтобы окровавить свою шпагу, ибо не было найдено ни трупа, ни раненого на месте, указанном вами.

— Странно. А шляпа?

— Говорят, что шляпу нашел какой-то сбир.

— Вы доверчивы. Но объясняют ли, по какому поводу меня посадили в тюрьму?

— Тут говорят разное; по мнению одних, у вас были не в порядке бумаги, по мнению других, вы были любовником синьоры Нины.

— Вы сами можете засвидетельствовать, что это клевета.

— Последуйте моему совету: не возвращайтесь никогда к этой даме.

— Будьте покойны.

Я узнал, что Нина во всеуслышание хвасталась тем, что

давала мне деньги, и даже созналась графу Риела, что я был ее любовником. В тот же вечер я дал новый повод для городских сплетен. Я приказал хозяину взять для меня ложу в Опере. Объявленное представление обещало быть блестящим, но за час до открытия спектакль был отменен по болезни двух певцов; представление должно было возобновиться только второго января. Этот приказ мог исходить только от вице-короля; я его принял на свой счет, как и весь город.

Барселону я оставил в последний день 1768 года, направляясь в Перпиньян. Я странствовал в хорошей карете, не спеша, останавливался на постоялых дворах только на обед. На следующий день после отъезда кучер спросил меня, нет ли у меня врагов в Барселоне.

— Почему вы спрашиваете меня об этом?

— Потому что вчера трое подозрительных людей не теряли вас из виду. Они провели ночь на том же постоялом дворе, что и вы; эти люди избегают разговоров с посторонними и, вероятно, готовятся к нападению.

— А что можно сделать, чтобы избежать нападения?

— Сейчас они впереди нас на три четверти часа; мое мнение — выехать несколько позднее и остановиться на ночлег на постоялом дворе, находящемся в стороне от станции, где эти разбойники будут, конечно, нас ожидать. Если они возвратятся, то это будет доказательством того, что они следят за нами.

Я последовал совету моего кучера и остановился на указанном постоялом дворе. Разбойников мы там не отыскали. Я начал уже успокаиваться, как вдруг, посмотрев случайно на двор, увидел их у двери в конюшню. Трепет пробежал по всему моему телу. Я приказал слуге не выказывать никакой подозрительности и прислать мне кучера, как только эти люди заснут. Кучер скоро пришел. Он настаивал на том, чтобы немедленно ехать.

— Я разговаривал с этими негодьями, — сказал он, — и уверен, что они хотят убить вас. Воспользуемся их сном, чтобы удалиться; мы очень близко от границы; я знаю проселочную дорогу, по которой мы доберемся до границы за несколько часов.

Конечно, если бы у меня было два вооруженных проводника, то я бы не обратил внимания на этот совет, но как в моем положении, с одним лишь пистолетом и шпагой, защищаться против трех убийц, вид которых обнаруживал смелость и решительность и которые были отлично вооружены?

Мы собрались наскоро, и за шесть часов проехали одиннадцать миль; разбойники, вероятно, еще спали. Ночью мы пересекли французскую границу. Я тогда и не подозревал, кто поручил этим людям убить меня...

Приехав в Перпиньян, я рассчитался со своим слугой. На другой день я ночевал в Нарбонне, а на следующий — в Безье. Месторасположение Безье прелестно, и пребывание там обворожительно. Жители остроумны и умеют хорошо погулять и выпить. То же самое скажу и о Монпелье. По Ниму я только проехал, спеша приехать в Экс, где нашел многих друзей.

Адмирал Орлов

И вот я в Эксе, в гостинице "Три дофина". Там я встретил испанского кардинала, отправлявшегося в Рим на конклав для выбора нового папы вместо Климента XIII*, который только что скончался. Моя комната была отделена от комнаты его святейшества только простой перегородкой, так что я не пропускал ни одного слова, сказанного в его комнате. Таким образом я сделался невидимым свидетелем сцены, разразившейся между прелатом и его интендантом.

Кардинал бранил интенданта за прижимистость.

— Вы обращаетесь, — говорил он ему, — с моими людьми точно со скотом; все подумают, что я нищий. Что это значит? Здесь мы издерживаем вчетверо меньше, чем в Испании.

— Монсиньор, в этой стране не на что издерживать больше. Хорошая пища здесь очень дешевая.

— В самом деле? При таких условиях хорошая пища должна опротиветь.

— Прикажете, чтобы я заставил хозяина требовать двойную цену за то, что мы берем для вашего стола, так роскошно сервированного дичью, птицей и рыбой?

— В таком случае я требую, чтобы вы заказывали обеды везде, где мы будем проезжать; за них вы будете платить, но ими мы не будем пользоваться. Вы будете заказывать обеды на двенадцать человек.

— Но нас только десять.

— Все равно. Кроме того, вы будете больше давать на чай почтальонам — не меньше одного экю. Приходится краснеть, право. Помните также, что вы не должны принимать сдачу с золотой монеты, данной вами. Хорошую же репутацию делаете вы мне вашей прижимистостью! В Мадриде, Версале и Риме будут говорить, что кардинал де Ла Серда — скряга.

Нужно сказать, что все испанские гранды того же покроя.

Кардиналу де ла Серда в то время было лет шестьдесят от роду. Он был низкого роста, с маленькими серыми глазками, с выдающимся носом, очень смешной по виду. Из-за полноты кардинала можно было принять за Санчо Панса в кардинальском костюме...

Маркиз д'Аржан жил в окрестностях Экса в доме своего брата, маркиза д'Эгиля, президента парламента. Благодаря своим сочинениям, которые никто теперь не читает, маркиз д'Аржан был известен дружбой с Фридрихом Великим. Это был старец, почти впавший в детство, но все еще весьма чувствительный к земным

* Климент XIII (1693—1769) — римский папа [1758—1769], крайний реакционер, который был послушным орудием в руках иезуитов.

наслаждениям. Истый эликуресц, он проводил безоблачные дни в объятиях актрисы Кошуа, на которой женился. Если принять во внимание разницу в положении и возрасте, то этот союз походил на союз Жан-Жака Руссо* с Терезой. Кошуа, хотя и законная супруга, считала себя слугой старого маркиза.

Благодаря рекомендации, полученной мною от милорда-маршала, д'Аржан принял меня отлично и представил своему брату, маркизу д'Эгилю. Никогда еще мне не приходилось видеть людей столь различных по характеру и наклонностям, какими были эти два брата, и, однако, их братская дружба была нерушимой. Ничто не затмевало ее, даже религиозные споры.

Президент был ханжой и до такой степени преданным приверженцем иезуитов, что его называли не иначе как "короткой сутаной". Он всегда говорил о своем брате с чувством самой нежной привязанности, оплачивал его грехи, жалел его ослепления, рассчитывая на раскаяние брата и моля небо об этом. Но добрый президент удовлетворялся только пожеланиями, составляя заботы и управление домом д'Аржану, который знал толк в этом.

Роскошный стол, концерты, любительские спектакли — все удовольствия были к услугам гостей. За обедом ежедневно было около тридцати человек приглашенных. Беседы велись самые утонченные, без насмешек, но и без ригоризма, хотя никогда не касались любви. Когда, случалось, маркиз д'Аржан затрагивал несколько деликатный сюжет, дамы закрывали свое лицо, а домашний духовник спешил придать другой оборот разговору.

На первый взгляд нельзя было принять этого духовника за того, кем он был в действительности, — за иезуита. По внешности он был похож на галантного аббата, но, как говорят французы, "одежда не составляет еще монаха". Я имел случай убедиться в этом.

Меня расспрашивали о моем путешествии по Испании, и я рассказал анекдот о скверно намалеванной мадонне в капелле San-Geronim. Несмотря на то что мой рассказ был выдержан в самых умеренных выражениях, строгий духовник нахмурил брови и прервал меня, спросив, кто из кардиналов, по моему мнению, будет избран папой.

— Ганганелли; это единственный кардинал, находящийся в монашестве.

— Почему же вы думаете, что святая коллегия изберет монаха?

— Это единственное средство удовлетворить требования испанского правительства.

— Вы говорите об уничтожении ордена иезуитов? Мадридское правительство этого никогда не достигнет.

— Желаю этого, ибо я люблю иезуитов, моих учителей, но, боюсь, они скверно кончат. Во всяком случае Ганганелли будет

* Руссо, Жан-Жак (1712—1778) — французский философ, писатель и композитор.

папой также и по другой причине, которая, может быть, покажется вам смешной, но, тем не менее, она весьма серьезна.

— Какова же эта причина?

— Он единственный кардинал, носящий парик, а вы согласитесь со мною, что никогда еще у нас не было папы в парике.

— Выбор святой коллегии всегда обуславливался важными причинами. Может случиться, что большинство будет враждебно нашему ордену, но никогда папа не посмеет его уничтожить.

— Вы как будто забываете основной принцип вашего ордена.

— Потрудитесь мне напомнить его.

— Этот принцип гласит: папа — все, и даже больше.

При этих словах иезуит, весь красный от злости, встал из-за стола. Я только тогда понял, что нажил себе еще одного врага.

Спустя несколько дней я внезапно заболел. Болезнь быстро развивалась и достигла такой степени, что окружающие считали нужным позвать священника. Мое выздоровление было продолжительным; неизвестная женщина, не очень молодая и не очень красивая, все время ухаживала за мной. Вознаграждая ее деньгами, я спросил, кто поместил ее около меня.

— Ваш доктор, — ответила она.

Через несколько дней я поблагодарил доктора за такую хорошую сиделку.

— Она обманула вас, — ответил мне доктор, — я не знаю ее.

Моя хозяйка, которой я также говорил о сиделке, ответила мне то же самое. Одним словом, эта женщина никому не была известна. Кто же поместил ее около меня? Это я узнал только после моего отъезда из Экса...

Как только я выздоровел, я отправился на почту за письмами. Одно из них, из Парижа, было от моего брата в ответ на мое письмо, в котором я сообщал о своем приезде в Перпиньян. Брат поздравлял меня с тем, как я ловко улизнул от убийц. Он писал мне: "Слух о твоей смерти прошел и здесь; об этом мне сообщил один из твоих лучших друзей, граф Мануцци, служащий в венецианском посольстве".

Таким образом, благодаря этому промаху Мануцци сам указывал на себя как на двигателя всей этой мерзкой попытки. Этот милый друг слишком далеко подвинул свою месть, но принялся за дело очень неловко. Когда впоследствии я встретил Мануцци в Риме и начал упрекать его за этот недостойный поступок, он нахально отрицал свое участие и настаивал на том, что слух был сообщен ему из Барселоны.

С маркизом д'Аржаном я увиделся только перед самым отъездом. У нас был трехчасовой разговор, посвященный его великому другу, королю прусскому. Я подарил маркизу экземпляры "Илиады" и "Энеиды". "Илиада" была редким экземпляром, в богатом переплете. Д'Аржан в свою очередь подарил мне собрание своих сочинений. Когда я спросил его, могу ли надеяться на то, что буду иметь полное их собрание, маркиз ответил мне:

— У вас есть все, что я написал, за исключением мемуаров, относящихся к моей юности, которые были мною сожжены.

— Отчего?

— Оттого что благодаря моей любви к правде я стал смешным в глазах у всех.

— А если мне, Казанове, придет охота когда-нибудь приподнять завесу, скрывающую мою жизнь, — что бы вы сказали?

— Я сказал бы вам, что это вы напрасно делаете: в подобной публикации вы можете только раскисать. Человек, который таким образом добровольно становится на подмости, рискует весьма многим. Не говоря уже о том, что его честь постоянно страдает, он подвергается кроме того бесчисленным оскорблениям в своем самолюбии. Мемуары, в которых автор не говорит всей правды, ничего не стоят; а кто посмеет сказать ее?

— Я посмею.

— Берегитесь; все ваши признания не пойдут на пользу правде, следовательно, и на пользу нравственности; их превратят в оружие, направленное против вас. Похвалам, которые вы себе будете расточать, не поверят, а все то худое, что вы скажете о себе, будет преувеличено. И кроме того, вы наживете себе множество врагов.

— Я многих не буду называть.

— Этим много не выиграете. Их угадают, да и сами они разве не узнают себя? Поверьте мне: не следует говорить о себе, еще больше не следует делать себя героем книги и таким образом становиться на пьедестал.

Убежденный в справедливости этих замечаний, я обещал маркизу, что никогда не сделаю подобной глупости, и тем не менее делаю ее ежедневно в течение вот уже семи лет: я пришел к убеждению, что обязан это сделать, как бы потом не раскисался.

Итак, я продолжаю писать, не теряя втайне надежды, что история моей жизни не будет напечатана и что благодаря какой-нибудь случайности я все это сожгу. Однако если этого не случится, то я прошу читателя простить меня, вспомнив, что я принужден к этому всякими негодьями, которые посещают замок Вальдштейн в Дуксе, где я теперь живу...

На другой день после праздника Тела Господня я уехал из Экса в Марсель. Однако прежде чем говорить об этом путешествии, я должен сказать несколько слов о процессии, имевшей место в этот день в Эксе, как и во всем католическом мире. Известно, что в этом торжестве все чиновные люди — духовные, гражданские и военные — обязаны сопровождать святыя таинства. Это бывает везде, но здешняя церемония сопровождается различными нелепыми сценами, которые увеселяют толпу. В одном месте вы видите кукол, одетых в шутовской костюм и изображающих смерть, черта и первоначальный грех: они дерутся на улице. Писк, радостные возгласы, шутки, гимны, вакхические припевы — все это образует самый страшный концерт. Никогда язычество в своих сатурналиях* не доходило до такого безобразия.

* Сатурналии — ежегодный праздник в Древнем Риме в честь бога Сатурна.

Крестьяне собираются на этот праздник со всех окрестностей. Святые таинства несут только в первый день, и именно в этот день толпа увеселяется самым скандальным образом. Тот, кто посмел бы восстать против такого обычая, прослыл бы нечестивым. Один член парламента убеждал меня в том, что такой праздник — очень хорошее учреждение, ибо город наживет несколько сот тысяч ливров...

По приезде в Марсель первым человеком, кого я встретил, была сестра Нины, синьора Скицци. Она оставила Барселону вместе со своим мужем и намеревалась отправиться в Ливорно.

— А ваша сестра тоже здесь? — спросил я.

— Нет, она пока в Барселоне, но ненадолго. Епископ не хочет, чтобы она оставалась в городе; ей поэтому приходится уезжать. Однако она не очень-то обращает внимание на преследования епископа, зная, что любовь графа Рисла последует за нею повсюду.

— И повсюду, — прибавил я, — она найдет средства разорять его.

— В ожидании этого она и его обесчестила в Испании.

— Нельзя, однако, предположить, что ваша сестра ненавидела графа, который жертвовал ради нее всем, ссыпал ее благодеяниями и обеспечил ей состояние.

— Ну, в этом вы ошибаетесь. Она небогата; у нее есть только алмазы да разные безделушки. Что же касается чувств, то моя сестра неспособна чувствовать благодарность к кому бы то ни было. Она — сама неблагодарность: то, что я и мой муж сделали для нее, только послужило нам во вред; муж нашел хорошее место, а Нина сделала так, что его прогнали. Но вы и сами знаете, что можно ожидать от этого чудовища.

— Я только знаю, что она очень щедро поступала со мной.

— Ее щедрость была только напоказ; настоящей целью Нины было опозорить графа, и она достигла этого. Вся Барселона знает, что вас пытались убить у ее дверей и что убийца умер от нанесенной вами раны.

— Уж не полагаете ли вы, что Нина участвовала в этом или, по крайней мере, что она знала об этом заранее? Это неестественно.

— Да разве есть что-нибудь естественное в поступках этой женщины?! Но вот что я видела и слышала: всякий раз, когда являлся граф, она расхваливала ваш ум и ваши манеры с целью унижить его. Граф, недовольный этим, много раз просил сменить тему разговора. Нина отвечала ему всегда смехом. Наконец, за два дня до события граф, выведенный из терпения, вышел, сказав, что даст вам урок вежливости. Когда вечером, после вашего ухода, мы услышали выстрел, Нина не обнаружила никакого волнения; она только сказала, смеясь: "Вот урок вежливости!". Я ей сказала, что, вероятно, вы убиты, на что она отвечала смехом, говоря, что ваша смерть может вызвать только смех. На другое утро она была в отличном расположении духа, когда слуга известил ее о вашем аресте. Нина написала вашему

хозяину записку, содержание которой тщательно скрывала; вероятно, это был приказ доставлять все необходимое вам в тюрьме.

— А в этот день она видела графа?

— Он явился только на следующий день вечером. Нина встретила его хохотом. Говоря ему о вашей беседе, Нина иронически поздравила его с успехом. Эта мера, прибавила она, оградит кавалера от нападений его врагов. Граф сухо отвечал, что ваш арест не имеет ничего общего с ночным приключением. Когда весь город узнал, что вас посадили в башню, все старались узнать причину этого. Нина напрямик спросила об этом вице-короля, который отвечал, что ваш паспорт подложный.

— Но если граф не участвовал в моем аресте, то кто донес на меня?

— Пассано, потому что его посадили в одно время с вами. Когда убедились, что ваш паспорт настоящий, Пассано был отправлен в Вену, чтобы, вероятно, уберечь его от заслуженного наказания. В день вашего освобождения Нина собиралась отправиться в оперу и вообразила, что вам запрещено всякое общение с нею, но уверяла, что если у вас хватит смелости добратся до нее, то она с удовольствием убежит с вами. Когда Нина узнала о вашем приезде во Францию, то все рассказала вице-королю, который сделал вид, что ничего не знает. Поэтому благодарите небо, что оставили эту ужасную страну живым и здоровым, ибо ваши отношения с Ниной непременно обошлись бы вам ценою жизни...

В Марселе меня ничего не удерживало; я уехал в наемной карете прямо в Турин через Антиб и Ниццу.

Мои туринские друзья встретили мое прибытие скверным комплиментом: если верить им, то я страшно постарел. Правда и то, что мне уже было сорок пять лет; обычно это возраст успокоения, но для меня это все еще был возраст удовольствий и активной деятельности.

Я рассказал о своем проекте отправиться в Швейцарию, чтобы приступить к печатанию за собственный счет своего опровержения книги Амело. Все подписались на сочинение, а граф Лаперуз удержал за собой пятьдесят экземпляров, за которые заплатил вперед. У него я познакомился с кавалером Л., английским посланником, очень милым человеком, богатым, известным гурманом, и в этом качестве всем симпатичным, но особенно дорогим для одной балерины, некой Карпиони.

Я недолго оставался в Турине и оттуда направился в Лугано. Типография этого города и ее управляющий пользовались прекрасной репутацией, к тому же тут мне нечего было бояться цензуры. Сразу же после приезда я отправился к управляющему господину Аньелли, и мы условились насчет печатания. Через шесть месяцев издание было удачно окончено и пущено в продажу; все издание разошлось за один год.

Моей главной целью при составлении этого сочинения было примирение с государственными инквизиторами Венеции. Проскитавшись по всей Европе, я ощутил естественное желание

увидеть снова свою родину. Это желание временами было так сильно, что мне казалось невозможным жить в каком-то другом месте.

«История Венеции» Амело была написана в духе враждебности к венецианцам; это было собрание самой гнусной клеветы с примесью кое-каких ученых исследований. Сочинение читалось в течение восьмидесяти лет, и никто еще не подумал опровергнуть его; правда и то, что венецианец, который бы взялся за это дело, не получил бы на это позволения от своего правительства, ибо наше отечественное правительство руководствуется правилом не позволять говорить о себе ни в худом, ни в хорошем смысле. Я осмелился обойти запрещение, уверенный в том, что рано или поздно государственные инквизиторы будут благодарны мне за смелость и исправят несправедливость, оказанную мне.

Во время работы над этим сочинением я удостоился визита начальника городской полиции. В Лугано все — нравы, обычаи, язык и даже полиция — итальянское. Начальник полиции был очень любезен и предложил мне свои услуги.

— Хотя вы иностранец, — сказал он, — но можете жить в моем городе в полной безопасности; здесь вы найдете защиту от ваших врагов, и в особенности от управителей Венеции.

— Я знаю, что мне нечего бояться, поскольку я нахожусь в Швейцарии.

— Вам, конечно, известно, что иностранцы, которые любят пользоваться нашей защитой, должны уплачивать известную сумму ежемесячно или еженедельно.

— А если бы они не стали платить налог?

— В таком случае они не могут считать себя в полной безопасности.

— Что касается меня, то я считаю себя в полной безопасности; до тех пор пока в этом отношении мое мнение не изменится, я ничего не буду платить.

— Вы можете делать что вам угодно, но помните о том, что вы находитесь во вражде с венецианской республикой.

Косвенная угроза, заключавшаяся в этой последней фразе, не испугала меня; тем не менее благоразумие требовало кое-каких мер, и с этой целью я отправился с визитом к военному начальнику. Меня вводят, и — представьте мое удивление — я вижу перед собой Г. и его красивую жену, которых я знал лет десять тому назад в Салере. Госпожа Г. несколько не постарела, и по ее приему я понял, что она меня не забыла.

Я рассказал Г. о визите начальника полиции. Он мне отвечал, что сделает ему строгий выговор и что мне нечего бояться; одним словом, оставил меня обедать и, прибавив, что должен отлучиться, просил посидеть с его женой.

Мы совершили небольшую поездку на Боромейские острова — великолепное жилище графа Фредерика Боромео, который был одним из моих старинных друзей. Этот граф вел царскую жизнь, хотя был почти разорен. Я отказываюсь описать красоту этих волшебных островов; мой рассказ покажется сухим тем

путешественникам, которые видали эту роскошную действительность.

Граф Боромео, хотя и очень старый, известный своим безобразием, все еще нравился женщинам. Сады его дворца были переполнены молодыми красавицами, из которых некоторые, как мне говорили, были страстно влюблены в моего старого друга.

Возвратившись в Турин, я нашел там письмо венецианца Джираломо Джульяни, того самого, который по повелению инквизиторов рекомендовал меня господину Мочениго. В этом письме Джульяни горячо рекомендовал меня господину Берлендису, посланнику венецианской республики при сардинском правительстве.

Берлендис слыл тонким дипломатом по той причине, что любил развлечения. У него был открытый стол, а в его доме существовал настоящий культ прекрасного пола; весь талант посланника заключался в том, что он отлично угощал, — обыкновенно от посланников не требуется ничего более; истинное превосходство ума, знания, науки, вкус — все подобные качества презираются в дипломате, и мне известен не один дипломат, который не пошел в гору только из-за этих качеств. Правительства желают иметь слепых и послушных исполнителей. В этом отношении венецианская республика могла быть вполне довольна Берлендисом, у которого не было ни ума, ни характера, ни таланта.

Я сказал ему об издании своего сочинения, и он согласился официально отправить его государственным инквизиторам. Ответ, полученный им, был весьма странным: секретарь грозного трибунала сообщал Берлендису, что отправил сочинение в суд, так как одно заглавие говорило уже о легкомыслии или злых намерениях автора; в суде оно будет рассмотрено, а в ожидании результата секретарь рекомендовал Берлендису наблюдать за мной и отказываться от всяких демаршей, которые могли быть истолкованы так, что я нахожусь под его покровительством. Поэтому из боязни компрометировать Берлендиса своим присутствием на приемах я бывал у него лишь по утрам, и то секретно.

Гувернером сына Берлендиса был некто Андреис, корсиканский аббат, довольно образованный человек. Кажется, он живет теперь в Англии, где приобрел большую известность благодаря своим сочинениям.

Приблизительно в это же время одна французская модистка, любовница графа Лаперуза, умерла, подавившись портретом своего любовника, который она проглотила в момент любовного экстаза. По поводу этого трагического события я сочинил два сонета, которыми и до сих пор вполне доволен. Если бы я не боялся слишком удлинить свои мемуары, то присоединил бы к ним и различные пьесы в виде оправдательных документов, но меня мало беспокоит то, что называют литературной славой, и если мое имя будут помнить потомки, то этим я буду обязан скорее своим поступкам, чем сочинениям...

Окончив свой труд, не имея никакой сердечной заботы, бросив

игру вследствие малых шансов на выигрыш и не зная, куда деваться, я возымел мысль предложить свои услуги графу Александару Орлову, командовавшему русской эскадрой, стоявшей около Ливорно и предназначенной на отправку в Константинополь. Те из моих друзей, кому я сообщил о своем проекте, поспешили дать мне рекомендательные письма в Ливорно; я бы предпочел векселя, ибо оставлял Турин с весьма малым количеством денег.

Если бы экспедиция в Дарданеллы была под начальством англичанина, то нет сомнения в том, что она захватила бы пролив, но граф Орлов не имел репутации моряка. Может быть, читателю покажется это странным, но я вдруг вообразил, будто бы мне предначертано судьбой взять Константинополь. Я решил, что русский граф не сумеет это сделать один; правда, что он потерпел неудачу, но в настоящую минуту я далеко не уверен в том, что эта неудача была следствием моего отсутствия.

Я проезжал через Парму и ужинал там у Дюбуа, директора монетного двора инфанта, человека тщеславного до нелепости, несмотря на весь его ум. Я рассказал ему о своих проектах.

— Вот, — сказал я, — письма к графу Орлову, который с нетерпением ожидает меня, и я спешу прибыть на место, поскольку, говорят, флот должен выйти в море на днях.

При этих словах Дюбуа, убежденный в том, что имеет дело с важным государственным деятелем, глубоко поклонился мне. Он сделал вид, что хочет поговорить об этой экспедиции, производившей тогда во всей Европе большой шум, но его дипломатическая осторожность заставила его молчать.

Тогда Дюбуа начал говорить о своей собственной персоне. Я предчувствовал, что этот разговор кончится нескоро, но, поскольку директор имел неосторожность угостить меня отличным ужином, я был терпелив. Он открывал рот только для того, чтобы говорить, я — чтобы есть. Наша беседа превратилась в монолог, в котором Дюбуа коснулся чуть ли не всех европейских монархов: он жаловался на всех без исключения; в их числе находились даже монархи, умершие лет пятнадцать тому назад, но у меня был такой дьявольский аппетит, что я готов был проглатывать и не такие анахронизмы.

Помню, как Дюбуа с чрезвычайной горечью жаловался на министров Людовика XIV, которые, говорил он, отказали ему в стакане воды; это мне показалось странным, и действительно было странным. Этот "стакан воды" представлял из себя орден св. Михаила, который раздавали, прибавлял Дюбуа, всяким ослам.

— Конечно, — сказал я, — с вами поступили несправедливо, отказывая вам в нем.

За десертом — так как его жалобы не прекратились — я приступил к рассказу о своих неудачах; я жаловался на судьбу и не скрыл от него своего безденежья; я нуждался в пятидесяти цехинах, и Дюбуа великодушно предложил их мне. Этих денег я ему не отдал и, вероятно, никогда не отдам: человек предполагает, а Бог располагает!

В Ливорно я все-таки застал еще русский флот, удержанный

неблагоприятными ветрами. Английский консул немедленно представил меня графу Орлову, который жил в доме консула. Орлов знал меня еще в Петербурге и любезно сказал мне, что будет очень рад видеть меня у себя на палубе; он предложил мне отправить на корабль мои вещи, потому что хотел сняться с якоря при первом попутном ветре.

Оставшись со мной один на один, консул спросил меня, в каком качестве я намеревался сопровождать адмирала.

— Именно это я и хотел знать, прежде чем ехать, — сказал я. — Мне придется объясниться с графом по этому пункту.

Переговоры представляли некоторые трудности, но я не люблю неопределенность в своем положении, и потому прямо отправился к графу Орлову, чтобы все выяснить.

Его сиятельство был занят и попросил меня подождать одну минуту. Эта минута продолжалась добрых два часа, к концу которых я вижу выходящего из кабинета господина Лольо, польского посланника в Венеции. Я знал его еще в Берлине.

— Что вы тут делаете? — спрашивает он.

— Ожидаю.

— Может быть, аудиенции у адмирала? Он чрезвычайно занят.

— Вот уже два часа как я это замечаю.

Однако посетители менялись, и их принимали. Это меня шокировало: было ясно, что для них адмирал не слишком занят.

Тем не менее мое терпение преодолело его злую волю. После моего четырехчасового ожидания в приемной адмирал выходит в сопровождении всей своей свиты и при моей просьбе об аудиенции, которою я ожидал с утра, отвечает мне приглашением к обеду. Я был точен и занял место за столом, где все сели как попало.

Меня шокировало число приглашенных, которых было почти вдвое больше, чем приборов. Я предвидел минуту, когда я и мой сосед будем вынуждены есть из одной тарелки. Мне никогда еще не приходилось видеть более плохой сервировки скверного обеда. Вино отдавало морской водой, блюда были испорчены. Разговор казался каким-то нелепым шаривари*: тут можно было услышать все татарские наречия, на которых говорят от Невы до Балканов.

Орлов для возбуждения аппетита у приглашенных кричал время от времени: "Кушайте же!", и всякий глотал куски. Что же касается его самого, то он только делал вид, что ест, будучи занят подчеркиванием некоторых мест в письмах, которые он читал. За десертом принесли ром и водку — напиток, благодаря которому его татарские глаза заблестели. После кофе граф отвел меня к амбразуре окна, и вот наш, слово в слово, разговор.

— Ну, мой друг, ваши вещи отправлены на борт? Мы едем завтра.

— Позвольте мне, граф, спросить вас, на какой пост вы меня предназначаете?

* Шаривари (фр. *charivari*) — кошачий концерт, гам, кавардак.

— У меня нет никакого дела для вас. Вы последуете за мною в качестве друга.

— Ценю вашу любезность; я считал бы за честь защищать вас с риском для собственной жизни, но чем я буду вознагражден до и после экспедиции? Как бы ваше сиятельство не почтили меня своим доверием, я все-таки буду вне дел. Я не желаю быть паразитом, который годится лишь на то, чтобы увеселять вашу свиту своими рассказами, и потому нуждаюсь в занятии, за которое я бы получал определенное вознаграждение и которое давало бы мне право носить вашу форму.

— Невозможно, милый друг; куда я вас дену?

— Испытайте меня, и вы увидите. Я смел и энергичен; у меня, может быть, найдутся кое-какие таланты, к тому же я хорошо говорю на языке той страны, куда вы отправляетесь.

— Мне решительно нечего предложить вам.

— В таком случае позвольте пожелать вам доброго пути; я отправляюсь в Рим. Я бы желал, чтобы вы в этом не раскаивались. Объявляю вам, что без моего участия вы никогда не попадете в Дарданеллы.

— Что это вы мне говорите? Это что — предсказание?

— Да.

— Ну, увидим, мой дорогой прорицатель.

На другой день русская эскадра снялась с якоря. Что же касается меня, то я возвратился в Палермо, где и забыл о своей неудаче.

Конец

ОГЛАВЛЕНИЕ

С. В. Кознов Джованни Джакомо Казанова	3
В ТЮРЬМЕ "ПЬОМБИ"	9
В ПАРИЖЕ	83
ВОЛЬТЕР	95
БЕРЛИН, МИТАВА И РИГА	108
РОССИЯ	118
В ВАРШАВЕ	128
В ИСПАНИИ	145
АДМИРАЛ ОРЛОВ	196



НПО "АЛЬТЕРНАТИВА" — ЭТО:

НАСТОЛЬНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ КОМПЛЕКСЫ, позволяющие за несколько часов подготовить оригинал-макет любого издания — от книги до иллюстрированного журнала;
ШРИФТОВЫЕ КЕРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕ-РОВ — с их помощью Вы качественно и красиво распечатаете любой текст на любом языке;
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ в области ме-дицины, картографии, экологии и химии;
ЛОКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ с установкой "под ключ".
НПО "АЛЬТЕРНАТИВА" — МОЩНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛ-ЛЕКТИВ, всегда готовый решить Ваши проблемы!



Наш адрес: МОСКВА, ул. Гиляровского 51,
телефоны : (095) 971-6236, 375-8751

Литературно-художественное издание
Джакомо Казанова
МЕМОАРЫ

Издание подготовил
Кознов Сергей Васильевич

Редактор С. В. Кознов
Корректор Э. Е. Соколова

Н/К

Подписано в печать с оригинала-макета 09.09.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная № 2 60 г. Гарнитура Dutch. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,92. Усл. кр.-отт. 11,33. Уч.-изд. л. 13,97. Тираж 50 000 экз. Цена 15 р.

Издательство С. Кознова. 410030, Саратов, ул. Антонова-Саратовского, 44/62.

МП "Полиграфист". 410730, Саратов, пр. Кирова, 17.